

Библия и русская литература



Хрестоматия



Андреа дель Верроккио
1436–1488
Христос



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

- **КНИГА КНИГ**
- **XI — XVII ВЕКА**
- **XVIII ВЕК**
- **XIX ВЕК**
- **XX ВЕК**

Библия и русская литература

Хрестоматия



Евангелист
Сольвычегодск
XVIII век

ББК 86.3

Б 59

Рекомендовано
Главным управлением
развития общего среднего образования
Министерства образования
Российской Федерации

Автор-составитель
М. Г. Качурин

Оформление художника
И. Г. Архипова

Б 4704010000-006
О44 (03)-95

ISBN 5—87194—045—5
ISBN 5—87194—039—0

© М. Г. Качурин, 1995
© И. Г. Архипов, оформление, 1995

Уважаемые читатели!

Перед вами очередной том серии "Школьная библиотека". Ее создатель — М. Г. Качурин, автор популярных учебников по русской литературе для 9-х классов. Надеемся, что это — долгожданная книга не только для издателей, но и для всех вас: тех, кто даже в самые трудные времена верил, что несправедливые и бездумные гонения на христианскую духовность и Бога в отечественном образовании и эстетическом воспитании советского периода рано или поздно утихнут, и станет возможным просвещенный и уважительный разговор об одной из основ русской культуры — Библии.

Хрестоматия "Библия и русская литература" — не только сборник произведений известнейших, "программных" российских поэтов и писателей, тщательно составленный и прокомментированный. Это еще и учебник, и пособие для самообразования, и книга для чтения по русской духовной культуре, немыслимой без христианства и Библии.

Хрестоматия проста по своей структуре: в первой главе читатель найдет общий обзор русской литературы в ее органической связи с Библией. Затем следует сборник текстов, условно поделенный на четыре части (древнюю, XVIII, XIX и XX века). Каждая

часть снабжена комментариями, где объясняется, какой сюжет из Библии и почему был использован автором, что он хотел этим сказать, что в действительности подразумевается в Библии в данном сюжете. В оформлении книги использованы шедевры русского искусства: работы А. Иванова, Н. Ге, неизвестных мастеров.

Издательство "Каравелла" продолжает публикацию новых учебных пособий и сборников в серии "Школьная библиотека". Содержание всех томов серии отвечает требованиям Министерства образования Российской Федерации к подобного рода книгам. Тематический план серии составлен на основе изучения новых школьных программ (гуманитарный цикл) и читательского спроса. Издательство привлекает для работы над выходящими томами лучших специалистов, ученых, преподавателей. Отдел распространения книг издательства делает все, чтобы эта насущно необходимая сегодня продукция была бы доступна всем желающим: для этого открыта подписка (условия подписки смотрите в конце тома), информация о книгах регулярно публикуется в прессе и направляется в школы и отделы образования. Мы надеемся, что серия "Школьная библиотека" окажет реальную помощь учащимся, а также доставит всем читателям независимо от возраста эстетическое удовольствие.

До новых встреч!

От редакции

КНИГА КНИГ

1. "Все чрез Него начало быть..."

Книга книг... Так говорят о Библии, тем самым обозначая с предельной краткостью ее место в человеческой культуре.

Это Книга в самом общем, высшем и единичном значении, которое с незапамятных времен живет в сознании народов: Книга судеб, хранящая тайны жизни и предназначения будущего.

Это Священное Писание, которое все христиане воспринимают как внушенное самим Богом.

И это сокровищница мудрости для всех мыслящих людей Земли, каковы бы ни были их верования.

Это книга-библиотека, которая более тысячи лет складывалась из многих словесных произведений, созданных разными авторами, на разных языках.

И это целостное творение, поражающее совершенством и алмазной прочностью в жесточайших испытаниях истории.

Это книга, которая вызвала к жизни бесчисленное множество других книг, где живут ее идеи и образы: переводов, переложений, произведений словесного ис-

кусства, толкований, исследований.

И с течением времени ее созидаящая энергия не умалывается, но возрастает.

Каков источник этой животворной силы?

Об этом думали многие мыслители, ученые и поэты. И вот что сказал А. С. Пушкин о Новом Завете (мысли его можно отнести и ко всей Библии): "Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедовано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелие, — и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие."

Нам, сегодняшним читателям, не свойственно такое знание Библии, которое для Пушкина было само собой разумеющимся.

С тех пор, как славянский перевод Евангелия, Псалтыри и других библейских книг, созданный великими просветителями Кириллом и Мефодием, появился на Руси, Библия стала первой и главной книгой русской культуры: по ней ребенок учился грамоте и мышлению, христианским истинам и нормам жизни, началам нравственности и основам словесного искусства. Библия вошла в народное сознание, в повседневный быт и духовное бытие, в обыденную и высокую речь; она не воспринималась как переводная, но как родная и умеющая роднить людей всех языков.

Но в течение долгих десятилетий XX в. Библия в нашей стране оставалась гонимой, как это было в первые века новой эры, когда правители Римской

империи пытались остановить распространение христианства.

Казалось, что длительное господство дикарского идолопоклонства, выступавшего под видом научного атеизма, отлучило массу читателей от Библии и отучило понимать ее. Но как только Книга книг вернулась в семьи, школы, библиотеки, стало ясно, что духовная связь с нею не утрачена. И прежде всего напомнил об этом сам русский язык, в котором крылатые библейские слова устояли против натиска канцелярской мерзости, безудержного сквернословия и помогли сбросить дух, разум и благозвучие родной речи.

Блаженны миротворцы. Вавилонское столпотворение. Тьма крошечная. Краеугольный камень. Взавший меч от меча и погибнет. В поте лица. Имя им — легион. Не от мира сего. Мерзость запустения. Блудный сын. Фома неверный. Волк в овечьей шкуре. Глас вопиющего в пустыне. Соль земли. Терновый венец. Древо познания добра и зла. Да минует меня чаша сия. Власть тьмы. Вера двигает горами. Камни вопиют. Не мечите бисера перед свиньями. Врачу, излечися сам. Власти предержащие. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Не хлебом единым жив человек...

Эти и множество иных библейских выражений живут в современном русском языке, напоминая о его истоках и об истории нашей культуры.

Возвращение Библии позволило читателям совершить и еще одно открытие: оказалось, что вся русская литературная классика, от древности до современности, связана с Книгой книг, опирается на ее истины и заветы, нравственные и художественные ценности, соотносит с нею свои идеалы, приводит ее речения, притчи, легенды... Эта связь не всегда очевидна, но открывается в пристальном, отзывчивом чтении и вносит как бы новое измерение в "художественную вселенную", создаваемую словесным искусством.

Теперь мы заново вчитываемся и вдумываемся в Библию, накапливаем знания о ней, которые прежде постепенно осваивались в школьные годы. Давно известное мы постигаем как новое: ведь за каждой деталью видится огромный мир, остававшийся для нас далеким или вовсе неведомым.

Мы заново понимаем исконное значение самого слова "культура" — возделывание, выращивание, почитание. Ведь и Библия как бы выращена долгим трудом подвижников, стремившихся понять смысл жизни и открыть его людям.

"Библия — это книга, обращенная ко всему человечеству, — пишет Патриарх Московский и Всея Руси Алексий. — Библия говорила нашим предкам, говорит нам и будет говорить нашим потомкам об отношениях Бога и человека, о прошлом, настоящем и будущем Земли, на которой мы живем."

Само название этой книги — драгоценный факт истории культуры. Оно произошло от слова *biblos*: это греческое имя египетского растения папирус, из которого в древности изготовляли хижины, лодки, множество других нужных вещей, а главное — материал для письма, опору человеческой памяти, важнейшую основу культуры.

Книгу, написанную на папирусе, греки называли *hē biblos*, если же она была небольшой, говорили *tò biblion* — книжечка, а во множественном числе — *tà biblia*. Потому-то первое значение слова Библия — собрание небольших книг. В этих книгах записаны легенды, заповеди, исторические свидетельства, песнопения, жизнеописания, молитвы, размышления, исследования, послания, поучения, пророчества... Авторы книг — пророки, священнослужители, цари, апостолы; имена большинства их обозначены, авторство иных книг установлено исследованиями ученых. И все библейские писатели — художники, владеющие убежда-

ющей, живописной, музыкальной речью.

Книги христианской Библии делятся на две части, возникшие в разное время: 39 книг Ветхого (Древнего) Завета, (примерно X — III вв. до н.э.) и 27 книг Нового Завета (конец I — начало II в. н.э.). Эти части, написанные изначально на разных языках — древнееврейском, арамейском, греческом — неразделимы: они пронизаны единым стремлением, создают единый образ.

Вот как об этом сказано в Новой Толковой Библии (то есть содержащей истолкование текста и пояснения к нему), издаваемой с 1990 г.: "Мессия, Спаситель, Иисус Христос является с точки зрения христиан главным лицом, о котором говорит вся Библия. В качестве книг Ветхого Завета христиане принимают древнееврейские священные книги, большая часть которых составляет Еврейскую Библию. Эти книги были написаны до прихода в мир Христа и пророчески Его предызображали. Те же книги Христианской Библии, которые были написаны после пришествия в мир Спасителя и излагают историю Его искупительного служения и Его учение, христиане принимают в качестве книг Нового Завета".

Слово "завет" в Библии имеет особый смысл: это не только наставление, завещанное последователям, грядущим поколениям, но и договор Бога с людьми — договор о спасении человечества и земной жизни вообще.

Богатейшее многообразие Библии воспринимается как гармония. Нечто подобное можно видеть в истории великого города, который, вырастая век за веком, обретает неповторимый облик и становится мировым центром, куда стремятся люди, чтобы приобщиться к мудрости и красоте.

К Библии ведет множество дорог. Здесь, в книге, которую вы начали читать, обозначена лишь одна из

них: посмотреть на русскую литературу в свете Библии и на Библию — глазами писателей России.

Разумеется, и на этой дороге далеко не все окажется в сфере нашего внимания и размышления.

Число литературных произведений на русском языке, содержащих размышления о Библии, ее образы и мотивы, чрезвычайно велико, даже перечислить их вряд ли возможно.

Поэтому здесь речь пойдет о тех поворотных событиях в жизни русской литературы, когда воздействие Библии становилось определяющим.

Сначала мы попытаемся увидеть эти события, вдуматься в их смысл; для этого и написана глава "Книга книг". А на последующих страницах напечатаны — целиком или фрагментарно — некоторые произведения русской классики X — XX вв. (В главе "Книга книг" они при первом упоминании обозначаются звездочкой). Тексты сопровождаются краткими комментариями, которые помогают соотнести произведение с Библией, заметить и осмыслить существенные с этой точки зрения детали. Мы не касаемся здесь проблем религии, религиозности писателей и читателей: во что и как верить — дело совести каждого. Но Библия — творение сложнейшее, она изучается многими науками и с разных точек зрения — теологической, философской, этической, филологической, космогонической, исторической, географической, культурологической — этому перечню не найти конца. Мы в центр внимания поставим слово в его художественной функции, слово-образ, поднимающее речь до уровня искусства.

Идея творящего слова пронизывает всю Библию — от Первой книги Моисеевой до Откровения Иоанна Богослова. Она торжественно и мощно выражена в Евангелии от Иоанна:

"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Оно было в начале у Бога.

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков;
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его".

2. "И рады были славяне..."

На Русскую землю Библия пришла вместе с христианством, первоначально в виде сборников книг из Ветхого и Нового Завета.

"Повесть временных лет"* (около 1113 г.) донесла до нас чувство потрясения, вызванное приходом христианства и Библии на Русскую землю. Когда князь Владимир стал собирать детей, чтобы отдать их "в учение книжное", матери, еще не утвердившиеся в вере, "плакали о них, как о мертвых". Но летописец — инок Киево-Печерского монастыря Нестор — передает нам и безмерную радость, сопровождавшую вхождение Руси в сообщество христианских народов: "И рады были славяне, что услышали о величии Божиим на своем языке".

В "Повести..." можно заметить некоторые связи литературы с Библией, оставшиеся важнейшими и по сей день!

С первых строк летописец перелагает Книгу Бытия, рассказывает о расселении народов по Земле, о разделении их на семьдесят два языка, чтобы заключить: "От этих же семидесяти двух язык произошел и народ славянский, от племени Иафета..." Мысль о единстве славян со всеми народами мира далее развивается в рассказах о путешествии апостола Андрея Первозванного по пути из Варяг в Греки, о деятельности святых

* Произведения, отмеченные звездочкой, целиком или фрагментарно представлены в данной хрестоматии.

Кирилла и Мефодия, о проповедях апостола Павла в славянских краях, о крещении Руси. Так будет и далее в литературе, началом которой явилась "Повесть..." обращение к Библии расширяет масштабы повествования, соединяет родную землю со всей Землей, включает национальное во всечеловеческое.

С этой традицией связана и другая: обращение к Библии вводит в произведение нравственную меру, позволяющую измерить добро и зло, падение и возвышение.

Шаг за шагом "Повесть..." приобщает читателя к размышлениям о великом нравственном обновлении, источником которого явилась Библия.

Язычество соединяло человека со всем миром животных и растений, земли и воды, звезд и планет, но оставляло его жертвенным животным. Христианство, провозгласив божественность человеческой души, преобразило и самого человека в существо, пусть несовершенное, обремененное грехами, но подобное Богу, и способное — в идеале — жить "по-Божьи".

Это решительно меняло представление человека о самом себе и о людях вообще. Д. С. Лихачев, рисуя общую картину древнерусской культуры, пишет: "Человек, живя в мире, помнил о мире в целом как огромном единстве, ощущал свое место в этом мире. Его дом располагался красным углом на восток. По смерти его клали в могилу головой на запад, чтобы лицом он встречал солнце. Его церкви были обращены алтарями навстречу возникающему дню. В храме росписи напоминали ему о событиях Ветхого и Нового заветов, собирали вокруг него мир святости: святых воинов внизу, мучеников повыше; в куполе изображалась сцена вознесения Христа, на парусах сводов, поддерживающих купол, — евангелисты... Большой мир и малый, Вселенная и человек! Все взаимосвязано, все значительно, все напоминает человеку о смысле его

существования, о величии мира и значительности в нем судьбы человека."

Обращение древнерусских писателей к библейским образам противоречиво и органично сочетается с их традиционным языческим мироощущением. На Руси после крещения возникло и оказалось стойким своеобразное явление, именуемое обычно (но, думается, неточно) двоеверием. К началу XIII в., как пишет Б. А. Рыбаков, "деревня просто продолжала свою прадедовскую религиозную жизнь, числясь крещеной, а город и княжеско-боярские круги, приняв многое из церковной сферы и широко пользуясь социальной стороной христианства, не только не забывали своего язычества с его богатой мифологией, укоренившимися обрядами и жизнерадостными карнавалами-игрищами,.. но и поднимали свою старинную, гонимую церковью религию на более высокий уровень, соответствующий расцвету русских земель в XII в." Исследователь замечает, что при этом языческое восприятие мира все более переходило в сферу эстетическую, проявлялось в произведениях фольклорного искусства, в литературе. Ярчайшее выражение этого явления — "Слово о полку Игореве"* (1185 — 1187). Перечитайте это произведение неведомого нам гениального писателя: вы увидите, что языческое и христианское начала здесь неразделимы. Автор, например, пользуется христианским представлением о язычниках-половцах, и языческими представлениями о животных-тотемах, родоначальниках и покровителях. Он упоминает о христианском Боге, помогающем Игорю, и тут же говорит нечто совершенно языческое о превращениях беглеца-князя в горностаю, белого гоголя, серого волка... Да и сам побег Игоря выглядит исполнением языческих заклинаний Ярославны. В "Слове" действуют древние славянские божества: Стрибог — бог неба, вселенной, Даждьбог — бог-солнце, податель всех благ. Здесь веют

ветры — стрибожьи внуки, сражаются русские воины — даждьбожьи внуки. Но весь трагический путь Игоря к прозрению, к пониманию своего долга перед Русской Землей, отвечает христианским представлениям об очищении души, и единственная победа, которую одерживает князь в своем безрассудном походе — победа над самим собою. Соединение древнего и нового верований создает в "Слове" не двойственное, а единое мироощущение: человек воспринимается в целостности всего Божьего мира, но как единственное земное существо, подобное Богу и наделенное ответственностью не за себя одного, а за весь мир.

Одновременно крепла в литературе и христианская поэтичность, прямо и прочно связанная с Библией. Летописная повесть о походе Игоря (конец XII в.), очень близкая "Слову" по сюжету и авторской позиции, написанная вдохновенно и сильно, вся пронизана евангельскими представлениями о грехе и покаянии.

Под прямым влиянием Священного Писания создавалась на Руси житийная литература — повествования о святых подвижниках — князьях, монахах, отцах церкви. Она развивалась, начиная с XI в., следуя традициям византийской агиографии (от греч. *hágios* — святой и *gráphō* — пишу), но обретала русские особенности, нередко воспроизводя живые черты быта, человеческого поведения, внося мотивы русской волшебной сказки и постоянно возвращаясь к библейским истокам. Таково, например, прекрасное "Житие Александра Невского"* (конец XIII в.). Все повествование ведется в сопоставлении героя с образами Библии: "Рост его был выше других людей, голос его — как труба в народе, лицо его — как у Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью силы Самсона". И воины князя сравниваются с воинами царя Давида, и события в "Житии" соотносятся с библейскими: "Было же в то

время дивное чудо, какое было в древности при Езекии царе, когда напал на Иерусалим Сеннахерим, царь ассирийский..."

Многозначителен эпизод, рассказывающий о попытке Ватикана обратить Александра и его подданных в католичество. Князь, подумав с мудрецами своими, дал решительный и одновременно тактичный ответ, показав, что Библия от начала до конца ему великолепно знакома, и менять православие на иное христианское учение он не намерен.

Древние "Жития" положили начало созданию образа совершенного героя, наделенного высшими добродетелями. Это стремление проявлялось снова и снова в творчестве писателей последующих эпох, вплоть до наших дней. Неизбежное столкновение идеала с реальностью, с противоречиями человеческой природы и общественных отношений, чувство недостижимости гармонии, незащищенности прекрасного — все это нередко порождало трагическое мироощущение самого художника.

Событием в истории русской литературы вообще и в жизни библейских образов, одухотворявших литературные произведения, стало "Житие"* протопопа Аввакума (1672 — 1676). Здесь есть и ссылки на Библию, и цитаты из нее, и размышления об истинной и ложной вере. И всю эту лирическую автобиографию освещает образ Христа, изображенный не столько зримыми чертами, сколько живым, сердечным переживанием автора, который чувствует Его незримое присутствие постоянно, во всех своих испытаниях и делах, говорит с Ним, поверяя Ему скорби, сомнения, радости. И главную идею своей книги — идею свободы совести — Аввакум находит в учении и деяниях Спасителя: "Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить, еже бы огнем, да кнутом, да виселицею в веру приводить."

3. "Я связь миров, повсюду сущих..."

Для русской литературы, как и для всех областей жизни, XVIII в. — время мощного развития, глубоких преобразований: возникает "авторская" литература, утратившая традиционную анонимность, идет становление новых повествовательных и драматургических жанров, создается стихосложение, сродное ритмам русской речи, рождается стихотворная лирика и занимает предназначенное ей место одного из трех литературных родов.

Во всех этих свершениях можно видеть воздействие Библии; например, в свойственном ей изначально внимании к имени поэта-пророка, которому доверена Божественная истина, который сумел передать людям откровение, благую весть, предостережение, наставление. Но более всего Библия повлияла на процесс развития русской лирики.

Лирическую поэзию питали многие истоки: фольклорные (календарно-обрядовые, любовные, шуточные, игровые песни, частушки, заклятия, причитания), литературные (лиро-эпические "слова" и "моления", имевшие ритмическую организацию, близкую к песенной, скажем, "Слово о полку Игореве", "Слово о гибели русской земли", "Задонщина", "Моление Даниила Заточника"; стихотворные повести — такие, как покаянно-нравоучительная "Повесть о Горе-Злочастии"; духовные стихи, включавшие в себя и тексты Священного Писания).

Но как самостоятельный род с богатейшим будущим русская лирическая поэзия родилась именно в XVIII веке, и определяющую роль в этом сыграли стихотворные переложения библейских песнопений, прежде всего — из Псалтири (или — в широком словоупотреблении — Псалтыри). Название этой Ветхозаветной книги произошло от слова *psaltêrion*, обозначавшего струнный музыкальный инструмент под аккомпане-

мент которого обычно исполнялись псалмы — молитвенные песнопения (применялись и другие струнные инструменты, например, аламоф). По библейскому преданию, большинство псалмов было сложено Давидом, царем древнего Израиля, их сочиняли и сын его Соломон, и певцы при дворе Давида — сыны Кореевы Асаф и Эман (это происходило примерно в конце XI — начале X вв. до н.э.). Псалмы звучали в Иерусалимском храме, через тысячу лет вошли в христианское богослужение. Псалтирь на протяжении веков была и остается доньше одной из любимых библейских книг. Афанасий, епископ Александрийский (295 — 373), полагал, что этой книгой "измерена и объята вся жизнь человеческая, все состояния души, все движения мысли, так что в человеке нельзя найти ничего более." На Руси Псалтирь входила в сознание человека вместе с уроками грамоты и оставалась его спутником до конца дней.

Переложения псалмов поэтами XVIII в. с древнеславянского языка на современный язык явилось свидетельством их особой значимости в сознании русского общества, и, вместе с тем, выражением исторического развития самой поэзии и ее языка.

Древний литературный язык, общий для восточных славян, на который переводили Библию еще первоучители Кирилл и Мефодий, сохранился в России как язык Священного Писания и богослужения. В XVIII веке он не был уже общепонятным, но звучал торжественно и стройно, самой своей архаичностью пробуждая настроение возвышенности, отрешенности от житейской суеты. Переложения Библии, столь характерные для XVIII в., способствовали сближению этого языка с живой, бурно развивающейся речью, помогли формированию "высоких" речевых стилей, которые господствовали в гражданской и философской лирике, в героической поэме, оде, в трагедии. Величая про-

стота, афористическая отточенность, энергия ритма — вот что шло от Библии во все "высокие" литературные жанры, но прежде всего, благодаря переложениям псалмов, — в лирику.

Псалмы — лирические песнопения, обращенные к Богу, выражавшие раздумья, душевные движения и потрясения, вызывали желание перечитать их на языке торжественном, но сердечном, чему избыточная архаичность препятствовала. И тут как нельзя более уместным оказался высокий стиль, состоявший, по определению М. В. Ломоносова, "из речений славенороссийских", употребительных в древнем и в новом литературном языке, "и из славенских, россиянам вразумительных и не весьма обветшалых". Переложения, выполненные Ломоносовым и его последователями, сохраняя верность библейским текстам, вобрали в себя настроения и переживания русских поэтов. И сегодня тот, кто хочет понять Г. Р. Державина, разобраться, например, в том, почему он, убежденный приверженец монархии, преданный и честный служитель русского государства, подозревался в "якобинских" стремлениях, непременно будет читать и обдумывать его переложение 81-го псалма — "Властителям и судиям"* , зазвучавшее обвинением всем "земным богам":

Не внемлют! видят и не знают!
 Покрыты мздою очеса:
 Злодействы землю потрясают,
 Неправда зыблет небеса.

И тот, кто пожелает познакомиться с внутренним миром И. А. Крылова в период его добровольно-вынужденного изгнания (1794 — 1804), мало освещенный биографами, обязательно заинтересуется циклом его великолепных од, "выбранных из псалмов", например, из псалма 93-го (1794 — 1795)*:

Кто? Кто с мечом? Со мною рядом
Кто мне поборник на убийц?
Кто на гонителей вдовиц?
Никто — всех взоры пали ниц,
И всех сердца страх облил хладом.

Никто — но Бог, сам Бог со мной;
Сам Бог приемлет грозны стрелы,
Вселенной двигнет он пределы,
Разрушит замыслы их смелы
И с тверди их сопхнет земной.

Сопоставление переложений с источниками позволяет увидеть немало существенных деталей. Вот одна из них. Прочитированные стихи из крыловской оды соответствуют следующим стихам из Псалтири:

"Кто восстанет за меня против злодеев? кто станет за меня против делающих беззаконие?"

Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания."

В переложении резко проступила отвага, решительность, непримиримость автора-псалмопевца; мысль о переходе в иной мир сменилась мыслью о победе над злодеями, особо знаменательна замена "за меня" на "со мною": автор не только уповает на защиту, но сражается; поражает наглядностью и энергией глагол "сопхнет".

Переложения псалмов основали мощную лиро-эпическую традицию, соединявшую библейские обличения беззакония, корысти и насилия с идеями и настроениями русского Просвещения, а начиная с 20-х гг. XIX в. — и русского освободительного движения. Державин, перелагая 81-й псалом, разумеется, не вдохновлялся идеями Французской революции. Но и паническое восприятие этой оды при дворе Екатерины II было не просто недоразумением: Библия исполнена сочувствия угнетенным, гонимым, страждущим, гнева против неправедных властителей. Она не зовет к соци-

альным переворотам и право наказания "сильных мира сего" за их злодеяния признает только за Высшим Судией. Но на протяжении многих веков во всем христианском мире и в России Библия питала вольнолюбивые, гуманистические, демократические стремления.

Библейские псалмы проложили дорогу и столь свойственной русской поэзии планетарности, космизму, широчайшим философским обобщениям. Так, ломоносовское переложение псалма 103-го (1743)*, где возносится хвала Богу — Творцу Земли, звезд, всех чудес "натуры", выглядит подготовкой к написанию "Утреннего размышления о Божием величестве" (1751) — великолепному изображению Солнца — лампы, которая возжена Творцом. Это стихотворение о Божием творении поражает кипением творческой энергии человека:

Творец! покрытому мне тьмою
Прости премудрости лучи
И что угодно пред тобою
Всегда твори научи.

Лирика псалмопевцев — один из несомненных истоков державинской оды "Бог"* (1780—1784), выразившей самосознание христианина. Державин идет вослед за Ломоносовым — автором "Утреннего размышления о Божием величестве" и "Вечернего размышления о Божием величестве при случае великого северного сияния". Но до Державина никто с такой мощью и глубиной не раскрывал искания человеческого духа, стремящегося понять свое место в мире, созданном Творцом, свое отношение к Богу, к природе, к вселенной.

Не было еще в русской литературе произведения, которое столь высоко подняло бы "Божью тварь" — мыслящего человека, нимало не наделяя его гордыней, внушая ему счастливое чувство соучастия в "непостижном" деянии Бога:

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я Бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Откуда произошел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Твое создание я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и Царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! — в бессмертие Твое.

Христианская поэтичность в XVIII в., как и в средневековой Руси, взаимодействовала с языческой. Только язычество Нового времени жадно впитывало в себя античность. Об этом свидетельствует не только Ломоносовский "Разговор с Анакреоном", но все его оды, где рядом упоминаются образы античной и христианской мифологии, и греческий Олимп соседствует с христианским Небом. Можно заметить у Ломоносова и отзвуки древнерусских языческих представлений. В знаменитой его оде императрице Елисавете (1747) "Великое светило миру" — Солнце — напоминает Дажьбога из "Слова о полку Игореве". Слияние христианской, античной и русской языческой поэтичности, свойственное мышлению автора, органично в стиле оды. Он рисует, например, деяния Петра — Человека, посланного в Россию Зиждителем мира:

В полях кровавых Марс страшился
Свой меч в Петровых зря руках,
И с трепетом Нептун чудился,

Взирая на российский флаг.
В стенах внезапно укрепленна
И зданиями окруженна
Сомненная Нева рекла:
Или я нынче позабылась
И с одного пути склонилась,
Которым прежде я текла?

Очевидно, что Зиждитель — Творец всего сущего — связан с библейскими Книгами Бытия, Марс и Нептун пришли в поэму, как и Парнас, Минерва, из античной мифологии; не столь очевидно, но достоверно, что "сомненная" (недоумевающая) Нева — в художественном родстве с олицетворенным¹ Донцом из "Слова", который говорит: "О князь Игорь! Немало тебе величия, а Кончаку нелюбия, а Русской земле веселия".

Ломоносов, разумеется, не мог знать "Слова", список которого был найден в конце XVIII в. Но у художественной традиции много путей, преемственность художественного мышления неодолима, даже если пресекается на какое-то время. Знаменательно, что Ломоносов унаследовал и то отношение к войне и миру, что было свойственно автору древнего произведения: "Слово" устремлено к прекращению усобиц, губящих жизнь "Дажьбожа внука", засевающих землю костями, а не зерном; Светило в ломоносовской оде "краше в свете не находит", чем "возлюбленная тишина" и Елисавета, которая "войне поставила конец".

Вся русская литература XVIII в. явилась уникальной лабораторией, в которой исследовались и создавались литературный язык, поэзия, драматургия, прозаические жанры, искусство перевода. В сложнейшем взаимодействии времен, культур, традиций Библия была несомненным организующим центром, ибо определяла константы миропонимания и нравственности, формировала отношение к слову и писательскому долгу.

4. "Иное упало на добрую землю и принесло плод..."

Много нового в русскую литературу принес XIX век: она стала средоточием самосознания нации, обрела общероссийское и мировое признание, колоссально возросла ее роль в установлении и развитии межнациональных и международных связей. Основой этого стремительного подъема явились, несомненно, художественные свершения литературы русского средневековья и XVIII века.

В установлении "связи времен" на рубеже веков важнейшее значение имела деятельность Н. М. Карамзина как поэта, прозаика, журналиста и особенно историка. Его "История Государства Российского"* (1818 — 1824) стала для России открытием, потрясением, великим шагом в формировании национальной памяти, в познании закономерностей своего развития. Пушкин в записке "О народном воспитании" (1826) сказал: "Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину", полагая, что это поможет образованию молодых дворян, "готовящихся служить Отечеству верой и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве". Эти слова ныне выглядят пророческими. Хотя после карамзинской "Истории" в России появилось немало выдающихся исторических трудов и в своем историческом движении Россия претерпела многие перемены, Карамзин сегодня жизненно необходим как наставник поколений, выходящих к социальному творчеству. Его "История" остается уникальным научно-художественным творением. По его собственным словам, он "искал духа и жизни в тлеющих хартиях; желал преданное нам веками соединить в систему, ясную стройным сближением частей..." В этой системе

определяющим началом служит позиция автора, наследника русских летописцев, писателя христианского, верного библейским заветам. Внимательный читатель "Истории" (в нашей антологии опубликован фрагмент о кончине Иоанна IV) заметит, что в повествовании постоянно присутствует нерушимая нравственная мера, дающая чувство единства в сложном сплетении событий, характеров, намерений, поступков. Вот одна из сцен, рисующая страшный московский пожар 1547 г., еще более страшный мятеж обезумевших москвичей, растерянность семнадцатилетнего царя, уже успевшего навредить себе и государству необузданными прихотями, своевољством и жестокостью... "В сие ужасное время, когда юный царь трепетал в Воробьевском дворце своем, а добродетельная Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном иерей, родом из Новгорода, приблизился к Иоанну с поднятым, угрожающим перстом, с видом пророка, и гласом убедительным возвестил ему, что суд Божий гремит над главою царя легкомысленного и злострасного; что огонь небесный испепелил Москву; что сила Вышнего волнует народ и льет фиял гнева в сердца людей. Раскрыв Святое Писание, сей муж указал Иоанну правила, данные Вседержителем сонму царей земных; заклинал его быть ревностным исполнителем сих уставов; представил ему даже какие-то страшные видения, потряс душу и сердце, овладел воображением и произвел чудо: Иоанн сделался иным человеком; обливаясь слезами раскаяния, простер десницу к наставнику вдохновенному; требовал от него силы быть добродетельным — и приял оную. Смиранный иерей, не требуя ни высокого имени, ни чести, ни богатства, стал у трона, чтобы утверждать, ободрять юного венценосца на пути исправления, заключив тесный союз с одним из любимцев Иоанновых, Алексеем Федоровичем Адашевым, прекрасным молодым чело-

веком, коего описывают земным ангелом: имея нежную, чистую душу, нравы благие, разум приятный, основательный и бескорыстную любовь к добру, он искал Иоанновой милости не для личных выгод, а для пользы Отечества, и царь нашел в нем редкое сокровище, друга..." Восторженные характеристики, которые дает Карамзин спасителям Иоанна и трона, не расходятся с мнениями последующих историков, например, В. О. Ключевского. Пока Сильвестр и Адашев оставались советниками царя, пока он их ценил и слушал (1547 — 1559), много было сделано мудрого и доброго: создан Судебник — свод юридических установлений, реорганизовано войско, присоединены к России Казанское и Астраханское ханства, завершена земская реформа с отменой так называемых "кормлений" — узаконенной формой лихоимства местной администрации... Это был период, на протяжении которого русским и иностранцам, оставившим свои мнения об Иоанне, он представлялся "как пример монархов благочестивых, мудрых, ревностных ко славе и счастью государства." Но настала "ужасная перемена в душе царя и в судьбе царства": Иоанн перестал следовать заповедям Писания, предал своих друзей и погубил их, осквернил кровожадностью и развратом память своей покойной жены — кроткой Анастасии, и пошли одна за другой "эпохи душегубства", поставившие Россию эпохи Иоанна на край гибели.

Вокруг Карамзина и его "Истории" собрались в первой четверти XIX в. те молодые писатели и мыслители, благодаря которым сам век поныне воспринимается как золотой в истории русской литературы. Таким он видится и нам, людям следующего века, уже идущего к своему завершению. Сами писатели "золотого века" видели его иным, говорили о его враждебности поэзии. Е. А. Баратынский в стихотворении "Последний поэт" (1834) писал:

Век шествует путем своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.

Русская литература никогда не жила в условиях комфорта и благоприятствования, ей были знакомы тяготы и страдания прежде всего потому, что она изначально жаждала правды и берегла свою независимость, защищала гонимых, сочувствовала обездоленным и не мирилась с несправедливой властью. "История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги", — сказал А. И. Герцен в 1850 г., и перечислил имена безвременно погибших писателей первой половины века. Этот перечень он закончил словами: "Горе народам, которые побивают камнями своих пророков!" — говорит Писание. Но русскому народу нечего бояться, ибо ничем уже не ухудшить несчастной его судьбы".

Ссылка на Евангелие, где многократно говорится о преследовании пророков властями и одураченной, озверевшей толпой (см. Деяния апостолов, IV, V, VII, XII, XIV, XVI) может показаться в книге Герцена всего лишь метафорой, усиливающей выразительность речи. На самом деле это отражение сущности его взгляда на литературу и его собственной писательской позиции: "У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего негодования и своей совести."

Литература XIX века была по своей основной тенденции учительной. Но не потому, что отличалась назидательностью: это ей было чуждо, а потому, что всегда чувствовала свою ответственность за состояние страны и мира, всегда была чутка и отзывчива к нуждам и бедствиям своего народа и человечества. Литература не поучала, но учила в самом высоком

смысле этого слова: пробуждала в людях достоинство и честь, одухотворенность и творческие стремления, формировала "самостояние", если применить пушкинское слово.

Вспомним, что слава Пушкина начиналась лирическими посланиями и ораторскими призывами, имевшими гражданский характер: "Вольность" (1817), "К Чаадаеву" (1818), "Деревня" (1819).

Глубочайшим выражением пушкинского взгляда на поэзию и ее значение в жизни явилось стихотворение "Свободы сеятель пустынный..."* (1823), истоком которого явилась знаменитая евангельская притча. Остановимся на этом стихотворении молодого поэта: оно столько раз отзывалось позднее в его собственном творчестве, в произведениях других русских писателей XIX и XX вв., что обозначило собою одну из магистральных линий в движении русской литературы и русской мысли. Стихотворение это содержит размышление о самом трагическом обстоятельстве человеческой истории — о загадочной склонности народов к стадной покорности. Приведем здесь его полностью.

Изыде сеятель сеяти семена своя

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Комментаторы поясняют, что стихотворение вызвано поражением испанской революции 1820 — 23 гг. Это несомненно, если иметь в виду повод к созданию стихотворения, творческое побуждение. Но содержание стихотворения, разумеется, не может быть сведено к отклику на события в Испании. Да такой отклик выглядел бы и не вполне справедливым: освободительное движение, возглавленное Рафаэлем Риего-и-Нуньесом, направленное против королевского всевластия, мракобесия инквизиции, непомерных привилегий монастырей и феодалов, получило широкую общественную поддержку и добилось немалых успехов. Король присягнул конституции, которой испанский народ добился еще во время революции 1808 — 1814 гг., упразднил инквизицию, созвал кортесы (парламент), куда вошли многие реформаторы. Завоеванная свобода была попорана вторгшимся в Испанию 100-тысячным французским войском, к которому в стране присоединилась "армия веры", сколоченная монастырями и инквизицией. Так что горестного упрека в стадной покорности испанцы не заслуживали. Пушкин с горячим сочувствием отзывался о Риего и его соратниках.

Вообще "Свободы сеятель пустынный..." — не политический трактат, а творение искусства; как свойственно лирике, стихотворение соединяет душевное состояние, вызванное конкретными обстоятельствами, и обобщения, далеко выходящие за пределы авторской жизни и истории Европы. "Я" в этом стихотворении включает и авторскую личность, но не тождественно ей. Всемирность и всечеловечность здесь подчеркнуты прямой соотнесенностью стихотворения с притчей о сеятеле, которую Иисус рассказывал при огромном стечении народа (Евангелие от Матфея, XIII, 3 — 23).

"...вот вышел сеятель сеять;

И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;

Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро возшло, потому что земля была неглубока;

Когда же возшло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло;

Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;

Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать."

Эта притча занимает особое место в Евангелии: она служит введением к другим притчам; Иисус объясняет своим ученикам, ради чего все они рассказываются людям: "Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не понимают..."

Притча, одна из древнейших форм словесного искусства, — произведение иносказательное, философское, содержание его всегда многогранно и побуждает к разным трактовкам. Притча близка басне, но, в отличие от нее, повествует о каких-либо житейских событиях, избегая фантастических обстоятельств и персонажей. Такова и притча, рассказанная Иисусом о всем знакомом труде земледельца. Он сам разъяснил ученикам ее значение: речь идет о людях, слушающих слово о Царствии Небесном: у одного человека "посеянное в сердце его" похищает диавол; другой с радостью принимает слово, "но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазнится", у третьего "забота века сего и обольщение богатства заглушает слово", и только посеянное на доброй почве, воспринятое человеком "слышащим и разумеющим", приносит богатый плод.

Пушкин не только взял из Евангелия эпиграф (он на древнеславянском языке: перевода Библии на современный русский язык тогда еще не было), он и все стихотворение считал подражанием Христовой притче.

Как же он истолковал евангельский текст? В глав-

ном поэт следует за Евангелием: ведь и он говорит о тех, кто "видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют"... Но в написанные им тринадцать ямбических строк, кажется, вместились самое горькое из опыта, накопленного человечеством за восемнадцать веков, протекших после создания Евангелия: по какому-то проклятию стадная покорность неизменно, "из рода в роды" торжествует над попытками "сеятелей свободы" вывести народы из состояния подъяремного скота к лучшей участи, достойной людей...

К этому опыту, непрерывно накапливаемому, можно отнести по-разному. Если считать, что существует незыблемый закон, по которому люди извечно и навсегда разделяются на пастухов и стадо, тогда единственное упование скотины — на доброго или умного пастуха, который будет озабочен, пусть и ради собственной выгоды, благополучием стада. Разумеется, добр пастух или жесток, он все равно будет "резать или стричь".

Но если думать, что примиренность с рабством и обыкновение прославлять его — это наваждение, которое пока не удастся преодолеть из-за несовершенства человеческой природы или пороков общественного устройства, то это еще не значит, что оно непреодолимо, иначе и сотворение одухотворенного существа было бессмысленным деянием; значит, поэтам, пророкам, мыслителям — всем вообще "сеятелям свободы" — нельзя предаваться отчаянию, нельзя утрачивать веру в человека, в реальность его освобождения от скотства и стадности; и даже обличая человечество, самым гневом будить его достоинство.

Какую позицию выбирает герой стихотворения — судить читателю, но справедливость суждения будет тем выше, чем полнее будет учтен контекст пушкинского творчества 20-х гг. И прежде всего взгляд обращается к стихотворению "Пророк"* (1826 — 1828), связь которого со стихотворением "Свободы сеятель

пустынный..." очевидна: пророк и сеятель в Библии — разные обличья одного образа.

В одной из книг "Ветхого Завета" — книге Пророка Исаии — изображается мучительное очищение души человека, пожелавшего передать людям ту высокую правду, что открылась ему, то есть исполнить дело пророка. Исаия рассказывает, как озарило его видение: глазам его явился Господь, окруженный серафимами — шестикрылыми ангелами. Но могут ли поведать об этом "нечистые уста"?

"Тогда прилетел ко мне один из серафимов и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника.

И коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен.

И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня." (VI, 1 — 8).

Пушкин следует за библейским текстом, создавая стихотворение "Пророк". Прочтем строки, наиболее близкие рассказу Пророка Исаии:

И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угля, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
"Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполни волею моею
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей".

Это стихотворение, как и стихотворение о сеятеле, принадлежит к тем вершинам, с которых далеко виден путь русской поэзии. Миссия писателя здесь, вослед за Библией, изображена как миссия подвижническая; здесь звучит суровое предупреждение против легковесного понимания поэзии, против рифмоплетства, принимаемого за искусство: истинная поэзия претерпевает жгучее, неутолимое страдание, проходит через смерть и воскресение, чтобы стать пророчеством.

Контекст пушкинского творчества 20-х гг. широк, сложен, динамичен.

В эту пору взаимопроникновение разных художественных традиций стало для Пушкина особенно органичным: образы русской сказки, никогда не порывавшей с языческим мироощущением, волшебных легенд Севера и Востока, античной мифологии вольно сочетаются с христианскими представлениями, с отзвуками библейских притч и песнопений. Все это можно увидеть, например, в поэме "Руслан и Людмила" (1820).

Свобода мысли, фантазии и стиля, благодатная сама по себе, таит и опасность, когда кажется беспредельной: она способна вдохновить на создание произведения изящного, но порожденного "воспаленным" состоянием души (воспользуемся выражением Пушкина).

В его "Гаврииладе" (1821) Благовещение — известный библейский сюжет о непорочном зачатии — преподнесено в духе изящной и озорной эротики, которую поэт воспринял еще в лицейские годы из поэзии Вольтера, а отчасти, пожалуй, и Баркова, только без присущей последнему утомительной сосредоточенности на одной человеческой функции. Поэма была написана Пушкиным в ту пору, когда ему еще льстила репутация, которую точно передал Баратынский в "Пирах" (1820):

Ты, Пушкин, ветреный мудрец,
Наперсник шалости и славы...

События, связанные с "Гавриилиадой", заслуживают внимания: в них проявилась существенная закономерность воздействия Библии на творчество Пушкина и русскую литературу вообще.

История поэмы основательно, хотя и не исчерпывающе, изучена; в качестве возможных ее источников названо большое число фольклорных и литературных произведений: неканоническая, нередко пародийная или карнавальная трактовка Благовещения имела широчайшее хождение с евангельских времен. Но менее всего эта история рассматривалась в связи с библейской традицией в русской литературе.

Пушкин читал "Гавриилиаду" в кругу кишиневских приятелей, послал ее и петербургским друзьям, она распространялась изустно и в списках. Вяземский называл поэму "прекрасной шалостью". Беспечно отнесясь к распространению ее, автор, возможно, тогда видел в ней игривость, но не кощунство. Возможно и другое: в Пушкине, как говорил один из глубоких знатоков его творчества С. Л. Франк, уживались крайности — буйство и неистовство с умудренностью и просветленностью. "В нем был, кроме того, какой-то чисто русский задор цинизма, типично русская форма целомудрия и духовной стыдливости, скрывающая чистейшие и глубочайшие переживания под маской напускного озорства", — пишет Франк в статье "Религиозность Пушкина".

Во всяком случае, поэмы Пушкина, которые создавались почти одновременно с "Гавриилиадой", содержат библейские мотивы, не сопряженные с каким бы то ни было игровым переосмыслением/и принципиально важные для постижения авторского замысла. В "Братьях-разбойниках" (1821 — 1822) сюжет основан

на евангельской идее покаяния, к несчастью, запоздалого и потому не спасающего души. В "Бахчисарайском фонтане" (1821 — 1823) душевная просветленность Марии открывается в ее вере:

И, мнится, в том уединеньи
Сокрылся кто-то неземной.
Там день и ночь горит лампада
Пред ликом Девы Пресвятой...

Отношение поэта к "Гавриилиаде" вскоре после ее написания изменилось. Есть несколько достоверных свидетельств о том, что он с болью воспринимал упоминания о ней. Главное же в том, что в нем происходила некая внутренняя работа, отражением которой могут служить многие произведения 20-х гг., но яснее всего — стихотворение "Воспоминание"* (1828).

Его, как и пушкинскую лирику вообще, нельзя толковать в сугубо биографическом смысле. Первая же строка вносит широчайшее обобщение: "Когда для смертного умолкнет шумный день..." Заметим, что здесь едва слышно звучит и библейский мотив: слово "смертный" как обозначение человека вообще — отзвук легенды о первородном грехе. "Смерть вошла в мир через грех наших прародителей", — говорит Библийская энциклопедия архимандрита Никифора (1891). Но обобщенность включает в себя конкретность. Стихотворение написано весной в Петербурге — и об этом читатель может узнать не только из комментария, но из самого текста: "И на немые стогны града Полупрозрачная наляжет ночи тень..." Это петербургская ночь, майская, когда она еще *полупрозрачна*, а не прозрачна, как в июне.

"Воспоминание" было написано в ту пору, когда уже надвигалось правительственное расследование по делу о "нечестивой и богохульной поэме". Но Пушкин еще об этом не знал. Он *сам* спрашивал себя о том, что грызло сердце.

...Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Несомненно, здесь соединилось много воспомина-
ний: это подтверждается продолжением, которое Пуш-
кин не включил в опубликованный (1829) текст:

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, изгнании, в степях
Мои утраченные годы.

Но в том же продолжении есть многозначительная
деталь: в мечтах являются

Две тени милые, — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые.
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут... и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастья и гроба.

Эти стихи не могут быть истолкованы однозначно.
Но обрести крылья и огненный меч по библейским
представлениям могли женщины-ангелы, взятые на
Небо, ставшие служителями Богоматери. И мысль о
мести допустима, если Божьи ангелы мстят не за себя:
этого не допускала христианская нравственность.

В последующие годы Пушкин нечасто прямо обра-
щается к Библии. Иногда он излагает библейские сю-
жеты, например, начало ветхозаветной книги Юдифь
("Когда владыка ассирийский...", 1835), великопост-
ную молитву Ефрема Сирина ("Отцы пустынники и
жены непорочны...", 1836). Иногда библейские мотивы

как бы растворены в тексте и только мгновенная деталь помогает читателю задуматься об этом.

Так в "Полтаве" (1828 — 1829) вдруг возникает тень дьявола, когда Мазепа, не решаясь прямо сказать Марии о предстоящей казни ее отца, пытается вырвать у нее хотя бы невольное полусогласие на это злодеяние:

Послушай: если было б нам,
Ему иль мне, погибнуть надо,
А ты бы нам судьей была,
Кого б ты в жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?

М а р и я

Ах, полно! сердца не смущай!
Ты искуситель.

Искусителем в Евангелии часто именуется дьявол, да и сама роль Мазепы в этой сцене нравственной пытки сатанинская. Эта тема развивается, поворачивается новой гранью в следующей сцене: Кочубей, уже приговоренный к смерти, ждет, что его посетит исповедник — "Духовной скорби врач, служитель За нас распятого Христа". Но появляется свирепый Орлик и по приказу Мазепы подвергает запытанного, готового к плахе страдальца адским пыткам. Его уже заставили в муках оболгать себя, теперь вымучивают признание, где спрятал он деньги... Но утром, когда телега везла осужденных к месту казни,

В ней, с миром, с небом примиренный,
Могущей верой укрепленный,
Сидел безвинный Кочубей...

Библейские образы выступают в качестве нравственных ориентиров и в поэме "Анджело" (1833). Изабелла, готовая принять монашеский постриг, бросается спасать брата, приговоренного к смерти по замшелому, забытому закону о прелюбодеянии, который решил

вновь пустить в дело непреклонный формалист Андже-
ло. Отважная дева находит неотразимые доводы, умо-
ляя о милосердии:

"Подумай, — говорила, —
Подумай: если Тот, чья праведная сила
Прощает и целит, судил бы грешных нас
Без милосердия; скажи: что было б с нами?.."

Но Анджело, суровый законник, "За нравы строгие
прославленный везде", не выдерживает испытания во-
ждедением. Он готов проявить милосердие, только
бесовское, как говорит Изабелла: взять выкупом за
жизнь брата бесчестие сестры. Пушкин изображает
духовный крах Анджело великолепной деталью: "Ус-
тами праздными жевал он имя Бога, А в сердце грех
кипел."

Такого рода наблюдения можно вести долго, отыс-
кивая все новые и новые детали в "Евгении Онегине",
в лирике, в прозаических произведениях, в сказках...
Однако, дело не в умножении примеров, а в постиже-
нии закономерности: Библия постоянно присутствует
в творческом мышлении поэта, с нею соотнесены его
художественные искания, его нравственные представ-
ления. Это не обязательно находит прямое выражение
в тексте, иной раз сигналом для читателя служит всего
одно слово и даже только одно из его значений в
контексте. Скажем, в "Медном всаднике" нарисован
город наутро после наводнения:

Утра луч
Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихой столицей
И не нашел уже следов
Беды вчерашней; багрянцей
Уже прикрыто было зло.

Багряница здесь может означать зарю, окрасившую улицы и дома. Но это слово в Библии имеет особые смыслы: так называли пурпурную одежду царей, жрецов высшего ранга. Когда Иисус был приговорен к распятию, Пилат отдал его в руки римских солдат.

"И, раздевши Его, надели на Него багряницу;

И, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!

И плевали на Него и, взявши трость, били Его по голове." (Евангелие от Матфея, XXVII, 28 — 30).

Здесь нет прямого уподобления страданий Петербурга страданиям Иисуса. Но есть неожиданный взгляд на город, вся история которого столь же прекрасна, сколь и мучительна. И все события поэмы словно бы вливаются в русло мировой истории, и русская столица кажется одним из библейских городов.

5. "И свет во тьме светит..."

Воздействие пушкинской поэзии на читателя, среди многих причин, определяется, как давно замечено, чудесной гармоничностью его произведений, соразмерностью и созвучностью их частей. Пристальный взгляд и чуткое ухо уловят в единстве величайшее разнообразие. Откроем, например, страницы пушкинского романа в стихах, еще раз насладимся его драматическим и светлым финалом, который примиряет с неизбежным и оставляет в душе тревогу, открывает просторы непредсказуемого и побуждает угадывать судьбы героев... Перелистывая восьмую главу, мы без особых аналитических усилий, но с улыбкой удовольствия заметим античную образность, так естественно перенесенную в обстановку лицейской юности, Музу-вакха-

ночку, которая, как в русской волшебной сказке, принимает разные обличья: она и ветреная подруга поэта, и заботливая спутница его в далеких скитаниях, и героиня немецкой баллады, переложенной Жуковским на русский лад, и смиренная странница, одичавшая среди "племен бродящих", и уездная барышня, в которой мы узнаем вдруг героиню романа. Мы удивляемся, обнаружив, что автор устроил на "светском рауте" встречу "двух Татьян": Татьяны-Музы с Татьяной-княгиней, с "неприступною богиней Роскошной, царственной Невы".

В непринужденной беседе с читателем автор упоминает мимоходом библейскую легенду о первородном грехе ("О люди! все похожи вы На прародительницу Эву...") и античного бога сновидений Морфея, называет имена римских, русских, европейских писателей; автор открывает читателю душевную жизнь героя — его внезапную любовь, безрадостную, как "бури осени холодной", мучения его совести, покаяние, суетные самооправдания и подлинные страдания... Все это слилось в повествовании, которое кажется нам абсолютно свободным, хоть мы и понимаем закованность его в кристальные строфы, подчиненность строгому ритму.

В целостности пушкинского стиля разные традиции не спорят, но содружествуют, открывая читательскому воображению бескрайние просторы. Так в первой же строфе оды Горация, переложенной Пушкиным вослед за Ломоносовым и Державиным — "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..."* (1836) — мы воспринимаем как естественное, единственно возможное сочетание евангельского представления о храме нерукотворном с мотивом народной тропы, идущим из русского фольклора (в былинах привычен образ тропы, которая "заколодела, замуравела" — и только богатырь способен сделать ее снова торной).

В пушкинской трактовке "Памятника" вообще

много неожиданного с точки зрения "диалога культур". В той же первой строфе Александрийский столп пробуждает одновременно две ассоциации: воспоминание о знаменитом маяке высотой 110 метров в Александрии Египетской (IV — III вв. до н. э.) и о колонне на Дворцовой площади в Петербурге, увенчанной фигурой ангела с лицом Александра I (1834 г.). И далее в тексте стихотворения читателя нисколько не удивляет, что бессмертие поэта трактуется в соответствии с представлениями античной культуры как жизнь его души в созданных им творениях, но, обращаясь к Музе, автор призывает ее быть послушной велению евангельского Бога, который заповедовал смирение и незлобность...

Взаимодействие культур остается существеннейшей чертой русской литературы и после Пушкина. Но соотношение традиций быстро и ощутимо меняется. Перечитаем лермонтовское стихотворение "Смерть поэта"* (1837), написанное через год после пушкинского "Памятника" и сделавшее автора известным России. Здесь очевидно идущее из глубины веков высокое представление о поэте — дивном гении, приверженце свободы, увенчанном славой. Но мы не найдем здесь привычных слов-сигналов, воскрешающих в памяти мир античной мифологии и поэзии. Здесь доминирует библейская образность: упоминание о терновом венце вызывает в памяти сцены, рисующие издевательства римских солдат над Христом перед казнью.

Шестнадцать грозных строк, завершающих стихотворение, навеяны библейскими пророчествами о Судии, от которого невозможно сокрыться: "И мысли и дела Он знает наперед". Здесь отразились, наверное, образы Апокалипсиса; может быть, и образы Книги пророка Малахии, где предрекается неотвратимый суд Божий:

"И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся

ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь Саваоф" (III, 5).

Перемены, происходившие в сфере литературной образности на рубеже 30 — 40-х гг. XIX в., очень точно уловила литературоведческая статистика.

В "Лермонтовской энциклопедии" приведены сопоставительные данные о лексике, встречающейся у А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Объем слов в художественных произведениях обоих поэтов примерно равен (313 тысяч и 326 тысяч). А частота употребления слов, связанных с античной мифологией, у младшего из поэтов резко снижается: "Амур" 43:4, "Аполлон" 32:2, "лира" 129:10, "муза" 148:14, "Парнас" 21:1 и т.д. Зато среди наиболее часто употребляемых слов у Лермонтова появляются "Бог" и "Небо" в библейском значении.

Показательно и сопоставление стихотворений, имеющих сходные мотивы, например, пушкинской "Мадонны" (1830)* и лермонтовской "Молитвы" (1837)*. В том и другом стихотворении присутствует образ Матери Божией и образ любимой поэта. Пушкин рисует любовь к святыне и святыню любви в согласии с тем пониманием, которое мы находим в Библии, например, в Первом послании апостола Павла к коринфянам: "Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий" (XIII, 1). Поэт побуждает нас почувствовать божественное начало в любви и в материнстве. Но когда он соотносит свое преклонение перед Пречистой Матерью — и свою мечту о счастье с любимой, это более отвечает духу Возрождения, чем библейской традиции:

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Лермонтову подобное сопоставление не свойственно: его молитва за светлую женскую душу не связана с надеждой на собственное счастье.

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника, в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Слово "холодный" относится к числу ключевых в лермонтовской поэзии: это один из самых частых его эпитетов. Та равновесность, которую можно усмотреть в самых драматических произведениях пушкинской лирики — "Брожу ли я вдоль улиц шумных..." (1829), "Безумных лет угасшее веселье" (1830), "Чем чаще празднует Лицей..." (1831), "Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит" (1834), если и навещает лирический мир Лермонтова, то в странном облике жизни-смерти. Положите перед собою последнее из упомянутых здесь пушкинских стихотворений и сходное по основному мотиву стихотворение Лермонтова "Выхожу один я на дорогу..."* (1841). Оба поэта мечтают об одном: "На свете счастья нет, но есть покой и воля", — говорит Пушкин. "Я ищу свободы и покоя", — говорит Лермонтов. Но в пушкинском стихотворении "усталый раб" еще мечтает о побеге "В обитель дальнюю трудов и чистых нег". В лермонтовском нет и мысли о спасительном побеге: некуда бежать в этой звездной пустыне, которая "внемлет Богу", но, кажется, и не помнит о человеке. И рождается одно только желание: "Забыться и заснуть" —

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь...

Космизм этого стихотворения выражает характернейшую особенность лермонтовского поэтического мира: входя в этот мир, читатель чувствует его неизмеримость, беспредельность; перед ним море, спокойное или бушующее, снежные хребты и пропасти, над ним высокое небо; все здесь крупно, мощно, ярко и все словно бы побуждает вспоминать Книгу Бытия:

"В начале сотворил Бог небо и землю.

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою.

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет." (I, 1 — 3).

Лермонтовское мировосприятие, можно полагать, сложилось под несомненным воздействием того поэтического произведения, которое он писал и совершенствовал с 15-ти лет и, как заметил близкий его друг и родственник А. П. Шан-Гирей, "только смерть помешала ему привести любимое дитя своего воображения в вид, достойный его таланта."

Первые же стихи поэмы "Демон" (1829 — 1841) поднимают читателя "над грешною землей" в "жилище света", в область комет и светил, где века бегут, "как за минутою минута", и глубоко внизу проплывают снежные вершины, извилистые ущелья и бурные реки Кавказа.

Тема демонизма у Пушкина еще не имела прямой связи с библейской традицией. "Злобный гений" — герой пушкинского "Демона" (1823) — приводит на память представления древних римлян и греков о сверхъестественных существах, которые сопутствовали человеку всю его жизнь, определяли его характер и судьбу.

Герой лермонтовской поэмы — один из служителей

библейского Бога — "счастливый первенец творенья", двукрылый ангел, изгнанный из рая. За какую вину? Неведомо. Почему среди ангелов появляются отступники, проклятые Богом, ставшие сеятелями зла — это одна из неразгаданных тайн Библии. Но это и одна из самых жгучих проблем человеческой истории с ее вечным борением веры и сомнения, любви и ненависти, милосердия и жестокости.

Лермонтов изобразил небожителя, полюбившего земную женщину. Истоком такого сюжета могла быть Книга Бытия, где рассказано:

"Когда люди начали умножаться на Земле, и родились у них дочери,

Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал" (VI, 1 — 2).

Этот сюжет не однажды использовался в литературе. Но Лермонтов впервые рисует Демона, уставшего от зла и мечтающего переродиться в любви:

Меня добру и Небесам
Ты возратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там
Как новый ангел в блеске новом.

Почему же эта мечта оказалась несбыточной? Может быть, потому, что на пути к обновлению Демон тайно погубил жениха Тамары, что не смог отречься от сатанинской гордости, что и в его любовных мольбах господствует "я", а не "ты"... И еще потому, что даже его мысли о возрождении чужды библейским заповедям и полны презрения к потомкам Адама и Евы, среди которых и его возлюбленная:

Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений

Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?

С Лермонтова начинается в русской литературе XIX в. резкое нарастание роли Библии в словесном творчестве: идеи, сюжеты, образы, стиль Книги книг приобретают такую силу воздействия на словесное искусство, что многие из числа самых замечательных произведений невозможно полноценно прочесть, не обращаясь к Библии. Материал, нуждающийся в обдумывании с этой точки зрения, чрезвычайно обширен, и в нашей антологии представлена лишь очень небольшая его часть. В сущности, нужна заново написанная история литературы, последовательно рассматривающая библейские традиции в единстве с другими составляющими литературного процесса. Но и в ожидании этого грядущего труда сегодняшний читатель, если Библия вошла в его духовный мир, уловит зримые и незримые связи ее с литературной классикой.

Великое множество толкований вызвала гоголевская "Шинель"* (1842). Вослед за Ф. М. Достоевским едва ли не все исследователи считают эту повесть предвестием и началом дальнейших свершений русской литературы XIX в. В ней видели и сочувствие к угнетенным, и социальный протест, и образ "маленького человека", и картину не столько российской, сколько вообще человеческой жизни. "Что-то очень дурно устроено в мире, а люди — просто тихо помешанные, они стремятся к цели, которая кажется им важной, в то время как абсурдно-логическая сила удерживает их за никому не нужными занятиями, — вот истинная "идея" повести, — говорил В. В. Набоков, создавший самую неожиданную и глубокую книгу из всех, написанных о Гоголе. — В мире тщеты, тщетного смирения и тщетного господства, высшая ступень того, что могут достичь страсть, желание, творческий импульс, — это

новая шинель, пред которой преклонят колени и портные, и заказчики".

Но гоголевская повесть не укладывается и в самые проникательные толкования: за их пределами всегда остается еще многое, что может заметить читатель, вглядываясь в текст с иной точки зрения. Действительно ли "сооружение шинели" — проявление одной лишь тщеты?

Да, шинель у Акакия Акакиевича отняли, как отняли и саму жизнь. Но для того ли Н. В. Гоголь погружает читателя в мечты и заботы героя, чтобы мы поняли пошлость или абсурдность его мечты? Он детальнейшим образом описывает, как окончательно протерлась старая, много раз чиненная шинель Башмачкина, как "пропекало" его морозом, как он совсем по-детски убеждал портного Петровича, что сукно еще новое, поставить бы только заплатки... Башмачкин ни на мгновение не перестает быть "маленьким". И все же с каждым шагом повествования он, ни на иоту не прибавляя в росте, оставаясь жалким и смешным, словно бы растет в глазах читателя.

В словах Гоголя о своем герое подчас прорывается истинный восторг, удивительным образом не теряющий при этом и комизма. "С лица и поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли точно куницу на воротник." Все в этой истории дышит правдой, понятной и близкой каждому, кому радости не достаются даром. Человек ради осуществления своей мечты обходится без чая и свечки, осторожнее ходит, чтобы меньше стирались подметки, "даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно,нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели."

Читатель ощущает, как свое, тихое счастье героя, который в новой шинели, словно бы на крыльях, летит в департамент. Нет, что ни говорить, а это своего рода подвиг, возвышение души, утверждение человеческого достоинства.

Но сооружение шинели — еще и подвиг Петровича: этот кривой философ и горький пьяница прежде занимался одной починкой, был в пренебрежении у собственной супруги, а тут соорудил шинель, да еще какую! Он душу свою в нее вложил, каждый шов сделал любовно и по каждому потом, уплотняя его, прошелся зубами. "Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново". Как истинный художник, Петрович не погнался за гонораром, деньги взял самые малые, зато потом, вручив шинель, шел тайком за Акакием Акакиевичем, чтобы еще и еще раз полюбоваться на свое творение.

Наслаждаясь всеми этими деталями, передающими близкие каждому человеческие чувства, невольно вспоминаешь фигуру молодого чиновника, выведенного Гоголем в повести. Этот чиновник, поступив в департамент, присоединился было к насмешкам других чиновников над Башмачкиным, но однажды, услышав его слова, вдруг остановился, "как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде... И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: "Оставьте меня, зачем вы меня обижаете? — и в этих проникающих словах звенели другие слова: "Я брат твой".

Что же это за слова? Откуда они? Все из того же источника, из Библии. В Нагорной проповеди Христос

говорил, что называть брата своего пустым или безумным, замечать сучок в его глазу, не видя бревна в собственном, преступно. Он заповедовал любовь не только к ближнему, но и к врагу, и провозгласил простую истину: "Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними..." (Евангелие от Матфея, VII, 12).

Может быть, самое главное чудо, совершаемое этой повестью, — то, что она будит не только сочувствие, жалость, горечь за человека в дурно устроенном мире, но и радость за него, сохраняющего божественную душу вопреки абсурдной, дьявольской логике, которая так часто торжествует над лучшими человеческими стремлениями.

Вспоминается начало Нагорной проповеди:

"Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют Землю.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят."

(Евангелие от Матфея, V, 3 — 8).

Для размышлений над гоголевской повестью существенно представлять себе, как толкуется знатоками Библии "нищета духовная". Иоанн Златоуст (около 350 — 407), один из замечательнейших христианских проповедников и ученых, патриарх Константинопольский (398 — 404), объясняет это выражение в таком духе: праведные люди имеют то, что дарует Бог, и если делают что-то доброе, то благодаря Его помощи и благодати, а себе это в заслугу не ставят и ни в чем не проявляют гордыни.

Гоголь всю свою писательскую жизнь бился над тем, чтобы постичь судьбу человека, душу в которого вло-

жил Бог, а жизнью словно бы распоряжается Сатана. Гоголь с юности мечтал о подвижничестве, его идеалом были деяния Христовых апостолов. Подобно Аввакуму, он готов был пострадать для России, чтобы помочь ей избавиться от сатанинских козней. В начале писательского пути Гоголь попробовал расправиться с чертовщиной смехом и создал упоительные "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1830 — 1832). Но уже в последних повестях этих книг — "Страшная месть", "Иван Федорович Шпонька и его тетушка" — ощутимы иные настроения: читателя охватывает тревога от картин дьявольского человеконенавистничества и беспроектной пошлости.

Последующие произведения Гоголя — "Миргород" (1835), "Ревизор" (1835), "Петербургские повести" (1835 — 1842), "Мертвые души" (1842 — 1852) — "достраивают" странный, небывалый и достоверный — в читательском восприятии — художественный мир; "население" этого мира не поддается ревизии, границы его уходят в бесконечность, найти ему какое-то удовлетворительное определение пока никому не удалось: споры кипят второе столетие. Одно несомненно: все радости и страдания на пути писателя так или иначе связаны с его отношением к истинам Евангелия; без учета этого чтение Гоголя остается ущербным. Как бы ни толковать "Авторскую исповедь" писателя (1852), нельзя не прислушаться к его словам: "Все, где только выражалось познание людей и души человека, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял Он."

Думается, что это признание писателя помогает читателю полнее ощутить свет, идущий от гоголевских творений, где так причудливо и прекрасно соединились

смешное и страшное, пошлое и высокое. Снова вспоминается: "И свет во тьме светит, и тьма не объяла его".

6. "Еще народу русскому пределы не поставлены..."

Рост масштабов и силы воздействия Библии на литературный процесс во второй половине XIX в. во многом связан с демократизацией русского общества, вызванной отменой крепостного права и другими реформами. Словесное искусство открывает и осваивает новые сферы жизни, все большее место в ней занимают персонажи из народных "низов", где Священное Писание давным давно стало Книгой в самом высшем смысле слова.

Недаром стихотворение Ф. И. Тютчева, которое произвело сильнейшее впечатление на читателей и долго потом вызывало отклики в литературе — "Эти бедные селенья..."* (1855), создает образ Спасителя — странника по Руси, словно бы поднявшего на свои плечи всю безмерность народного страдания:

Отягченный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Сочувственный интерес писателей к "простым людям" — кормильцам и защитникам России — идет из далекой древности, по крайней мере от "Слова о полку Игореве". Одна из самых светлых героинь средневековой русской литературы — мудрая и праведная крестьянская дева Феврония, ставшая княгиней в Муроме ("Повесть о Петре и Февронии" Ермолая-Еразма, середина XVI в.). Памятливый читатель увидит внутренним взором целую галерею живых образов той же

социальной природы: Анастасия Марковна — жена и соратник Аввакума, фонвизинские Шумилов, Ванька, Петрушка, Еремеевна, Цифиркин, Кутейкин, карамзинская Лиза, радищевская Анюта, грибоедовская Лиза...

Но это лишь предвестие того, что произойдет, когда на страницы книг хлынут необозримой толпой, но с неповторимыми лицами и судьбами мужики, бабы, солдаты, казаки, дьячки, купцы, приказчики, ямщики, дворники, лакеи, мастеровые (всех не перечтешь!), нарисованные И. С. Тургеневым, И. А. Гончаровым, Н. А. Некрасовым, А. Н. Островским, Л. Н. Толстым, Н. С. Лесковым, Ф. М. Достоевским, А. П. Чеховым, В. Г. Короленко... Миропонимание этого необозримого людского моря сложно, многосоставно, столь же консервативно, как и подвижно, не поддается точным и окончательным определениям. Но несомненно, что желая хоть что-то понять в той картине народного бытия, что создана русской классикой второй половины XIX в., надо постоянно помнить о Книге книг. Сокровенные глубины русского народного характера открывает читателю и зрителю драматургия А. Н. Островского. И особенно поучительна в этом отношении долгая история критических и театральных трактовок "Грозы"* (1859). Некоторые из этих трактовок стали событиями в жизни не только литературы и театра, но в движении общественной мысли, в развитии русской культуры. Размышления и споры сосредоточивались преимущественно вокруг образа Катерины Кабановой, и в центре их неизменно был вопрос об отношении этого поразительно живого, целостного, неисчерпаемого образа к внешним обстоятельствам, к "жестоким нравам" Калинова, к семье, куда отдали юную героиню, к "темному царству" вообще. Такая точка зрения, разумеется, неизбежна и необходима. Но она может породить прямо противоположные сужде-

ния, как это и произошло в самых знаменитых статьях о "Грозе": "Луч света в темном царстве" Н. А. Добролюбова (1860) и "Мотивы русской драмы" Д. Н. Писарева (1864). Добролюбов увидел в Катерине "протест против кабановских понятий о нравственности, протест, доведенный до конца, провозглашенный и под домашней пыткой, и над бездной, в которую бросилась бедная женщина". Писарев категорически не согласился с Добролюбовым: он увидел "русскую Офелию", которая "на каждом шагу путает и свою собственную жизнь, и жизнь других людей", которая, "совершив множество глупостей, бросается в воду и делает, таким образом, последнюю и капитальную глупость". Но сама эта полярность в позициях двух талантливых критиков, истинных "властителей умов" современной им молодежи, явилась, думается, результатом недостаточного внимания к тому, как относится Катерина к самой себе, как изобразил драматург ее внутренний мир, ее духовную эволюцию. Эта односторонность, продиктованная господствовавшим долгие годы обыкновением рассматривать художественные произведения прежде всего как выступления в общественной борьбе, вызвала и снижение интереса школьников к гениальной пьесе. Юные читатели втягивались в спор о том, нужны ли Катерины освободительному движению, ("луч" — не "луч", сильный характер — слабый, незрелый, путанный характер). И, вряд ли осознавая это, превращали живой, объемный, динамичный образ в плоский тезис. Между тем, Островский с отцовской любовью рисует становление своей героини — становление, завершившееся, к его великому горю, смертью, но смертью, возвышающей человека. Для автора громадное значение имеет естественная приобщенность Катерины к христианскому мировосприятию, к светлomu единению веры, добра, чистоты, чуда, сказки. Эту особенность образа героини критики, конечно, замечали; тончай-

ший анализ детских впечатлений и мечтаний Катерины можно найти в статье Добролюбова, которую в школе обычно сводят к мысли, вынесенной в заголовок. Но и Добролюбов относит впечатления героини, полученные в материнском доме, к явлениям "темного царства". "Всмотритесь хорошенько: вы видите, что Катерина воспитана в понятиях, одинаковых с понятиями среды, в которой живет, и не может от них отрешиться, не имея никакого теоретического образования. Рассказы странниц и внушения домашних хоть и перерабатывались ею по-своему, но не могли не оставить безобразного следа в ее душе: и действительно, мы видим в пьесе, что Катерина, потеряв свои радужные мечты и идеальные, выпренные стремления, сохранила от своего воспитания одно сильное чувство — страх каких-то темных сил, чего-то неведомого, чего она не могла ни объяснить себе хорошенько, ни отвергнуть." Справедливо. И несправедливо, потому что эти же самые понятия воспитали и ее бесстрашие, прямоту, непримиримость к насилию и лжи. И если верно, что пьеса — луч света, то сам этот образ появляется в воспоминаниях Катерины о ее детстве: "А знаешь, — рассказывает она Варваре о церкви, куда "до смерти любила ходить", — в солнечный день из купола такой светлый столб идет; и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют." И боится она в конечном счете только своей совести: "Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми." Если бы не было у Катерины веры в святость библейских заповедей, не было бы и ее трепетного и несгибаемого характера: была бы еще одна тайно своей Варвара, которая греха не боится — лишь бы все оставалось шито-крыто. Знаменательна вот такая деталь: Варвара, слушая рассказы Катерины о жизни

в материнском доме, о цветах, молитвах, страничках-богомолках, замечает: "Да ведь и у нас то же самое". Такую же, по сути, мысль высказывает и Добролюбов, говоря о понятиях Катерины, общих с понятиями среды. Катерина отвечает Варваре со своей интуитивной пронизательностью: "Да здесь все как будто из-под неволи." Но меняется ли смысл заповедей от того, как они принимаются — свободно или подневольно? Не все ли равно, скажем, как блюсти нравственную чистоту — добровольно или под страхом наказания? И разве не одинаково смотрят на грех прелюбодеяния Марфа Игнатьевна и Катерина? Тут есть над чем подумать.

В "Грозе" не один, а два сильных женских характера. Марфа Игнатьевна — образ не менее живой, чем Катерина. Рисуя его, Островский противоречиво и естественно смешал хвастливую добродетель и верность нравственным традициям, безудержное властолюбие и неотступную тревогу, бессердечность и страдание. "Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем," — говорит Кулигин Борису Григорьевичу о Марфе Игнатьевне и вроде бы тем исчерпывает ее человеческую суть. В таком духе понимает Кабанову и Добролюбов. Но пьеса не позволяет на этом остановиться. Марфа Игнатьевна, конечно, собственными руками губит свое семейство: несомненна ее причастность к пьянству Тихона, озорству Варвары, самоубийству Катерины. Но действует она вполне убежденно, и сердце ее материнское впрямь болит. Только властвует этим сердцем не любовь, а злоба, не сострадание, а ненависть. С первого своего появления на сцене Марфа Игнатьевна настойчиво подталкивает Катерину к ссоре, переиначивает в духе вражды каждое ее слово, каждый жест. Понятно: редкая свекровь не ревнует невестку к сыну. Но вряд ли дело только в этом. Катерина, которой так хочется всех любить, которая готова — не из угодливости, а от щедрости сердца —

назвать матерью жестокосердную свекровь, для Марфы Игнатьевны непримиримо чужая. Да и ее любовь к Тихону переполнена презрением. Еще одна великолепная деталь: мать учит сына правилам семейной жизни прямо на бульваре, в присутствии его жены и сестры, на виду у гуляющих калиновцев, намеренно унижая его и все больше распаляясь. Тихон смущенно оправдывается. "К а б а н о в а (*совершенно хладнокровно*). Дурак! (*Вдыхает*). Что с дураком и говорить! только грех один!"

Нет, вера у свекрови и невестки одна "по букве", но различна по духу. У них, если применить евангельский образ, *разные сокровища*. Буквоеды-фарисеи как-то укоряли Иисуса за то, что он исцеляет людей в субботу, когда всякий труд запрещен. А он отвечал им, что добро можно делать и в субботу, и указал настоящую причину их упреков:

"Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста.

Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе; а злой человек из злого сокровища выносит злое."

Сегодня не так-то легко понять, каким взрывом явилось появление "Грозы" в печати и на сцене. Ведь истинная праведница здесь одна — грешница, повинная в прелюбодеянии и самоубийстве. Оправдать ее вроде бы и нетрудно: ведь ее оттолкнул и оскорбил муж, не ведавший, что творит, ее дом превратили в тюрьму, ее хлеб отравили попреками, и даже любимый на прощанье говорил с нею, пугливо оглядываясь, а расставшись, пожелал ей от души скорой смерти. Но она не нуждается в оправданиях, потому что строже всех судит себя сама. И образ ее остается светоносным: это Добролюбов понял и показал великолепно, а Писарев не мог понять уже потому, что сопоставлял этот образ с заранее выструганной колодкой "развитой лич-

ности" и, обнаруживая полнейшее их несовпадение, изложил историю Катерины с иронией почти издевательской: "Грянул гром — Катерина потеряла последний остаток своего ума..."

Между тем идея праведной жизни и праведного человека, за которым пойдут люди, так мучившая Гоголя, во второй половине XIX в. стала еще более притягательной и жгучей. Это и вообще исконная и заветная идея русского фольклора и русской словесности, проявлявшаяся еще в былинах и сказках, в житиях святых и повествованиях об отцах церкви. Но в пору, когда Россия еще не знала, что будет с обретенной свободой и куда повернет исторический путь, среди вопросов, всегда занимавших русскую литературу, на одно из первых мест выдвинулся вопрос не экономический и не политический, а нравственный — как средство решения всех трудных вопросов, стоявших перед страной. Достаточно припомнить те произведения, которые более всего волновали сначала российскую, а затем и европейскую, мировую читательскую публику 50 — 90-х гг., — хотя бы только романы Тургенева, Толстого, Гончарова, Достоевского, Лескова — и станет ясно, что в центре их неизменно вопрос о достоинстве личности и о ее роли в народной жизни.

Образы благородных мечтателей и самоотверженных деятелей, героев "положительно прекрасных" или мечтающих "быть вполне хорошими", праведников или желающих жить "по-божьи" из этих книг вошли в духовный мир России. Заметим, что и роман Чернышевского "Что делать?", вопреки жестко навязанным трактовкам, вовсе не пособие по подготовке революции, а попытка нарисовать "новых людей" и "особенного человека" — тех, кто, по убеждению автора, представляет собою "соль соли земли", кто способен собственным нравственным примером оздоровить общество. И если писатели изображали пошлость, тщес-

лавие, бесовщину, то не могли обойтись без высоких нравственных ориентиров.

Писатели второй половины XIX века не склонны идеализировать ни своих любимых героев, ни возможности их воздействия на жизнь. Отправляя мужиков-правдоискателей в странствия по Руси, Н. А. Некрасов — автор поэмы "Кому на Руси жить хорошо"* (1863 — 1877) — на первом же этапе дороги изобразит достоверную и символическую картину:

По всей по той дороженьке
И по окольным тропочкам,
Докуда глаз хватал,
Ползли, лежали, ехали,
Барахтались пьяные
И стоном стон стоял!

Но если брезжит в этой эпопее, куда Некрасов, по его собственному признанию, вложил все свои наблюдения, все раздумья о народе, какой-то свет надежды, то он исходит от людей, способных жить по правде и по совести, по моральным заповедям Христа. Оттого-то поэт с такой художнической обстоятельностью, с такой любовью и надеждой рисует обыденную сцену: крестьянская семья слушает странника-богомольца, каких много было на Руси; они-то и несли в народные низы библейские истины, подчас их причудливо смешивая со всякими легендами и сказками, но не теряя их сердечного смысла. Некрасов неторопливо, тщательно рисует и самого странничка, и каждого члена семьи, и даже кота Ваську, играющего веретеном, которое хозяйка, заслушавшись, уронила с колен. И заключает описание так:

Кто видывал, как слушает
Своих захожих странников
Крестьянская семья,
Поймет, что ни работою,

Ни вечною заботою,
Ни игом рабства долгого,
Ни кабаком самим
Еще народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь!

Однако "смиранный богомол" Иона Ляпушкин, о котором идет речь в этой сцене, не выглядит у Некрасова благостной фигурой: ведь это он рассказывает легенду "О двух великих грешниках", где убийство бесчеловечного тирана выступает как праведное дело, снявшее "бремя грехов" с разбойника Кудеяра. Поэт не изображает расправу с насильниками как путь к народному счастью: праведники его поэмы — Ермил Гирип, братья Гриша и Савва Добросклоновы — идут путями просвещения, подвижничества, милосердия. Но столько зла накопилось в мире, что каждый из писателей-мыслителей останавливался в тяжком раздумье перед вопросом: как быть с озверевшими, осатаневшими злодеями? Как избыть бесконечную покорность униженных и оскорбленных? Молодой Пушкин к теме евангельского Сеятеля обращался в нескольких стихотворениях. В одном из них — "В. Л. Давыдову" (1821) — он говорит, имея в виду неудачу итальянских борцов за освобождение страны от австрийского ига:

Но *те* в Неаполе шалят,
А *та* едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.
Ужель надежды луч исчез?
Но нет! — мы счастьем насладимся,
Кровавой чаши причастимся —
И я скажу: Христос воскрес!

Игра значениями слова "чаша" (обряд евхаристии и восстание) здесь вполне прозрачна. Во второй половине века, пережив неудачу декабристов, разгром петрашев-

цев, героину и горечь Крымской войны, радость и разочарование крестьянской реформы, Россия с еще большей тревогой возвращается к тем же вопросам. В большинстве произведений русской классики этого времени можно заметить прямое или косвенное обращение к Евангелию от Матфея, где звучит заповедь Христа: "...любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас" (V, 44). Но там же приводятся и другие Его слова:

"Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир Я пришел принести, но меч;

Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее" (X, 34 — 35).

Мудрая и мучительная диалектика миролюбия и непримиримости отразилась в самых впечатляющих литературных образах; поистине символической стала сцена из романа Достоевского "Братья Карамазовы", когда Алеша — праведная душа — на вопрос брата Ивана, что делать с помещиком, затравившим псами ребенка, отвечает: "Расстрелять!"

Достоевский взял на себя задачу невообразимой трудности: исследовать развитие самых трагических противостояний добра и зла в человеческом мире, когда расстояние от благодеяния до злодеяния может показаться несуществующим или несущественным. В поставленных им художественных экспериментах Евангелие присутствует не только как средоточие нравственных представлений и норм, как источник идей и образов: несомненно его воздействие на самый процесс творчества, на художественную структуру, стиль произведений.

Откроем роман "Преступление и наказание" (1865 — 1867). Раскольников готовится к осуществлению своего фантастического замысла и не верит, что

когда-нибудь решится осуществить его. Побывав у процентщицы Алены Ивановны, герой испытывает такое отвращение к тому, что собирается сделать, такую тоску, что идет по тротуару, "как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними..." Так он оказывается в трактире, где знакомится с Мармеладовым. И в покаянно-оправдательной речи нового знакомого сначала тенью, а потом все отчетливее проступает воспоминание о Новом Завете. "...и все тайное становится явным", — произносит Мармеладов общеупотребимое "крылатое слово" из Евангелия от Матфея (X, 26).

Сам говорящий не придает этим словам никакого особого значения: ему свойственна витиеватая речь — "вследствие привычки к частым кабачным разговорам", — замечает повествователь. Но эта речь чем далее, тем более указывает на Библию как источник самого слога: "Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу. Не веселья, а единой скорби ищу... Пью, ибо сугубо страдать хочу!" И "крылатые слова", употребляемые Мармеладовым, начинают казаться не случайными. Мысль о тайном и явном не только предрекает неизбежный ход событий (преступление будет раскрыто), но обращает внимание читателя к тексту, из которого "излетела": автор осознанно или интуитивно напомнил о поучении, которое произносит Иисус Своим двенадцати апостолам. И в этом поучении все связано незримиыми нитями с дальнейшим ходом романа. Спаситель предупреждает учеников Своих, что мучителен будет их путь, что испытают они непонимание и ненависть даже близких им людей, но самой тяжелой ошибкой было бы сомнение в Учителе: "А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от него и Я перед Отцом Моим Небесным..." (X, 33).

И следующее евангельское выражение, которое произносит Мармеладов — "Се Человек!" — нечто иное,

чем просто украшение речи. Это слова Пилата по Евангелию от Иоанна (XIX, 5). Прокуратор, по чьему распоряжению римские воины били Иисуса, издеваясь над Ним, не нашел в Его поступках ничего преступного, никакой вины. Мармеладов то ли хочет оправдать смеющихся над ним трактирных служителей, то ли себя самого, но читатель начинает видеть события романа в каком-то новом измерении.

Далее в исповеди Мармеладова все чаще встречаются слова-сигналы, побуждающие читателя вспоминать Книгу книг, думать о внутренних связях повествования. Очевидно, что фамилия портного, у которого снимает комнату Соня — Капернаумов, имеет свой смысл: Капернаум (село Наума в исконном значении, а имя Наум означает "утешение", как говорится в Библейской энциклопедии) — "главное и любимое местопребывание Господа Иисуса во время Его земной жизни". Здесь жили его апостолы Симон (Петр) и Андрей, здесь призвал он к апостольскому служению Матфея, здесь сотворил много чудес. Но этому городу, многие жители которого остались чужды Его учению, погрязли в грехах, Иисус предсказал горькую судьбу: "И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься" (Евангелие от Матфея, XI, 23). Автор романа знал, несомненно, что город был стерт временем с лица земли, что от него остались одни развалины...

Глубоко знаменателен и финал мармеладовской исповеди, где речь идет о грядущем Страшном Суде, когда "Тот, кто всех пожалел", простит и Соню, и ее грешного отца, "и добрых и злых, и премудрых и смиренных". Здесь, как и во всем тексте романа, бесплодны однозначные истолкования. В образе Мармеладова неразделимо соединились мерзость и страдание, раскаяние и подлость, самоосуждение и самооправдание. Но главное уже сделано: за событиями романа читатель увидел иные события, рамки повествования беспре-

дельно расширились, художественное время обрело необозримую протяженность... И тут происходит еще одно событие, поворотное значение которого ощутимо, но смысл глубоко уходит в подтекст и раскрывается далеко не сразу (видимо, потому он не прояснен и многочисленными истолкованиями романа).

Поставим перед собою вопрос, подсказанный самим ходом повествования: когда Раскольников окончательно решается на убийство? Когда он решительно преодолевает отвращение, тошноту, тоску, охватывающие его при одной мысли о задуманном эксперименте? Внимательный читатель помнит: отведя Мармеладова домой, увидев и Катерину Ивановну, и детей, Раскольников неприметно оставляет на окне последние свои копейки. Но на лестнице укоряет себя, с неприязнью думает о Мармеладовых: "Ай да Соня! Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали и привыкли. Ко всему подлец-человек привыкает!"

Он задумался.

— Ну а коли я соврал, — воскликнул он вдруг невольно, — коли действительно не подлец человек, весь вообще, весь род то есть человеческий, то значит, что остальное все — предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!.." Что же такое произошло? Попытаемся представить себе работу ума, наделенного блестящей логикой и уязвленного неотступной мыслью о возможности спасти не столько себя, сколько страдающее человечество, спасти ценою одной только жизни, причем уже догорающей, отягощенной злобой и стяжательством...

Вот перед Раскольниковым пьяница-чиновник, губитель собственной семьи, который заслуживает сочувствия, однако, не снисхождения. Его несчастная жена вызывает у Раскольникова жгучее сострадание, но и

она повинна в том, что хоть и "в болезни и при плаче детей не евших", а послала падчерицу на панель... Да и вся-то семья живет ее позором, ее страданием. Вывод Раскольникова о подлости как общем свойстве людей выглядит неотвратимым. Он подкреплён и общеизвестным библейским представлением о греховности всего человеческого рода: первыми согрешили Адам и Ева, нарушив Господнюю заповедь; их потомки, поколение за поколением все более погрязали в грехах, несмотря на грозные предупреждения: всемирный потоп, гибель Содома и Гоморры...

Одно только застряло занозой: а в чем виновата Соня, отдавшая себя в жертву ради спасения сестер и брата? В чем виноваты они сами — вот этот мальчик и две девочки? За какие грехи они наказаны такой страшной судьбой? Да и вообще *все дети* с их очевидной каждому, изначальной чистотой и наивностью: безумно и подло их считать подлецами, на них возлагать ответственность за непослушание прародителей, за насилие и разврат, царящие в мире. А человечество ведь и складывается из вырастающих детей... Именно тут мысль Раскольникова круто поворачивается.

Нет, бедствия человечества порождены не извечной подлостью людской, а чем-то иным, скорее всего извечной покорностью огромного большинства насилию немногих. И если так, то спасти человечество способен разве что властитель, который желает добра людям и поведет их к счастью, не останавливаясь перед нарушением — ради общего блага — библейских заповедей. Все равно эти заповеди — "Не убивай", "Не кради", "Не прелюбодействуй" и т.д. — на каждом шагу безнаказанно нарушаются, это просто-напросто предрассудки, и загробное возмездие — не более, чем "страхи напущенные"...

Примерно так движется мысль Раскольникова, зреет его бунт, его сомнение в Божеской справедливости.

вости. Далее его решимость подкрепляется и письмом матери, свидетельствующим все о том же: бесполезно верить, что "блаженны кроткие", что они "наследуют землю", что "плачущие утешатся" (Евангелие от Матфея, V, 3 — 8). Защитить их от насилия можно только насилием, но с благой целью: обрести власть, чтобы мощной рукой направить человечество к благоденствию — вот как можно представить себе логику размышлений героя.

Этот бунт, подобный бунту библейского Иова, становится истоком всех последующих событий в романе. Читателю очень важно видеть организующий все повествование конфликт между заветами Библии и теорией вечного разделения человечества на "право имеющих" и "тварь дрожащую". Дело в том, что теория, которую Раскольников в своих размышлениях отточил, как бритву, логически неопровержима. Она и в романе остается до самого конца непоколебленной, да и за пределами его — в критических и читательских мнениях — вплоть до сегодняшнего дня против нее не выдвинуто сколько-нибудь убедительных аргументов. Мало того: не только в прошлом, но и сегодня буквально каждый час приносит все новые факты, подтверждающие, что множество людей покоряется не просто законной власти, но тиранству, со страстью занимается взаимоистреблением и не перестает обожествлять своих безумных и бессердечных властителей.

Не силою доказательств, не историческими, политическими и юридическими выкладками расшатывается убеждение Раскольникова в достоверности его теории, но прежде всего чувством — чувством разрыва связей несчастного убийцы с матерью, сестрой, другом, со всем человеческим миром и медленно воскресающей верой в божественность человеческой души, в святость жизни, несмотря на всю житейскую мерзость и подлость. Потому-то поворотным событием в духовном

очищении Раскольникова становится рассказ о воскрешении Лазаря из Евангелия от Иоанна (XI, 1 — 44), который читает ему Соня. В этом рассказе нет и не может быть обыденной логики, как и в Библии вообще, как и в самой сцене романа. Странно сошлись убийца и блудница за чтением Вечной книги; странно, что книгу Соня получила от Лизаветы, убитой Раскольниковым. Странно и то, что Раскольников попросил прочесть ему о Лазаре, словно по какому-то наитию, и Соне мучительно хотелось прочесть именно ему эту историю "о величайшем и неслыханном чуде".

Но чудо открывается лишь тому, кто способен в него уверовать. Оно по сути своей не подвластно аналитической логике, хотя не отменяет и не унижает логики. Это две постоянно взаимодействующие стихии духовной деятельности человека: строгость исследования, точность фактов столь же драгоценны, как пророческая интуиция и фантазия, преобразующая мир.

Чтение Евангелия не колеблет тех убеждений Раскольникова, которые побудили его решиться на преступление. Он вспоминает детей Мармеладовых, говорит и о других детях, живущих в таких условиях, что им "нельзя оставаться детьми"; он втолковывает испуганной Соне: "Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя! Что? Не понимаешь? После поймешь... Свободу и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.." Но брешь в броне его страстной и страшной логики уже пробита, уже брезжит свет того времени, когда он вновь возьмет в руки то же самое Евангелие и ощутит возможность "воскресения в новую жизнь".

Линия соотнесенности Священного Писания и романного повествования идет до последней страницы "Преступления и наказания" (здесь мы не будем ее детально проследживать). А от нее идет множество

связующих нитей к творчеству Достоевского, к предшествующей, современной ему и последующей литературе.

Русская литература вообще поражает богатством и постоянством внутренних переключек, отголосков, перепевов и переосмыслений. Может быть потому, что история самой литературы так трагична, писатели, создавшие русскую художественную классику, так остро ощущали необходимость памяти и преемственности, так ценили традицию, служившую прочнейшей основой постоянного обновления.

В творчестве Достоевского читатели и исследователи заметили множество явных или подразумеваемых напоминаний о Пушкине, цитат или ссылок на его произведения. Что значит для него, для литературы, для России Пушкин, Достоевский сказал в своей знаменитой речи 1880 г.: "Мы поняли в нем, что русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность". "Пушкинское" в Достоевском никогда не удастся прочитать до конца. Но взгляд "от Библии" открывает все новые и новые линии связей и взаимодействий.

Одна из них идет через "теорию Раскольникова", которая в художественном мышлении Достоевского выражала самое трагическое противоречие не только России, но человечества. Воссоздавая и исследуя эту теорию, в которой соединились абстрагирующая мысль и терзания живой человеческой души, Достоевский, можно полагать, вспоминал и "Подражание Корану" (стихи о "дрожащей твари"), и "Евгения Онегина" ("Мы все глядим в Наполеоны...") и героя "Пиковой дамы" с его профилем Наполеона и душою Мефистофеля, и Петербург "Медного всадника", и многое другое из Пушкина. Но, может быть, прежде всего стихотворение "Свободы сеятель пустынный...", хоть на это и нет прямых указаний в романе Достоевского. Самая суть теории, ее решающий аргумент явно восходит к

пушкинскому стихотворению, написанному в ноябре 1823 г.

Вчитываясь в знаменитую главу "Братьев Карамазовых", породившую целую библиотеку истолкований и критики, — "Великий инквизитор"*, мы обнаруживаем в речах девяностолетнего кардинала — главы инквизиции, обращенных к его пленнику — Христу, сложную систему искуснейших аргументов для доказательства одной мысли: "...нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать скорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается". Старец не скрывает, что он приверженец не Бога, но дьявола, который искушал Христа в пустыне властью над всеми царствами земными: "Мы давно уже не с Тобой, а с ним, уже восемь веков." Великий инквизитор с блистательной логикой, отточенной еще тоньше, чем у Раскольникова, и со страстью, поразительной для преклонных лет, доказывает, что его собственные усилия, как и армии его сторонников и служителей, направлены к одному: дать счастье лю-дям — счастье покорного стада, "тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы".

Но глава, как и весь роман, не дает ни малейшей возможности успокоится на этой самой чудовищной и самой соблазнительной из всех человеческих идей. Недаром и Алеша, выслушав фантастическую "поэму", рассказанную ему Иваном, восклицает в величайшем волнении: "Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула... как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать!" А как? Вот этого он не знает, как не знает, кажется, никто.

Можно сказать, что вся литература этого, да и более позднего времени ходит вокруг все того же неотступного вопроса, порождающего неисчислимое количество других. Раздумья над ними неизбежно возвращают к

Библии, где они поставлены впервые и навсегда. И снова, снова возникают в книгах русских писателей образы странников, искателей, праведников, ибо если человек — не подъяремная скотина, то что-то разглядеть в его судьбе можно только при свете его души.

Целую галерею живых, неожиданных, притягательных праведников и правдоискателей нарисовал Н. С. Лесков в произведениях 70 — 80 гг.: "Очарованный странник", "На краю света", "Несмертельный Голован", "Однодум"*, "Человек на часах", "Фигура" и других. Это люди из разных слоев народа — солдат, мещанин, монах, почтальон, военный инженер, офицер-воспитатель, укротитель коней, проводник в тундре, по-разному идет у них жизнь. Но есть нечто общее и главное у всех.

Пожалуй, ярче всего это главное проступает в образе язычника-зырянина (ныне этот народ называют коми), который верит, что его бережет богиня Дзол-Дзаягачи, "дарующая детей и пекущаяся, будто бы, о счастии и здоровье тех, кто у нее вымолены". Старый архиепископ, герой и рассказчик повести "На краю света", в молодости был епископом отдаленной сибирской епархии и ревностно занимался миссионерской деятельностью среди северных народов. Он-то и повествует о своих странствованиях по снежной пустыне вместе с проводником — зырянином. Сначала этот дикий показался миссионеру, вынужденному спастись от пурги и холода в снежной яме вместе с проводником, каким-то тупым, смрадным животным. Потом, когда зырянин внезапно стал на лыжи и куда-то убежал, епископ увидел в нем труса и предателя, бросившего его умирать. Но вслед за отчаянием пришло прозрение: оказалось, что проводник, рискуя собственной жизнью, бросился спасти своего спутника от неизбежной голодной смерти.

И молодой епископ вдруг понял, что этот язычник

"от Царства Небесного недалеко ходит" (выражение из Евангелия от Марка, XII, 34): не зная апостольских заветов, он действовал в полном согласии с ними, не веруя в Христа, он шел Ему навстречу и был вразумлен "каким-то дивным светом свыше". И сам рассказчик словно бы вразумлен этим светом: под сполохами Северного сияния он смотрит на спящего от изнеможения проводника и видит его прекрасным, очарованным богатырем. Проповеднику христианства впервые открывается великая истина: Христос придет в это чистое сердце, когда настанет этому время. Безумно и преступно насаждать веру, как и счастье, насилием над чьей бы то ни было душой. "Нет больше смятения в сердце моем, — говорит себе молодой епископ, — верю, что Ты открыл ему Себя, сколько ему надо, и он знает Тебя, как и всё Тебя знает..."

Среди праведников Лескова есть почтовый гонец Рыжов (рассказ "Однодум"), который всегда носит с собою Библию в серой холщовой суме. Но и он, и другие его герои, чудачки, бессребренники, рыцари совести и милосердия, носят эту Книгу в сердце, даже если никогда не упоминают о ней или вовсе ее не знают.

У Л. Н. Толстого есть циклы повестей, рассказов и сказок, где евангельские истины выявляются в толще повседневной, стремительно текущей обыденности: "Упустишь огонь — не потушишь" (1885), "Девчонки умнее стариков" (1885), "Много ли человеку земли надо" (1885), "Работник Емельян и пустой барабан" (1886), "Смерть Ивана Ильича" (1884 — 1886), "Крейцера соната" (1887 — 1889), "Хозяин и работник" (1894 — 1895), "Отец Сергей" (1891 — 1898) и другие. Иногда автор соответствующие тексты Писания выносит в начало произведения. Очевидно идейное и сюжетообразующее значение Евангелия в романе "Воскресение" (1899): все, что происходит с Нехлюдовым и с Катюшей Масловой, соотнесено с евангельскими заве-

тами, и эволюция героев представляет собою преобразование в свете этих заветов, что предсказано названием романа.

Перебирая в своей памяти все, что читателю знакомо из написанного Толстым, можно убедиться, что взгляд на жизнь сквозь призму Евангелия никогда его не покидает и более всего сказывается в динамике повествования: в движении событий, в судьбах героев.

Это особенно отчетливо проступает на переломных этапах исторических и жизненных путей. Вот, например, одна из финальных сцен романа "Война и мир" (1863 — 1869). Пьер Безухов вернулся из поездки в Петербург, где встречался с новым другом своим, князем Федором. О содержании их бесед читатель догадывается по немногословным, горячим высказываниям Пьера в разговорах с Николаем Ростовым, Василием Денисовым. "Все видят, что дела идут так скверно, что это нельзя так оставить, и что обязанность всех честных людей противодействовать по мере сил". Понятно, что это — отправной момент той системы идей и настроений, которая была свойственна будущим декабристам — участникам несостоявшейся, однако не бесплодной попытки переустроить Россию на началах человеколюбия, гражданственности и свободы, "общего блага и общей безопасности", как говорит Пьер. Его не понимают ни Ростов, ни Денисов — по разным причинам, но равно отвергая идею тайного общества. Пьер пытается объяснить, что тайна не скрывает какого-то зла и враждебности: "...это союз добродетели, это любовь, взаимная помощь; это то, что на кресте проповедовал Христос..."

Дело тут не в упоминании имени Спасителя: последние слова Пьера, как вспышка огня, освещают весь его путь, изобилующий ошибками и все-таки пронизанный таким наивным и мудрым стремлением "быть вполне хорошим". Это сказано по-детски. Но таков он

с самого начала, с момента его появления на вечере, устроенном фрейлиной Анной Павловной Шерер. Она почему-то опасно поглядывает на неловкого, пылкого молодого человека и пытается избавить своих гостей от его пылкой, ребячливой искренности. Естественность, непосредственность — прекрасные дары детства — всегда были спасительными качествами Пьера, а для Толстого служили высшими критериями человеческого поведения. Недаром речи Пьера о единении честных людей вполне понимает Наташа, сохранившая и в материнской зрелости, столь изменившей ее облик, черты детства: "...ей казалось, что все это было чрезвычайно просто и что она все это давно знала (ей казалось это потому, что она знала все то, из чего это выходило — всю душу Пьера); но она радовалась, глядя на его оживленную, восторженную фигуру." И еще более восторженно смотрел на Пьера Николенька Болконский. "Всякое слово Пьера жгло его сердце", — пишет Толстой.

7. "Светильник светил, и тропа расширялась."

На рубеже XIX — XX веков русская литература полна тревожными предчувствиями и предсказаниями. Настроения этого времени, окрашенные мотивами Апокалипсиса и связанные с реальными событиями, передает поэма А. А. Блока "Возмездие" (1910 — 1921):

Двадцатый век... еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
Пожары дымные заката
(Пророчества о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой
Ужасный призрак в вышине,

Безжалостный конец Мессины
(Стихийных сил не превозмочь),
И неустанный рев машины,
Кующий гибель день и ночь,
Сознание страшное обмана
Всех прежних малых дум и вер,
И первый взлет аэроплана
В пустыню неизвестных сфер...
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...

В эту эпоху обращение литературы к Библии почти всегда выражает идею связи времен, преемственности культур. Такая устремленность выглядит подготовкой духовной обороны против грозящих разрывов и провалов в человеческой памяти, против опасности одичания — среди достижений цивилизации, успехов науки и техники... С наибольшей ясностью труд человеческой души, постигающей и поддерживающей "связь времен", воссоздан в чеховском рассказе "Студент"* (1894), который был отмечен критикой как этапный в творчестве писателя и еще при его жизни появился в переводах на европейские языки. Здесь на четырех страницах рисуется переворот не только в мимолетных настроениях студента Ивана Великопольского, но в его мировосприятии. Он возвращается с охоты весной, в один из предпасхальных дней: "...пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство, гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше."

В течение нескольких минут, пока он греется у костра и рассказывает старухе Василисе и ее дочери Лукерье историю последней ночи Иисуса перед арестом, судом и распятием, историю Петра, который без памяти любил Иисуса и трижды отрекся от Него в ту же ночь, студент переживает словно бы внутреннее обновление. Что этому причиной? Его ли рассказ, который произвел на женщин сильнейшее впечатление? Или сами по себе события жизни Христа, о которых поведали людям Его апостолы? Или молодость студента-рассказчика, которая, как говорится, взяла свое и внушила ему ожидание неизбежного счастья? Одного ответа быть не может, как и всегда, если перед читателем произведение высокого искусства. Сам Иван Великопольский чувствует, что радость "вдруг заволновалась в его душе" потому, что прошлое живо. "Прошрое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой." Никуда не ушли те впечатления, что омрачали так недавно его сознание. Но, может быть, главное в том, что он сам сомкнул эту цепь, своими руками соединил ее звенья и, не осознавая впервые выполненную им миссию "связного" между прошлым и настоящим, чувствует себя причастным к великому делу и думает, "что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле..."

К той же теме духовной преемственности шли своими путями многие писатели рубежного времени. Д. С. Мережковский создает монументальную трилогию "Христос и Антихрист" ("Смерть богов. Юлиан Отступник", 1896; "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи",

1901; "Антихрист. Петр и Алексей", 1905). В трилогии разворачивается многовековая история взаимодействия языческих и христианской культур, бесчисленных попыток соединить их в некой неведомой гармонии. Писатель вдумывается в противоречия Олимпа и Голгофы, с неизменной бережностью относясь к духовным ценностям античности и христианства. Эти ценности в его трилогии не противопоставляются: им противостоит кровавый сумрак инквизиции, ханжество властолюбивых пастырей, мракобесие невежественной и легковерной толпы, торопливое реформаторство самонадеянных властителей.

В последней части трилогии чувство потрясения оставляют сцены праздника Венеры в только что устроенном Летнем саду невиской столицы. Пышный, громкий, пьяный праздник, нарисованный необычайно живо, поражает неорганичностью, надуманностью. Натужное, насаждаемое палкой "европейское" поведение празднующих смешно и страшно. Оскорбляемой выглядит и статуя античной Венеры, которой под строгим взглядом Петра и под страхом плетей поклоняются пьяные гости, и икона, которую демонстрирует царь приближенным, чтобы разоблачить обманную механику, создававшую впечатление плачущего лика Богородицы. Но когда Петр руководил установкой статуи, "человеческое лицо его оставалось благородным рядом с божеским: человек был достоин богини". И древняя икона от кощунства не утратила святости и величия: "Лик темный, почти черный; только большие, скорбные, будто немного припухшие от слез глаза, смотрели как живые."

По-своему сплетает М. А. Волошин мотивы разных человеческих культур. В его Венке сонетов "*Corona astralis*" ("Звездная корона", 1909) возникает образ летящих в звездной пыли вселенных — "От Альфы Пса до Веги и от Беты Медведицы до трепетных Плеяд";

текст насыщен именами — сигналами античности: упоминаются Икар и Персефона, Лета и Орковы ключи, Троя и боги Олимпа... Вообще стихи эти о тех и для тех,

Кто видит сны и помнит имена,
Кто слышит трав прерывистые речи,
Кому ясны идущих дней предтечи,
Кому поет влюбленная волна...

И весь этот сонм живых и потухших Солнц, вихрь планет, летящих в пространствах "вечной тьмы" объединен одним образом, который лишь намечен, но мгновенно узнается благодаря словам - сигналам, напоминающим читателю о Сыне Человеческом:

Изгнанники, скитальцы и поэты,
Кто жаждал быть, но стать ничем не смог...
У птиц — гнездо, у зверя — темный лог,
А посох — нам, и нищенства заветы.

В Евангелии от Луки приведен разговор Учителя с учениками:

"Случилось, что когда они были в пути, некто сказал Ему: Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел.

Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову" (IX, 58).

Мотив горького и неотвратимого странничества пронизывает все пятнадцать сонетов "венка" и создает настроение неотвратимых потрясений:

Со всех сторон из мглы глядят на нас
Зрачки чужих, всегда враждебных глаз,
· Ни светом звезд, ни солнцем не согреты...

Когда же предчувствия и предсказания поэтов о времени "неслыханных перемен, невиданных мяте-

жей" исполнились, идея непрерывной цепи культур приобрела новое, не только реальное, но и трагическое значение: теперь каждому, кто чувствовал ответственность за Россию, за правду и красоту, приходилось сберегать эту цепь в обстановке гонений, сопоставимых с теми, что обрушились в первые века новой эры на последователей Христа.

И обращения к Библии приобрели явственный оттенок подвижничества.

Откроем последний, еще прижизненный сборник Н. С. Гумилева, но вышедший за несколько дней до того, как автор был расстрелян, — "Огненный столп" (1921). По мнению читателей и критиков это самое зрелое, самое высокое творение поэта. Многозначительно само название сборника: оно напоминало о ветхозаветной Книге Неемии, где рассказано о восстановлении разрушенного Иерусалима. Неемия, служивший при дворе персидского царя Артаксеркса (V в. до н. э.), отправился в родной край, чтобы помочь возрождению города, устройству жизни собратьев, уцелевших от египетского плена, и утвердить древние законы, которые Бог некогда передал Моисею. Вспоминая, как Господь вывел сынов Израилевых из Египта, пророк говорит: "В столпе облачном Ты вел их днем и в столпе огненном — ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им" (IX, 12). Первое стихотворение сборника называется "Память". Это память о собственном жизненном пути, который представлен здесь как смена душ в едином теле и память о Храме человеческой культуры, вечно разрушаемом и вечно возводимом человеческими усилиями:

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле.
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

В стихотворении ощутимо бореие противоположных чувств, как это было и в последние годы жизни поэта. Его поэтическая и организаторская деятельность в эти годы поражает масштабами и энергией. Он работает как переводчик и теоретик перевода в издательстве "Всемирная литература", организованном М. Горьким (переводит, между прочим, шумерскую поэму о Гильгамеше, относящуюся к концу третьего — началу второго тысячелетия до н.э.), готовит сборники "Шатер" (1921) и "Огненный столп" (1921), публикует стихи в разных изданиях, выступает с лекциями и чтением стихов, участвует в организации литературной студии "Дом искусств" и ведет в ней занятия, избирается председателем Петроградского отдела Всероссийского Союза поэтов... И все это — в условиях голодного, нищенского быта, что не мешало ему, по воспоминаниям современников, заражать всех своим энтузиазмом, никого не подавляя своим авторитетом. Но стихи, раскрывающие авторскую душу до конца, свидетельствуют о неотступной тревоге. В "Памяти" можно уловить сложную систему переключек с Апокалипсисом. Образ Нового Иерусалима — это и напоминание о подвиге Неемия-строителя и о Страшном суде, когда от лица Судии "бежало небо и земля":

"И увидел я новое небо и новую землю: ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет;

И вот я Иоанн увидел святы́й город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего."

Возведение счастливого царства поэту, вослед за Иоанном Богословом, видится в трагическом свете:

И тогда повеет ветер странный —
И прольется с неба страшный свет:
Это Млечный путь расцвел неожиданно
Садом ослепительных планет.

Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо, но все пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.

Крикну я... но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожу.
Мы меняем души, не тела.

Поэт, для которого нет ничего выше творящего слова, социальные потрясения воспринимает острее всего через язык. В сборнике "Огненный столп" помещено стихотворение "Слово"*, источник которого ясно указывает автор:

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

Могущество слова здесь противопоставлено речевому невежеству, бессилию, кощунству, которое поэт ощутил ранее многих, да еще в обстановке, когда противоречивые процессы в языке катастрофического времени многие склонны были толковать однозначно — как обновление, освобождение от классово чуждой речевой культуры, как создание нового языка.

Гумилев одним из первых заметил, как в живую речь хлынули мертвечина административной канцелярщины и примитивный жаргон голодного или нажравшегося потребителя. "Слово", разумеется, не лингвистический трактат. Это стихотворение о языке — средоточии духа, хранителе и созидателе культуры. Оно оказалось пророчеством и предупреждением:

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелие от Иоанна
Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Вообще сборник "Огненный столп" кажется наделенным каким-то пронизывающим взглядом в будущее. Здесь мысли о добром хлебе, обожаемой женщине, розовой заре и бессмертных стихах соседствуют с ощущением вечной недоступности желанного — "Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать", здесь ощущение свободы от пределов времени и пространства, полета на "заблудившемся трамвае" "Через Неву, через Нил и Сену" обрывается приземленной, жуткой конкретностью:

Вывеска... кровью налитые буквы
Гласят "Зеленная", — знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь в ящике скользком на самом дне.

Но в стихах последнего сборника нет ни жалобы, ни отчаяния, ни сомнения в избранном пути. В стихотворении "Мои читатели" слышится мотив прощания — бесстрашного и светлого, как сама поэзия:

А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокою, милую жизнь,
Всю родную, странную землю
И, представ перед ликом Бога

С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

В послереволюционные десятилетия, по мере усиления идеологического нажима и репрессивного контроля над литературой, обращение русских писателей к Библии все отчетливее приобретало характер защиты основ народной культуры и нравственности от разрушения, от насаждаемого буквально под страхом смерти поклонения "живым богам", от подмены проверенной тысячелетиями морали, общей для большей части человечества, так называемой "классовой моралью": она оправдывала любые злодеяния якобы во имя интересов пролетариата и крестьянства, превращенных правящей "номенклатурой" в совершенно бесправное быдло, в те самые стада, судьбу которых с безмерной горечью предсказал поэт-пророк: "Их должно резать или стричь".

Русские писатели, оставшиеся на родине или вынужденные покинуть ее, были едины в своем отношении к библейской традиции. Им, независимо от личного отношения к религии, было отвратительно насаждаемое свыше надругательство над верой, "разоблачение" Библии, высмеивание ее — все это кощунство, которое именovalo себя "научным атеизмом", а на самом деле оскверняло подлинную науку, которой свойственно уважение к свободе совести и, уж само собой разумеется, к величайшим сокровищам культуры. Если же кто-то из подлинно талантливых, а не из пишущих лакеев новой власти, примыкал к толпе пропагандистов "классовой морали", пусть и по убеждению, его настигал духовный крах.

Так было с В. В. Маяковским. Его молодое богоборчество сродни традиционному демонизму, это бунт в рамках библейского мира. Недаром герой "Облака в штанах" (1914 — 1915) намеренно или нечаянно, толь-

ко отнюдь не пародийно, сопоставлен с лермонтовским Демоном — "Я тоже ангел, я был им...". Еще отчетливее сопоставление героя поэмы с неназванным, но подразумеваемым Сыном Человеческим:

Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который не кричал бы:
"Распни,
распни его!"

И какими бы крикливыми ни казались в финале поэмы "карнавальные" обращения к Богу, к Петру Апостолу, какой бы жалкой не выглядела бравада — "Эй вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду!" — за всем этим ощутима необорванная связь с библейской традицией:

Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!

Боль, выразившаяся в этой мольбе, неподдельна и неотделима от другой, которая еще невыносимей:

Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!

В поэме чутко уловлены и корчи "безъязыкой улицы", и ее вопли — "Идемте жрать!", и умирание слов в каторжном "городе — лепрозории":

только два живут, жирея —
"сволочь"
и еще какое-то,
кажется — "борц".

Вообще "Облако в штанах" — поэма искренней, неутолимой и сострадающей боли, только это и позволяет герою сказать о себе, предрекая год "в терновом венке революций":

А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.

Но это выпячивание "Я", которым когда-то Лермонтов наделил своего Демона, не приемля его гордыни, в поэме Маяковского лишено оттенка сомнения или осуждения. Здесь можно видеть одно из начал того поворота на его поэтической дороге, который так стремительно произошел в послереволюционные годы. Первая же поэма — громадные по объему "150 000 000" (1919 — 1920) — соединила в себе все, что стало величайшим бедствием для страны: прославление безликости (150-миллионный Иван — сочинитель и герой поэмы), восхваление мгновенной и победоносной мировой революции, изображение "буржуазного мира" в лице Соединенных штатов Америки как заклятого врага, решительное требование — строя новое, "издинамитить старое", призыв к миллионам "безбожников, язычников и атеистов" поклоняться не Тому, который "иже еси на небесех", но "богу из мяса — богу-человеку", который "между нами"...

За все это, вколоченное в сознание миллионов, пришлось расплачиваться непомерной ценой — и миллионам, и самому поэту. Даже после его смерти непрекращаемая резолюция чудовищного тирана: "... был и остается лучшим, талантливейшим..." — легла на его поэзию чем-то вроде Каиновой печати.

В течение многих десятилетий XX в. верность исторической памяти, вере отцов, национальным, общенациональным, общечеловеческим устоям требовала от писа-

телей России мужества, подчас и жертвенности, свидетельствовала о внутренней свободе в условиях доносов и террора.

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Это писала А. А. Ахматова близкой подруге в июле 1921 г., когда оставалось несколько дней до ареста Гумилева (чего, может быть, не предполагал и он сам). Для черных предчувствий было сколько угодно оснований, но еще радовали "вишневое дыхание" леса, "глубь прозрачных июльских небес", еще верилось, что чудесное, "от века желанное", совсем близко.

Стихотворение, написанное 26 — 27 августа того же года (Гумилев был расстрелян 25 августа), передает то настроение, которое стало господствующим в огромной стране на долгие десятилетия:

Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.
За стеною слышен стук зловещий —
Что там — крысы, призрак или вор?

Человеку, сформировавшемуся в иную, пусть и не-легкую эпоху, вряд ли возможно представить себе эту неотступную пытку страхом, который казался хуже самой смерти:

Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашенный прилечь
И под крики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь.

Прижимаю к сердцу крестик гладкий:
Боже, мир душе моей верни!
Запах тленья обморочно сладкий
Веет от прохладной простыни.

Но поэт не может остаться под властью страха: тогда он перестает быть поэтом. В годы, когда ей закрывают дорогу в печать, лишая слова и хлеба, Ахматова пишет цикл "Библейских стихов" (1921— 1924)*, словно бы ограждая себя от сатанинских сил, отказываясь бояться. Она видит себя в образе Лотовой жены, которую ангел ведет из погибающего города, запретив оглядываться назад (Книга Бытия, XIX, 1 — 23), но это свыше ее сил:

На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила,

Взглянула и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.

Долгие годы Ахматовой пришлось писать без надежды на публикацию, сжигая написанное, оставляя стихи только в собственной памяти и в памяти близких друзей. Так жил десятилетия ее "Реквием" (1935 — 1940), автору не довелось увидеть поэму напечатанной на родине (первая публикация появилась в 1987 г.).

Это стало закономерностью литературного процесса в России 20 — 80 -х гг. Роман М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"* (1928 — 1940) опубликован впервые — и то с цензурными изъятиями — через четверть века после смерти автора. Книга, сразу вошедшая в число самых любимых, собравшая вокруг себя громадное общество поклонников, знатоков, ценителей, обрела громадную силу воздействия на читателей, которые осознанно или неосознанно впитывают булгаковское отношение к миру, к искусству, к человеку. И, конечно, к Библии, ибо взаимодействия с нею присутствуют не только в "библейских" сценах, так или иначе изо-

бражающих Иешуа Га-Ноцри и Понтия Пилата, но в самом замысле романа и во всем тексте.

Вспомним редактора, которому Мастер передал законченную рукопись. "Не говоря ничего по существу романа, он спрашивал меня о том, кто я таков и откуда я взялся, давно ли пишу и почему обо мне ничего не было слышно раньше, и даже задал, с моей точки зрения, совсем идиотский вопрос: кто это меня надумил сочинить роман на такую странную тему?" Прежде, чем читатель открыл первые страницы романа и узнал о появлении Воланда в Москве и о суде над Иешуа Га-Ноцри в Иерусалиме, завертелась бесовщина вокруг Мастера, он был взят под подозрение, и без суда предан поношению и казни.

Знаменательна история травли Мастера в связи с появлением в какой-то газете отрывка из романа (видимо, главы "Понтий Пилат"). Посыпались статьи-доносы, в которых автора именовали врагом, богомазом, воинствующим старообрядцем, пытающимся "протащить в печать апологию Иисуса Христа", протащить "пилатчину"... Подобный критический репертуар был превосходно знаком Булгакову: "чудовищными отзывами" (слова Булгакова из письма Сталину) были встречены "Белая гвардия", "Бег", "Багровый остров", "Кабала святош" ("Мольер")... Булгаков знал, разумеется, что появление нового его романа довело бы его критиков до бешенства, до призывов к немедленной расправе. Знал он и то, что у этой критической истерии была тайная и главная причина: на это есть четкий намек в "Мастере и Маргарите". "Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон, — вспоминает Мастер. — Мне все казалось, — и я не мог от этого отделаться, — что авторы этих статей говорят не то, что они хотят ска-

зять, и что их ярость вызывается именно этим." Чем же? Наверное, в глубине души они сознавали свое лакейство перед всемогущей властью, свою продажность. Булгаков, как и его Мастер, обнажали их духовную ущербность уже одной своей независимостью. Независимость писателя всегда стоила невообразимо дорого и платил за нее прежде всего он сам. Недаром Воланд захохотал "громовым образом", услышав от Мастера, что он написал роман о Понтии Пилате: "О чем, о чем? О ком? — заговорил Воланд, перестав смеяться. — Вот теперь? Это потрясающе!"

Это и в самом деле было потрясающе — написать роман в ту пору, когда Библия стала гонимой книгой, когда поощрялось только издевательское глумление над нею, когда взрывали церкви, расстреливали и посылали на каторгу священнослужителей и верующих... В общем, когда словно бы повторились, только возведенные в невероятную степень лицемерия и подлости, гонения Рима на первых христиан.

У Булгакова нет и не могло быть, по законам нравственного и художественного такта, прямого сопоставления Иешуа с Мастером. Но читатель сам замечает отблеск христианского подвижничества, озаряющий судьбы Мастера и его творца.

Связи булгаковского романа с библейской традицией — это совокупность литературоведческих, религиозоведческих, культурологических проблем, исследование которых идет усилиями российских и зарубежных ученых (см., в частности, работы М. Чудаковой, Л. Яновской, И. Галинской, В. Лосева).

Мы коснемся здесь, в соответствии с темой нашей книги, проблемы отношения романа "Мастер и Маргарита" к Евангелию. Эта проблема отчетливо поставлена в самом романе, разумеется, в художественном повороте.

Вспомним, что, когда редактор толстого журнала

Берлиоз и поэт Иван Бездомный услышали рассказ о Иешуа и Понтии Пилате (услышали или увидели, словно в явственном сне), произошел такой диалог:

"Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими рассказами", — сказал Берлиоз.

"Помилуйте, — снисходительно усмехнувшись, отозвался профессор, — уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда..."

Понятно, что Воланд тонко вышучивает "ученый атеизм" Берлиоза и невежественную антирелигиозность Бездомного. Но ведь Берлиоз отчасти прав: рассказ во многом расходится с каноническими Евангелиями. Ближе всего он — по развитию событий, по освещению помыслов и действий Пилата — к Евангелию от Иоанна. По свидетельству именно этого Евангелия (в отличие от трех других) Пилат спрашивает Иисуса: "Что есть истина?" Здесь изображаются настоячивые попытки Пилата спасти Иисуса от казни; трижды он повторяет: "Я никакой вины не нахожу в Нем". Здесь приводится и разговор прокуратора с арестованным о жизни и смерти:

"Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить тебя?"

Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе.

С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю."

Наконец, именно в Евангелии от Иоанна отчетливо звучит мотив трусости Пилата, имеющий столь важное значение в романе: услышав, что Иисус "сделал Себя Сыном Божиим" грозный прокуратор "больше убоялся".

Все эти детали, преображенные в булгаковском повествовании, безошибочно узнаются. Поэтому правомерно считать Евангелие от Иоанна важнейшим источником из тех, которыми пользовался писатель в работе над главами о Иешуа и Пилате. (Следы работы Булгакова над Евангелиями и его особое внимание к Евангелию от Иоанна видны в черновиках романа. См.: Булгаков М. А. Великий канцлер. Предисл. и коммент. В. Лосева. М., 1992, с. 106 — 107).

Но уже в начале романа, в главе "Понтий Пилат", очевидно главное отличие булгаковского Иешуа от евангельского Христа: Га-Ноцри (из Назарета, назарянин по-древнееврейски) здесь никем не признается Сыном Божиим. В глазах разных персонажей он выглядит по ходу повествования бродягой, смутьяном, великим врачом, философом-проповедником, наивным правдолюбом, юродивым... В этом, кажется, образ Иешуа в романе ближе апокрифическим Евангелиям (то есть не признанным христианским богословием за истинные) или неканоническим толкованиям истории и личности Христа, например, в знаменитой книге Э. Ренана "Жизнь Иисуса" (1861). Недаром в черновых редакциях романа рассказ о Иешуа назван "Евангелием от Воланда".

Однако, образ Иешуа, как и другие образы романа, может быть более или менее полно воспринят лишь в целостности всего произведения. Булгаковский Иешуа наделен громадной внутренней энергией, которая раскрывается не сразу, Понтий Пилат уже во время допроса Иешуа все более проникается сначала корыстной заинтересованностью, потом бескорыстной привязанностью, наконец, невольным, неосознаваемым преклонением перед этим удивительным Человеком, убежденным в исконной и не утраченной, только загнанной вглубь, доброте всех людей. А предав Иешуа в руки палачей, понимает, что совершил ужаснейшую, непоп-

равимую ошибку, и во сне пытается исправить ее, поверить, что распятия не было, погубить свою карьеру, лишь бы "спасти от казни решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача!"

Фигуру Иешуа мы видим и глазами Левия Матфея, готового на крест ради того, чтобы избавить от страданий Учителя, и странными глазами Воланда, который выполняет поручения и просьбы Иешуа (что, заметим, не расходится со смыслом Священного писания, где диавол испытывает Иова с соизволения Божиего, где "Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола", как сказано в Евангелии от Матфея, IV, 1).

Многое еще помогает читателю увидеть, как поднимается над всеми событиями и лицами романа образ Иешуа и озаряет все повествование сиянием любви и добра, мудрости и милосердия — все это глубоко отвечает духу Евангелия. Булгаков, как и свойственно великим художникам, какими бы источниками ни пользовался, ничего не повторял, не пересказывал, не осовременивал: он создал свой мир, подобный иным, уже сотворенным, но небывалый, целостный и достоверный, где все живет, движется, меняется, и где соотношение света и тьмы определяется образом Иешуа.

Последние слова распятого философа, которые были переданы Пилату Афранием, звучали так: "...в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость." Смысл этих слов в романе многозначен. Они, конечно, обращены к прокуратору. Но выглядят и заветом каждому, кто хочет достойно жить и достойно умереть.

Русская классика всегда следовала этому завету. Но в России советского периода только на пути подвижничества и создавалась литература в высшем смысле этого слова.

В. Т. Шаламов успел после 17 лет каторги написать свои "Колымские рассказы", но до публикации их в России не дожил. Кажется знаменательным, что один из рассказов назван "Прокуратор Иудей"* (1965). Вряд ли рассказ как-то связан с булгаковским романом. Но мысль о трусости там присутствует — о трусости не только перед ответственностью и опасностью, но и перед собственной памятью.

Шаламов сумел сохранить в своей памяти, переплавить в горне искусства и передать людям обжигающую правду о человеке в условиях ГУЛАГа, о стране, превращенной в концентрационный лагерь. "Причал ада" назвал он рассказ о бухте Нагаево, куда прибывали заключенные, отправленные на Колыму. Шаламовские рассказы — словно страницы книги, "написанной внутри и отвне, запечатанной семью печатями", — как сказано в Откровении Иоанна Богослова (V,1). И чтение их напоминает снятие печатей с книги, изображенное в Апокалипсисе:

"И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего: иди и смотри.

И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечем и голодом, и мором и зверями земными."

"Колымские рассказы" — трудное чтение. Иным и быть не может, потому что рассказчик — один из тех, кому была уготована судьба Иоанна Предтечи (см. Евангелие от Марка, VI, 14 — 28). О них Шаламов написал в стихотворении "Поэты придут, но придут не оттуда...":

Но слово не сказано. Смертной истомой
Искривлены губы, и мертвый пророк
Для этих детей, для толпы незнакомой
Сберег свой последний упрек.

То, что Шаламов все-таки сказал свое слово — это кажется чудом. Может быть, он и выжил потому, что не мог уйти, не выполнив своего долга. "Утрачена связь времен, связь культур, — писал он Н. Я. Мандельштам в 1965 г., — преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити."

Ныне в Россию пришло время читательского пиршества: все стало доступным, умей только отличить подлинное от подделки. И Библию можно купить в магазине, на улице, получить в подарок, взять в библиотеке. Появляются новые переводы и переложения Книг Ветхого и Нового Заветов, новые литературные произведения, где свободно звучат библейские мотивы. Все это еще не значит, что Книга книг вошла в духовный мир народа: надо заново учиться ее читать, заново открывать для себя ее "божественное красноречие", как говорил Пушкин, ее истины и прозрения, ее нравственные начала, ее творческое взаимодействие с языком, словесным и другими искусствами.

Трудно сегодня судить о том, как скажется эта непривычная свобода в движении литературы и читательской деятельности. Во всяком случае, самый надежный способ догадаться о будущем — как можно пристальнее взглядеться в пройденный путь и увидеть непреходящие основы человеческого бытия.

И. А. Бродский в стихотворении "Сретенье"* (1972), написанном в год изгнания и посвященном А. А. Ахматовой, вспоминает историю встречи праведного Симеона с Младенцем Иисусом, которого Богородица на сороковой день после Его рождения принесла в храм (Евангелие от Луки, II, 22 — 35). Завершается стихотворение так:

...он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца, с сияньем вокруг
пушистого темени, смертной тропой
душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Истоком этой книги явились занятия, проведенные мною в Курском общеобразовательном лицее (1993 г.) и Сосновской средней школе Ленинградской области (1994 г.). Благодарю за участие в работе учителей Аллу Романовну Ерыгину, Галину Леонтьевну Ачкасову (Курск), Полину Андреевну Фадееву (Сосново), курских лицеистов и сосновских школьников.

Некоторые источники и пособия для самостоятельной работы

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. В синодальном русском переводе, с исправлением некоторых погрешностей предыдущих перепечаток и приложениями. Москва — Санкт-Петербург — Минск — Чебоксары — Миккели, 1993.

Новая толковая Библия. С иллюстрациями Гюстава Дорэ. Подготовленная на основе "Толковой Библии, или комментария на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов", изданной в Санкт-Петербурге в 1904 — 1913 годах. В 12 томах; том 1. Л., 1990; том 2. Санкт-Петербург, 1993 (издание не завершено).

Библейская энциклопедия. Труд и издание Архимандрита Никифора. М., 1891. Репринтное издание. М., 1991.

Симфония на Ветхий и Новый Завет (Словарь-указатель). В двух частях. С.-Петербург, 1900. Репринтное издание. Санкт-Петербург, 1994.

Канонические Евангелия. Пер. с греческого В. Н. Кузнецовой. Под ред. С. В. Лезова и С. В. Тищенко. Введ. С. В. Лезова. Статьи С. В. Лезова и С. В. Тищенко. М., 1992.

Христианство. Словарь. Под общ. ред. Л. Н. Митрохина и др. М., 1994.

Христианство. Энциклопедический словарь. В 2-х томах. Т. 1: А-К. Ред. колл.: С. С. Аверинцев (гл. ред.) и др. — М., 1993.

История всемирной литературы. В девяти томах. Тома 1 — 7. М., 1983 — 1991. (Издание не завершено).

Русские писатели. 1800 — 1917. Биографический словарь. Редколл.: П. А. Николаев (гл. ред.) и др. Тома 1 — 3. М., 1989 — 1994 (издание не завершено).

М. Г. Качурин

XI-XVII

Богоматерь Одигитрия.
Барельеф. XV век
Музей Андрея Рублева



ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

Фрагменты

В год 6406 (898). Шли угры мимо Киева горою, которая прозывается теперь Угорской, пришли к Днепру и стали вежами: ходили они так же, как теперь половцы. И, придя с востока, устремились через великие горы, которые прозвались Угорскими горами, и стали завоевывать живших там волохов и славян. Сидели ведь тут прежде славяне, а затем Славянскую землю захватили волохи. А после угры прогнали волохов, унаследовали ту землю и поселились со славянами, покорив их себе; и с тех пор прозвалась земля Угорской. И стали угры воевать против греков и попленили землю Фракийскую и Македонскую до самой Селуни. И стали воевать против моравов и чехов. Был един народ славянский: и те славяне, которые сидели по Дунаю, покоренные уграми, и моравы, и чехи, и поляки, и поляне, которых теперь называют русь. Для них ведь, моравов, первоначально созданы буквы, названные славянской грамотой; эта же грамота и у русских, и у болгар дунайских.

Когда славяне жили уже крещеными, князья их

Ростислав, Святополк и Коцел послали к царю Михаилу, говоря: "Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и поучил нас и объяснил святыя книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского; одни учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных словах и о смысле их". Услышав это, царь Михаил созвал всех философов и передал им все, сказанное славянскими князьями. И сказали философы: "В Селуни есть муж; именем Лев. Имеет он сыновей, знающих славянский язык; два сына у него искусные философы". Услышав об этом, царь послал за ними ко Льву в Селунь, со словами: "Пошли к нам без промедления своих сыновей Мефодия и Константина". Услышав об этом, Лев вскоре же послал их, и пришли они к царю, и сказал им царь: "Вот, прислала послов ко мне Славянская земля, прося себе учителя, который мог бы им истолковать священные книги, ибо этого они хотят". И уговорил их царь и послал их в Славянскую землю к Ростиславу, Святополку и Коцелу. Когда же братья эти пришли, начали они составлять славянскую азбуку и перевели Апостол и Евангелие. И рады были славяне, что услышали они о величии Божьем на своем языке. Затем перевели Псалтирь и Октоих и другие книги. Некие же люди стали хулить славянские книги и говорили, что-де "ни одному народу не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян, как в надписи Пилата, который на кресте Господнем написал только на этих языках". Услышав об этом, папа римский осудил тех, кто ропщет на славянские книги, сказав так: "Да исполнится слово Писания: "Пусть восхвалят Бога все народы", и другое: "Пусть все народы восхвалят величие Божие, поскольку Дух Святой дал им говорить". Если же кто бранит славянскую грамоту, да будет отлучен от церкви, пока

не исправится; это волки, а не овцы, их следует узнавать по поступкам их и беречься их. Вы же, дети, послушайте Божественного учения и не отвергните церковного поучения, которое дал вам наставник ваш Мефодий". Константин же вернулся назад и отправился учить болгарский народ, а Мефодия оставил в Моравии. Затем князь Коцел поставил Мефодия епископом в Паннонии на столе святого Андроника, одного из семидесяти апостолов, ученика святого апостола Павла. Мефодий же посадил двух попов, хороших скорописцев, и перевел все книги полностью с греческого языка на славянский в шесть месяцев, начав в марте, а закончив 26 октября. Закончив же, воздал достойную хвалу и славу Богу, давшему такую благодать епископу Мефодию, преемнику Андроника; ибо учитель славянскому народу — апостол Андроник. До моравов же доходил и апостол Павел и учил там; там же находилась и Иллирия, до которой доходил апостол Павел и где первоначально жили славяне. Вот почему учитель славян — апостол Павел, из тех же славян — и мы, русь; поэтому и нам, руси, учитель Павел, так как учил славянский народ и поставил по себе для славян епископом и наместником Андроника. А славянский народ и русский един, от варягов ведь прозвались русью, а прежде были славяне; хоть и полянами назывались, но речь была славянской. Полянами прозвались потому, что сидели в поле, а язык был им общий — славянский...

...в 6496 (988) году пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал Владимир на той стороне города у пристани, в расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко из города. Владимир же осадил город. Люди в городе стали изнемогать, и сказал Владимир горожанам: "Если не сдадитесь, то простою и три года". Они же не послушались его. Владимир же,

изготовив войско свое, приказал присыпать насыпь к городским стенам. И когда насыпали они, корсунцы, подкопав стену городскую, выкрадывали подсыпанную землю, и носили ее себе в город, и ссыпали посреди города. Воины же присыпали еще больше, и Владимир стоял. И вот некий муж корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, так написав на ней: "Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока". Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: "Если сбудется это, — крещусь!" И тотчас же повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались, Владимир вошел в город с дружиною своею и послал к царям Василию и Константину сказать: "Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу". И, услышав это, опечалились цари, и послали ему весть такую: "Не пристало христианам выдавать жен за язычников. Если крестишься, то и ее получишь, и царство небесное воспримешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя". Услышав это, сказал Владимир посланным к нему от царей: "Скажите царям вашим так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и любя мне вера ваша и богослужение, о котором рассказали мне посланные нами мужи". И рады были цари, услышав это, и упросили сестру свою, именем Анну, и послали к Владимиру, говоря: "Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе". Ответил же Владимир: "Придите с сестрою вашею и тогда крестите меня". И послушались цари и послали сестру свою, сановников и пресвитеров. Она же не хотела идти, говоря: "Иду, как в полон, лучше бы мне здесь умереть". И сказали ей братья: "Может быть, обратит тобою Бог Русскую землю к покаянию, а Греческую землю избавишь от ужасной

войны. Видишь ли, сколько зла наделала грекам Русь? Теперь же если не пойдешь, то сделают и нам то же". И едва принудили ее. Она же села в корабль, попрощалась с ближними своими с плачем и отправилась через море. И пришла в Корсунь, и вышли корсунцы навстречу ей с поклоном, и ввели ее в город, и посадили ее в палате. По Божественному промыслу разболелся в то время Владимир глазами и не видел ничего, и скорбел сильно, и не знал, что сделать. И послала к нему царица сказать: "Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей; если же не крестишься, то не избудишь недуга своего". Услышав это, Владимир сказал: "Если вправду исполнится это, то поистине велик Бог христианский". И повелел крестить себя. Епископ же корсунский с царицыными попами, огласив, крестил Владимира. И когда возложил руку на него, тотчас же прозрел Владимир. Владимир же, ощутив свое внезапное исцеление, прославил Бога: "Теперь узнал я истинного Бога". Многие из дружинников, увидев это, крестились. Крестился же он в церкви святого Василия, а стоит церковь та в городе Корсуні посреди града, где собираются корсунцы на торг; палата же Владимира стоит с края церкви и до наших дней, а царицына палата — за алтарем. По крещении же Владимира привели царицу для совершения брака. Не знающие же истины говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные же говорят — в Васильеве, а другие и по-иному скажут...

После всего этого Владимир взял царицу, и Анастасу, и священников корсунских с мощами святого Климента, и Фива, ученика его, взял и сосуды церковные и иконы на благословение себе. Поставил и церковь в Корсуні на горе, которую насыпали посреди города, выкрадывая землю из насыпи; стоит церковь та и доныне. Отправляясь, захватил он и двух медных идолов и четырех медных коней, что и сейчас стоят за

церковью святой Богородицы и про которых невежды думают, что они мраморные, Корсунь же отдал грекам как вено за царицу, а сам вернулся в Киев. И когда пришел, повелел опрокинуть идолы — одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью и приставил двенадцать мужей колотить его жезлами. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, — чтобы принял он возмездие от людей. "Велик ты, Господи, и чудны дела твои!" Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем. Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали его неверные, так как не приняли еще они святого крещения. И, притащив, кинули его в Днепр. И приставил Владимир к нему людей, сказав им: "Если пристанет где к берегу, отпихивайте его. А когда пройдет пороги, тогда только оставьте его". Они же исполнили, что им было приказано. И когда пустили Перуна и прошел он пороги, выбросило его ветром на отмель, и оттого прослыло место то Перунья отмель, как зовется она и до сих пор. Затем послал Владимир по всему городу сказать: "Если не придет кто завтра на реку — будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, — будет мне врагом". Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: "Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре". На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ; а дьявол говорил, стенаая: "Увы мне! Прогоняют меня отсюда! Здесь думал я обрести себе

жилище, ибо здесь не слышно было учения апостольского, не знали здесь Бога, но радовался я служению тех, кто служил мне. И вот уже побежден я невеждой, а не апостолами и не мучениками; не буду уже царствовать более в этих странах". Люди же, крестившись, разошлись по домам. Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его, посмотрел на небо и сказал: "Христос Бог, сотворивший небо и землю! Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать тебя, истинного Бога, как познали тебя христианские страны. Утверди в них правильную и неуклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на тебя и на твою силу". И сказав это, приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. И поставил церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие и где творили им требы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них как о мертвых.

Когда отданы были в учение книжное, то тем самым сбылось на Руси пророчество, гласившее: "В те дни услышат глухие слова книжные, и ясен будет язык косноязычных". Не слышали они раньше учения книжного, но по Божьему устройению и по милости Своей помиловал их Бог; как сказал пророк: "Помилю, кого хочу"...

ПОУЧЕНИЕ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА

Фрагмент

Сидя на санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня до этих дней, грешного, сохранил. Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет любя, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться.

Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в сердце своем и милостыню подавайте нескудную, — это ведь начало всякого добра. Если же кому не любя грамотка эта, то пусть не посмеются, а так скажут: на дальнем пути, да на санях сидя, безлепицу молвил.

Ибо встретили меня послы от братьев моих на Волге и сказали: "Поспеш к нам, и выгоним Ростиславичей и волость их отнимем; если же не пойдешь с нами, то мы — сами по себе будем, а ты — сам по себе". И ответил я: "Хоть вы и гневаетесь, не могу я ни с вами пойти, ни крестоцелование преступить".

И, отпустив их, взял Псалтырь, в печали разогнул ее, и вот что мне вынулось: "О чем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня?" и прочее. И потом собрал я эти полюбившиеся слова и расположил их по-порядку и переписал. Если вам последние не понравятся, начальные хоть возьмите...

Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить, кровь его пролить вскоре. А Господь наш, владея и жизнью и смертью, согрешения наши превыше разума нашего терпит, так и во всю жизнь нашу. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от

них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия небесного не лишиться.

Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забываюте трех дел тех, не тяжки ведь они. Ни затворничеством, ни монашеством, ни недоеданием, которые иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.

"Что такое человек, как помыслишь о нем?" "Велик ты, Господи, и чудны дела Твои. Разум человеческий не может постигнуть чудеса Твои". И снова скажем: "Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои, и благословенно и славно имя Твое вовеки по всей земле". Ибо кто не восхвалит и не прославит силу Твою и Твоих великих чудес и благ, устроенных на этом свете: как небо устроено, или как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет? И земля на водах положена, Господи, Твоим промыслом! Звери различные и птицы и рыбы украшены Твоим промыслом, Господи! И этому чуду подивимся, как из праха создал человека, как разнообразны человеческие лица, — если и всех людей собрать, не у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица, по Божьей мудрости. И тому подивимся, как птицы небесные из рая идут, и прежде всего в наши руки, и не поселяются в одной стране, но и сильные и слабые идут по всем землям, по Божьему повелению, чтобы наполнились леса и поля. Все же это дал Бог на пользу людям, в пищу и на радость. Велика, Господи, милость Твоя к нам, так как блага эти сотворил Ты ради человека грешного. И те же птицы небесные умудрены Тобою, Господи: когда повелишь, то запоют и людей веселят; а когда не повелишь им, то, и имея язык, онемеют. "И благословен, Господи, и прославлен зело!" Всякие чудеса и эти блага сотворил и совершил. "И кто не восхвалит Тебя, Господи, и не верует всем

сердцем и всей душой во имя Отца и Сына и Святого Духа, да будет проклят!"

Прочитав эти Божественные слова, дети мои, похвалите Бога, подавшего нам милость свою: а то, дальнейшее, — это моего собственного слабого ума наставление. Послушайте меня: если не все примете, то хоть половину.

Если вам Бог смягчит сердце, пролейте слезы о грехах своих, говоря: "Как блудницу, разбойника и мытаря помиловал Ты, так и нас, грешных, помилуй". И в церкви то делайте и ложась. Не пропускайте ни одной ночи, — если можете, поклонитесь до земли; если вам занеможется, то трижды. Не забывайте этого, не ленитесь, ибо тем ночным поклоном и молитвой человек побеждает дьявола, и что нагрешит за день, то этим избавляется. Если и на коне едучи не будет у вас никакого дела и если других молитв не умеете сказать, то "Господи помилуй" взывайте беспрестанно втайне, ибо эта молитва всех лучше, — нежели думать безлепицу, ездя.

Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его. Если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души. Говоря что-либо, дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам придется крест целовать братии или кому-либо, то, проверив сердце свое, на чем можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, преступив, не погубить души своей. Епископов, попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них благословение, и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от Бога. Паче же всего гордости не имейте в

сердце и в уме, но молвите: смертны суть; сегодня живы, а завтра в гробу; все это, что Ты нам дал, не наше, но Твое, поручил нам это на немного дней. И в земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряжайте и ночью, расставив охрану со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружия не снимайте с себя второпах, не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек погибает. Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете почтить его подарком, то пищей и питьем: ибо они, проходя, прославят человека по всем землям, или добрым, или злым. Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой. А вот вам и основа всему: страх Божий имейте превыше всего.

Если будете забывать это, то чаще перечитывайте: и мне не будет стыдно, и вам будет хорошо.

Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран. Лениость ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего не

умеет, тому не научится. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви: пусть не застанет вас солнце в постели. Так поступал отец мой блаженный и все добрые мужи совершенные. На заутрене, воздавши Богу хвалу, и потом на рассвете, увидев солнце восходящее, с радостью прославьте Бога и молитесь: "Просвети очи мои, Христе Боже, давший мне свет Твой дивный!" И еще: "Господи, умножь годы мои, чтобы впредь, в остальных грехах своих покаявшись, исправил жизнь свою"; так я хвалю Бога и тогда, когда сажусь думать с дружиною, или собираюсь творить суд людям, или ехать на охоту или на сбор дани, или лечь спать. Спать в полдень назначено Богом; по этому установленью почивают ведь и звери, и птицы, и люди.

А теперь поведаю вам, дети мои, о труде своем, как трудился я в разъездах и на охотах с тринадцати лет. Сначала я к Ростову пошел сквозь землю вятичей; послал меня отец, а сам он пошел к Курску. И затем снова ходил я к Смоленску со Ставком Гордятичем, который затем пошел к Берестью с Изяславом, а меня послал к Смоленску, а из Смоленска пошел во Владимир. Той же зимой послали меня в Берестье двое братьев на пожарище, что поляки пожгли, и там правил я городом утишенным. Затем ходил в Переяславль к отцу, а после Пасхи из Переяславля во Владимир — в Сутейске мир заключить с поляками. Оттуда опять на лето во Владимир.

Затем послал меня Святослав в Польшу; ходил я за Глогов до Чешского леса, и ходил в земле их четыре месяца. И в том же году и сын родился у меня старший, новгородский. А оттуда ходил я в Туров, а на весну в Переяславль, и опять в Туров.

И Святослав умер, и я опять пошел в Смоленск, а из Смоленска той же зимой в Новгород; весной — Глебу в помощь. А летом с отцом — под Полоцк, а на другую зиму со Святополком под Полоцк, и выжгли Полоцк;

он пошел к Новгороду, а я с половцами на Одреск войною и в Чернигов. И снова пришел я из Смоленска к отцу в Чернигов. И Олег пришел туда, из Владимира прогнанный, и я позвал его к себе на обед с отцом в Чернигове, на Красном дворе, и дал отцу триста гривен золота. И опять из Смоленска же придя, пробился я через половецкие войска с боем до Переяславля и отца застал вернувшегося из похода. Затем ходили мы опять в том же году с отцом и с Изяславом к Чернигову биться с Борисом и победили Бориса и Олега. ...

А из Чернигова в Киев около ста раз ездил к отцу, за один день проезжая, до вечерни. А всего походов было восемьдесят и три великих, а остальных и не упомяну меньших. И миров заключил с половецкими князьями без одного двадцать, и при отце и без отца, раздаривал много скота и много одежды своей. И отпустил из оков лучших князей половецких столько: Шаруканевых двух братьев, Багубарсовых трех, Осеневых братьев четырех, а всего других лучших князей сто. А самих князей Бог живыми в руки давал: Коксус с сыном, Аклан Бурчевич, таревский князь Азгулуй, и иных витязей молодых пятнадцать, этих я, приведя живых, иссек и бросил в ту речку Сальню. А врозь перебил их в то время около двухсот лучших мужей.

А вот как я трудился, охотясь: и пока сидел в Чернигове, и из Чернигова выйдя, и до этого года — по сотне загонял и брал без трудов, не считая другой охоты, вне Турова, где с отцом охотился на всякого зверя.

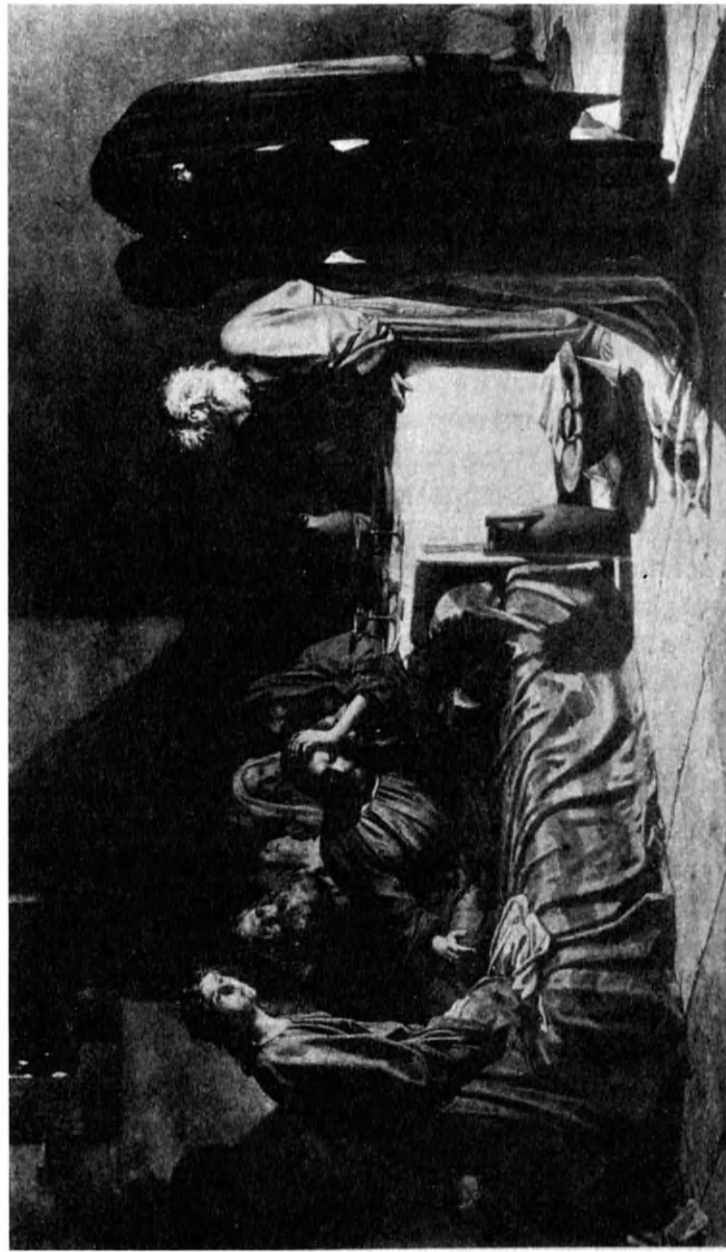
А вот что я в Чернигове делал: коней диких своими руками связал я в пущах десять и двадцать, живых коней, помимо того что, разъезжая по равнине, ловил своими руками тех же коней диких. Два тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал. Вепрь у меня с бедра меч сорвал, медведь мне у

колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною опрокинул, и Бог сохранил меня невредимым. И с коня много падал, голову себе дважды разбивал, и руки и ноги свои повреждал — в юности своей повреждал, не дорожа жизнью своею, не щадя головы своей.

Что надлежало делать отроку моему, то сам делал — на войне и на охотах, ночью и днем, в жару и стужу, не давая себе покоя. На посадников не полагаясь, ни на биричей, сам делал, что было надо; весь распорядок и в доме у себя также сам устанавливал. И у ловчих охотничий распорядок сам устанавливал, и у конюхов, и о соколах и о ястребах заботился.

Также и бедного смерда, и убогую вдовицу не давал в обиду сильным и за церковным порядком и за службой сам наблюдал.

Не осуждайте меня, дети мои или другой, кто прочтет: не хвалю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога и прославляю милость Его, ибо меня, грешного и ничтожного, столько лет хранил от тех смертных опасностей и не ленивым меня, дурного, создал, но к любому делу человеческого способным. Прочитав эту грамотку, потщитесь делать всякие добрые дела, славя Бога со святыми Его. Смерти, дети, не бойтесь, ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлет. Ибо если я от войны, и от зверя, и от воды, и от падения с коня уберегся, то никто из вас не может повредить себя или быть убитым, пока не будет от Бога повелено. А если случится от Бога смерть, то ни отец, ни мать, ни братья не могут вас отнять от нее, но если и хорошее дело — остерегаться самому, от Божие обережение лучше человеческого.



Н. Н. Ге. Тайная Вечеря. 1863

ПОСЛАНИЕ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА ОЛЕГУ СВЯТОСЛАВИЧУ

Фрагмент

Оя, многострадальный и печальный! Много борешься, душа, с сердцем и одолеваешь сердце мое; все мы тленны, и потому помышляю, как бы не предстать перед страшным Судьею, не покаившись и не примирившись между собою.

Ибо кто молвит: "Бога люблю, а брата своего не люблю", — ложь это. И еще: "Если не простите прегрешений брату, то и вам не простит Отец ваш небесный". Пророк говорит: "Не соревнуйся с лукавствующим, не завидуй творящим беззаконие". "Что лучше и прекраснее, чем жить братьям всесте". Но все наущение дьявола! Были ведь войны при умных дедах наших, при добрых и при блаженных отцах наших. Дьявол ведь ссорит нас, ибо не хочет добра роду человеческому. Это я тебе написал, потому что понудил меня сын мой, крещенный тобою, что сидит близко от тебя. Прислал он ко мне мужа своего и грамоту, со словами: "Договоримся и помиримся, а братцу моему Божий суд пришел. А мы не будем за него мстителями, но положим то на Бога, когда предстанут они пред Богом; а Русскую землю не погубим". И, увидев смирение сына моего, сжалился я и, Бога устрашившись, сказал: "Он по молодости своей и неразумию так смиряется, на Бога возлагает; я же — человек, грешнее всех людей".

Послушал я сына своего, написал тебе грамоту: примешь ли ты ее по-доброму или с поруганием, то и другое увижу из твоего письма. Этими словами предупреждал я тебя, объяснил, чего я ждал от тебя, смирением и покаанием желая от Бога отпущения прошлых своих грехов. Господь наш не человек, но Бог всей вселенной, — что захочет, во мгновение ока все сотворит, — а сам все же претерпел хулу, и оплевание,

и удары и на смерть отдал себя, владея жизнью и смертью всех. А мы что такое, люди грешные и худые? Сегодня живы, а завтра мертвы, сегодня в славе и в чести, а завтра в гробу и забыты. Другие собранное нами разделят.

Посмотри, брат, на отцов наших: что они скопили и на что им одежды? Только и есть у них, что сделали душе своей. С этими словами тебе первому, брат, надлежало послать ко мне и предупредить меня. Когда же убили дитя, мое и твое, пред тобою, следовало бы тебе, увидев кровь его и тело его, увянувшее подобно цветку, впервые распустившемся, подобно агнцу заколотому, сказать, стоя над ним, вдумавшись в помыслы души своей: "Увы мне, что я сделал! И, воспользовавшись его неразумием, ради неправды света сего суетного нажил я грех себе, а отцу и матери — слезы!"

Надо было бы сказать тебе словами Давида: "Знаю, грех мой всегда передо мною". Не из-за пролития крови, а свершив прелюбодеяние, помазанник Божий Давид посыпал главу свою и плакал горько, — в тот час отпустил ему согрешенья его Бог.

Богу бы тебе покаяться, а ко мне написать грамоту утешительную да сноху мою послать ко мне, — ибо нет в ней ни зла, ни добра, — чтобы я, обняв ее, оплакал мужа ее и ту свадьбу их вместо песен: ибо не видел я их первой радости, ни венчания их за грехи мои. Ради Бога, пусти ее ко мне поскорее с первым послом, чтобы, поплакав с нею, поселил у себя, и села бы она как горлица на сухом дереве, горюя, а сам бы я утешился в Боге.

Тем ведь путем шли деды и отцы наши: суд от Бога пришел ему, а не от тебя. Если бы тогда ты свою волю сотворил и Муром добыл, а Ростова бы не занимал и послал бы ко мне, то мы бы так все и уладили. Но сам рассуди, мне ли было достойно послать к тебе или тебе ко мне? Если бы ты велел сыну моему: "Сошлись с отцом", десять раз я бы послал.

Разве удивительно, что муж пал на войне? Умирили так лучшие из предков наших. Но не следовало ему искать худого и меня в позор и в печаль вводить. Подучили ведь его слуги, чтобы себе что-нибудь добыть, а для него добыли зла.

И если начнешь каяться Богу и ко мне будешь добр сердцем, послав посла своего или епископа, то напиши грамоту с правдою, тогда и волость получишь добром, и наше сердце обратишь к себе, и лучше будем, чем прежде: ни враг я тебе, ни мститель. Не хотел ведь я видеть крови твоей у Стародуба; но не мог видеть кровь ни от руки твоей, ни от повеления твоего, ни от кого-либо из братьев. Если же я лгу, то Бог мне судья и крест честной! Если же в том состоит грех мой, что на тебя пошел к Чернигову из-за язычников, я в том каюсь, о том я не раз братии своей говорил и еще им поведал, ибо я человек.

"СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ"

Фрагмент

...На Дунае Ярославнин голос слышится,
кукушкою безвестною рано кукует:

"Полечу, — говорит, — кукушкою по Дунаю,
омочу шелковый рукав в Каяле-реке,
утру князю кровавые его раны
на могучем его теле".

Ярославна рано плачет
в Путивле на забрале, приговаривая:

"О ветер, ветрило!

Зачем, господин, веешь ты навстречу?

Зачем мчишь хиновские стрелочки

на своих легких крыльницах

на воинов моего милого?

Разве мало тебе было под облаками веять,
лелея корабли на синем море?

Зачем, господин, мое веселье
по ковылю ты развеял?"

Ярославна рано плачет
в Путивле-городе на забрале, приговаривая:
"О Днепр Словутич!
Ты пробил каменные горы
сквозь землю Половецкую.
Ты лелеял на себе Святославовы насады
до стана Кобякова.
Прилелей же, господин, моего милого ко мне,
чтобы не слала я к нему слез
на море рано".

Ярославна рано плачет
в Путивле на забрале, приговаривая:
"Светлое и трижды светлое солнце!
Всем ты тепло и прекрасно:
зачем, владыко, простерло ты горячие свои лучи
на воинов моего лады?
В поле безводном жаждою им луки скрутило,
горем им колчаны заткнуло?"

Прыснуло море в полуночи,
идут смерчи тучами.
Игорю-князю Бог путь указывает
из земли Половецкой
в землю Русскую,
к отчему золотому столу.

Погасли вечером зори.
Игорь спит,
Игорь бдит,
Игорь мыслью поля мерит
от великого Дона до малого Донца.
Коня в полночь Овлур свистнул за рекою;

велит князю разуместь:
князю Игорю не быть в плену!
Крикнула,
стукнула земля,
зашумела трава,
вежи половецкие заколыхались.

А Игорь-князь поскакал
горностаем к тростнику
и белым гоголем на воду.

Вскочил на борзого коня
и соскочил с него серым волком.
И побежал к излучине Донца,
и полетел соколом под облаками,
избивая гусей и лебедей

к завтраку,
и обеду,
и ужину.

Коли Игорь соколом полетел,
тогда Овлур волком побежал,
стряхивая собою студеную росу:
оба ведь надорвали своих борзых коней.

Донец говорит:
"О князь Игорь!
Немало тебе величия,
а Кончаку нелюбия,
а Русской земле веселия".

Игорь говорит:
"О Донец!

Немало тебе величия,
лелеяв князя на волнах,
постлав ему зеленую траву
на своих серебряных берегах,
одевая его теплыми туманами
под сенью зеленого дерева;
ты стерег его гоголем на воде,

чайками на струях,
чернядями на ветрах".

Не такова-то, говорит он, река Стугна:
скудную струю имея,
поглотив чужие ручьи и потоки,
расширенная к устью,
юношу князя Ростислава заключила.
На темном берегу Днепра
плачет мать Ростислава
по юноше князе Ростиславе.
Уныли цветы от жалости,
и дерево с тоской к земле приклонилось.

То не сороки застрекотали —
по следу Игоря едут Гзак с Кончаком.
Тогда вороны не граяли,
галки примолкли,
сороки не стрекотали,
только полозья ползали.
Дятлы стуком путь кажут к реке
да соловьи веселыми песнями
рассвет возвещают.

Говорит Гзак Кончаку:
"Если сокол к гнезду летит,
расстреляем соколенка
своими золочеными стрелами".

Говорит Кончак Гзаку:
"Если сокол к гнезду летит,
то опутаем мы соколенка
красною девицей".

И сказал Гзак Кончаку:
"Если его опутаем красной девицей,
не будет у нас ни соколенка,
ни красной девицы,

и станут нас птицы бить
в поле Половецком”.

Сказали Боян и Ходына,
Святославовы песнотворцы
старого времени Ярослав,
Олега-князя любимцы:
"Тяжко голове без плеч,
беда телу без головы" —
так и Русской земле без Игоря.

Солнце светится на небе,
а Игорь-князь в Русской земле;
девицы поют на Дунае, —
вьются голоса их через море до Киева.
Игорь едет по Боричеву
ко святой богородице Пирогощей.
Села рады, грады веселы.

Спевши песнь старым князьям,
потом и молодым петь:

"Слава Игорю Святославичу,
буй туру Всеволоду,
Владимиру Игоревичу!"

Здравы будьте, князья и дружина,
борясь за христиан
против нашествий поганных!

Князьям слава и дружине!
Аминь.

ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Фрагмент

О Господе нашем Иисусе Христе, Сыне Божьем, я, ничтожный, грешный и неразумный, начинаю описывать жизнь князя Александра Ярославича, внука Всеволода. Слышал я о нем от отцов своих и сам был свидетелем деяний его, а потому рад был поведать о его праведной и славной жизни, — но, как сказал Приточник: "В лукавую душу не входит премудрость", ибо "становится она на высоких местах, стоит посреди дорог, сидит у ворот мужей сильных". Хотя и прост я умом, но молитвой Святой Госпожи Богородицы и помощью Святого князя Александра начну так.

Родился князь Александр по Божьей воле от отца — благочестивого, кроткого и милостивого, великого князя Ярослава, от матери — благочестивой Феодосии, — как сказал Исайя пророк: "Говорит Господь: "Я ставлю князей, я возвожу их на престол". И воистину так: не княжил бы он без повеленья Божия. Рост его был выше других людей, голос его — как труба в народе, лицо его — как у Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью силы Самсона. И дал ему Бог премудрость Соломонову, а храбрость царя римского Веспасиана, который пленил всю Иудейскую землю; некогда, во время осады города Атапаты, вышедшие из города жители победили полк его, и остался Веспасиан один, и прогнал войско их к городским воротам, и насмеялся над дружиной своей и укорил ее, говоря: "Оставили вы меня одного". Так и князь Александр: везде побеждая, был непобедим. И вот пришел некто знатный от западной страны, от тех, что зовут себя "слугами Божьими", желая повидать дивную силу его, как в древности царица Южская приходила к Соломону, желая послушаться премудрости его. Так и этот, по имени Андре-

яш, повидав князя Александра, возвратился к своим и сказал: "Прошел я много стран и городов, но не видал нигде такого ни во царях царя, ни во князьях князя".

И слышал это король от страны полуночной, о таком мужестве князя Александра Ярославича, и подумал: "Пойду завоюю землю Александрову". И собрал он войско большое, наполнил многие корабли полками своими и пошел в силе великой, злопыхая духом ратным. И когда дошел до реки Невы, шатаясь от безумия, послал он послов к князю Александру в Новгород Великий и сказал, гордясь: "Уже я здесь, хочу попленить землю твою, — если можешь, обороняйся".

Князь же Александр, когда услышал слова эти, распалился сердцем, вошел в церковь Святой Софии, пал на колени перед алтарем и стал молиться со слезами Богу: "Боже прехвальный и праведный, Боже крепкий и великий, Боже вечный, сотворивший небо и землю, оставивший пределы народам и приказавший им жить, не переступая чужой земли!" И вспомнил песнь псаломскую и сказал: "Суди, Господи, и рассуди распрю мою с обидящими меня, побори борющихся со мною; возьми оружие и щит и восстань на помощь мне". И, окончив молитву, встал и поклонился архиепископу, архиепископ же Спиридон благословил его и отпустил. Он же пошел из церкви, утирая слезы. И начал он крепить дружину свою и сказал: "Не в силе Бог, но в правде. Помянем песнопевца Давида: "Эти — оружием, иные — конями, мы же именем Господа Бога нашего хвалимся; поверженные, они пали, мы же восстали и стоим прямо". И сказав это, пошел на врагов с небольшой дружиной, не дожидаясь, когда соберется вся его сила, уповая на Святую Троицу.

Жалостно слышать, что отец Александра, великий Ярослав, не знал о беде, приключившейся его милому сыну, что не успел Александр вовремя послать весть

отцу: враги уже приближались, и даже новгородцы многие не успели собраться, потому что князь торопился в поход.

И встретился он с врагами в воскресенье, на память Святых отцов собора Халкидонского и на память Святых Кирика и Улиты и Святого князя Владимира — крестителя земли Русской. И крепко верил он в помощь Святых мучеников Бориса и Глеба. Был там некий муж, старейшина земли Ижорской, по имени Пелгуй: ему был поручен дозор утренний морской. Был он крещен и жил среди рода своего, остававшегося в язычестве; при крещении дано было ему имя Филипп. И жил он богоугодно, в среду и в пятницу соблюдая пост. И подобил его Бог увидеть видение необычайное. Какое — кратко расскажем.

Увидел он вражеское войско, идущее против князя Александра, и решил рассказать князю о станах их и укреплениях. Всю ночь не спал он, стоял на берегу моря и следил за путями. Когда стало светать, услышал он шум страшный на море и увидел судно, плывущее по морю, а посреди судна — Бориса и Глеба в одеждах червленых, держащих руки на плече друг у друга. А гребцы сидели словно мглою одеты. И сказал Борис: "Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему, князю Александру". Видя это видение и слыша беседу эту святых мучеников, стоял Пелгуй в трепете, пока не скрылось судно от глаз его.

Когда вскоре пришел князь Александр, Пелгуй с радостью встретил его и ему одному поведал о видении. Князь же ему сказал: "Никому не рассказывай об этом". И решил он напасть на врагов в шестом часу дня. И была крепкая сеча с римлянами; побил он бесчисленное множество врагов и самого короля ранил в лицо острым своим копьём.

Здесь же в полку Александровом явились шесть мужей храбрых и сильных, которые бились вместе с

ним крепко. Один — Гаврило, по прозвищу Алексич; увидев короля, которого тащили под руки, напал он на судно, въехал по доске до самого корабля, и побежали все от него, затем оборотились и с доски, по которой всходили на корабль, сбросили его с конем в море; он же с помощью Божьей выбрался из моря невредимым, и снова напал на них, и бился крепко с самим воеводою среди полков их. Другой же — новгородец по имени Збыслав Якунович; этот не раз нападал на врагов, не имея страха в сердце своем и сражаясь одним топорком, и многие пали от его топорка; дивился князь Александр Ярославич силе его и храбрости. Третий — Яков, родом полочанин, был он ловчим у князя; этот напал на полк вражеский с мечом и мужественно бился, и похвалил его за это князь. Четвертый же — новгородец по имени Миша; был он пеш и с дружиною своею потопил три корабля римлян. Пятый — из младшей дружины князя, именем Савва; этот наехал на большой шатер королевский златоверхий и подрубил столп шатерный; полки же Александровы очень радовались, когда увидели, как развалился этот шатер. Шестой же из слуг князя — по имени Ратмир; пешего окружили его враги, и от многих ран пал он и скончался. Обо всем этом слышал я от господина моего князя Александра и от других, кто в сече той участвовал. Было же в то время дивное чудо, подобное тому, какое было в древности при Езекии-царе, когда напал на Иерусалим Сеннахирим, царь ассирийский, желая взять в плен святой город Иерусалим: внезапно с неба спустился ангел Господень и избил 185 тысяч войска ассирийского; когда встали утром, нашли множество трупов. Так же было и после победы князя Александра, когда победил он короля; по обе стороны реки Ижоры, где полки Александровы пройти не могли, нашли множество побитых архангелом Божьим; оставшиеся побежали, а трупы мертвецов своих покидали на ко-

рабли и потопили в море. Князь же Александр возвратился с победою, хваля Творца. На второй же год после этой победы князя Александра опять пришли те же из западной страны и построили город в земле Александровой. Великий князь Александр немедля пошел на них, город срыл до основания, одних избил, других с собою привел, а иных помиловал и отпустил, ибо был он милостив без меры.

После победы Александра, когда победил он короля, на третий год зимою пошел он на землю Немецкую с большим войском — да не хвалятся они: "Посраммим народ славянский". Ведь уже взяли они город Псков и тиунов своих там понасажали. Князь Александр тиунов тех схватил, город Псков освободил от пленения, а землю их повоевал и пожег, много, без числа, взял пленных, а других порубил. Собрались тогда немцы и, похваляясь, сказали: "Пойдем победим князя Александра, поймаем его руками".

Когда стали они приближаться, стражи князя Александра проведали это. Князь Александр собрал войско и пошел навстречу врагам. И встретились они на Чудском озере — многое множество. Отец же его Ярослав послал ему в помощь брата его меньшого, князя Андрея, с большой дружиной. Много было и у князя Александра храбрых мужей, как в древности у царя Давида; крепкие и сильные, как у Давида-царя, мужи Александровы преисполнились духа ратного: сердца их были, как сердца львов, и сказали они: "О княже наш славный, дорогой, время настало нам головы свои сложить за тебя". Князь же Александр, воздев руки к небу, сказал: "Суди, Господи, и рассуди распрю мою, от народа велеречивого избави меня, помоги мне, Господи, как помог Ты в старые годы Моисею на Амалике и прадеду моему Ярославу на окаянного Святополка". Была тогда суббота. Когда взошло солнце, полки сошлись. И затрещали копья, и звон мечей

раздался, и была сеча столь злая, что лед на озере задвигался: льда не было видать, весь покрылся он кровью. И это слышал я от очевидца: "Видели мы на небе полк Божий, пришедший на помощь князю Александру". И победил Александр врагов помощью Божьей, и обратились они в бегство. Так гнали и рубили врагов полки Александровы, словно неслись они по воздуху: и некуда было тем бежать. Прославил тут Бог великого князя Александра перед всеми полками, как Иисуса Навина в Иерихоне. И того, кто похвалялся: "Руками поймаем великого князя Александра", предал Бог в руки его. И не нашлось никого, кто бы мог ему воспротивиться.

И возвратился князь Александр после победы со славою великою. Многое множество пленных было с ними; подле коней вели тех, кого называют они "рыцарями". Когда подошел князь Александр к Пскову, встретили его у города игумены со крестами и попы в ризах, многие жители городские, хваля Бога и славя господина великого князя Александра: "Помог ты, Господи, Давиду кроткому победить иноплеменников и верному князю нашему Александру крестным оружием и рукою его освободить город Псков от иноязычных!"

О неразумные псковичи! Если забудете об этом до правнучат Александровых, уподобитесь тем иудеям, которые в пустыне питались манною и печеными перепелами и которые забыли об этом, как забыли и Бога, освободившего их от египетской неволи.

И прославлено было имя Александра во всех странах — до моря Понтийского и до гор Араратских, по обе стороны моря Варяжского и до Рима.

"ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ" ЕРМОЛАЯ (ЕРАЗМА)

Есть в Русской земле город, называемый Муром. Рассказали мне, что правил им когда-то добрый князь по имени Павел. Ненавидя всякое добро в роде человеческом, дьявол наслал в терем княгини Павловой летучего змея — обольщать ее на блуд. Когда находило на нее это наваждение, она видела его таким, каков он есть, а всем, кто входил в это время к княгине, представлялось, что это князь сидит со своею женою. Прошло немало времени, и жена князя Павла не утаила, рассказала мужу все, что было с нею, потому что змей тот уже насиловал ее.

Князь задумался, что сделать со змеем, и не мог придумать. Потом сказал жене:

— Сколько ни думаю, не могу придумать, как мне справиться с этим нечистым духом. Я той смерти не знаю, какую ему можно учинить. Вот как мы сделаем. Когда будет он с тобою говорить, спроси-ка ты хитро и лукаво его самого об этом: не знает ли этот оборотень-змей, от чего ему смерть суждена. Если ты это узнаешь и нам поведаешь, то не только избавишься от его гнусного дыхания и осквернения, о котором мерзко и говорить, но и в будущей жизни умилиставишь к себе неподкупного судию — Христа!

Княгиня обрадовалась словам своего мужа и подумала: "Хорошо, когда б это сбылось".

Вот прилетел к ней оборотень-змей, она заговорила с ним о том, о другом льстиво и лукаво, храня в памяти своей добрый умысел, и, когда он расхвастался, спросила смиренно и почтительно, восхваляя его:

— Ты ведь все знаешь, наверное, и то знаешь, какова и от чего суждена тебе кончина?

И тут великий обманщик сам был обманут лестью красивой женщины, — и сам не заметил, как выдал

свою тайну:

— Смерть мне суждена от Петрова плеча, от Агрикова меча.

Княгиня, услышав эту загадку, твердо запомнила ее; когда змей улетел, пересказала мужу, как он ей ответил. Князь выслушал и задумался, что это значит: "Смерть от Петрова плеча, от Агрикова меча?"

Был у него родной брат, князь по имени Петр. Призвал он его в ближайшие дни и рассказал о змее и его загадке. Князь Петр, услышав, что змей назвал его именем того, кто с ним покончит, мужественно решился одолеть его. Но смущала его мысль, что ничего не знает об Агрикове мече.

Он любил молиться в малолюдных церквах. Пришел он как-то один в загородную церковь Воздвижения, что в женском монастыре. Тут подошел к нему подросток, служка церковный, и сказал:

— Князь! Хочешь, покажу тебе Агриков меч?

Тотчас вспомнил князь о своем решении и поспешил за служкой:

— Где он, дай взгляну!

Служка повел его в алтарь и показал щель в алтарной стене между кирпичами: в глубине щели лежал меч. Доблестный князь достал этот меч и вернулся в княжий двор. Рассказал он брату, что теперь уже готов, и с того дня ждал удобного времени — убить летучего змея.

Он каждый день приходил спросить о здравии брата своего и заходил потом к снохе по тому же чину.

Раз побывал он у брата и сразу от него пошел на княгинину половину. Вошел и видит: сидит с княгиней брат, князь Павел. Вышел он от нее и повстречал одного из свиты князя:

— Скажи мне, что за чудо такое: вышел я от брата к снохе моей, оставил его в своей светлице и нигде не задержался, а вхожу к княгине — он там сидит;

изумился я, как же он раньше меня успел туда?

Приближенный князя отвечает:

— Не может этого быть, господин мой! Никуда не отлучался князь Павел из покоев своих, когда ты ушел от него.

Тогда князь Петр понял, что это колдовство лукавого змея. Пошел опять к старшему брату и спрашивает:

— Когда ты вернулся сюда? Я от тебя вот только что ходил в покой княгини твоей, нигде ни на минуту не задерживался и, когда вошел туда, увидел тебя рядом с нею. Я был изумлен, как ты мог оказаться там раньше меня. Оттуда сразу же пошел я сюда, а ты опять, не понимаю как, опередил меня и раньше меня здесь оказался.

Тот же говорит:

— Никуда я из горницы своей не выходил, когда ты ушел к княгине, и сам у нее не был.

Тогда князь Петр объяснил:

— Это чары лукавого змея: он передо мною принимает твой образ, чтобы я не подумал убить его, почитая тебя, своего брата. Теперь уж ты отсюда никуда не выходи, а я пойду туда биться со змеем, и если Бог поможет, так и убью лукавого змея.

Взял он заветный Агриков меч и пошел в покои своей снохи, опять увидел возле нее змея в образе брата, но теперь он был уже твердо уверен, что это не брат, а оборотень-змей, и поразил его мечом. В тот же миг змей принял свой настоящий вид, забился в предсмертных судорогах и издох. Но струи крови чудовища обрызгали тело князя Петра, и от этой поганой крови он покрылся струпьями, потом язвами и тяжело заболел. Он призывал всех врачей своего княжества, чтобы исцелили его, но ни один не мог его вылечить.

Прослышал он, что в Рязанской земле много лекарей, и велел отвезти себя туда, потому что болезнь его очень усилилась и он не мог уже сидеть на коне.

Привезли его в Рязанскую землю, и разослал он свою дружину во все концы искать лекарей.

Один из его дружинников завернул в деревню Ласково. Подъехал он к воротам какого-то дома — никого не видно; взшел на крыльцо — словно никто и не слышит; открыл дверь и глазам не верит: сидит за ткацким станом девушка, одна в доме, а перед нею скачет-играет заяц.

И молвит девушка:

— Плохо, когда двор без ушей, а дом без глаз.

Молодой дружинник не понял ее слов и говорит:

— Где же хозяин этого дома?

Девушка отвечает:

— Отец и мать пошли взаймы плакать, а брат ушел сквозь ноги смерти в глаза глядеть.

Юноша опять не понял, о чем она говорит, удивился и тому, что увидел, и тому, что услышал:

— Ну скажи ты, что за чудеса! Вошел я к тебе — вижу, работаешь за станом, а перед тобой заяц пляшет. Заговорила ты, — и странных речей твоих я никак не пойму. Сперва ты сказала: "Плохо, когда двор без ушей, а дом без глаз!" Про отца и мать своих сказала: "Пошли взаймы плакать", а про брата: "Сквозь ноги смерти в глаза глядеть", и ни единого слова я тут не понял.

Улыбнулась девушка и сказала:

— Ну чего уж тут не понять? Подъехал ты ко двору и в дом вошел, а я сижу неприбранная, гостя не встречаю. Был бы пес во дворе, почуял бы тебя издали, лаял бы: вот и были бы у двора уши. А кабы в доме моем было дитя, увидело бы тебя, как ты через двор шел, и мне бы сказало: вот был бы и дом с глазами. Отец и мать пошли на похороны и там плачут, а когда они помрут, другие над ними плакать будут: значит, сейчас они свои слезы взаймы проливают. Сказала я, что брат мой (как и отец) — бортник, в лесу они

собирают по деревьям мед диких пчел. Вот и сейчас брат ушел бортничать, залезет на дерево как можно повыше и вниз поглядывает, как бы не сорваться, ведь кто сорвался, тому конец! Потому я и сказала: "Сквозь ноги смерти в глаза глядеть".

— Вижу, мудрая ты девица, — говорит юноша, — а как же звать тебя?

— Зовут меня Феврония.

— А я из дружины муромского князя Петра. Тяжело болеет наш князь — весь в язвах. Он своей рукой убил оборотня, змея летучего, и где обрызгала его кровь змеиная, там и струпья явились. Искал он лекаря в своем княжестве, многие его лечили, никто не вылечил. Приказал сюда себя привезти: говорят, здесь много искусных целителей. Да не знаем мы, как их звать и где они живут, вот и ходим, спрашиваем о них.

Феврония подумала и говорит:

— Только тот может князя твоего вылечить, кто себе его потребует.

Дружинник спрашивает:

— Как это говоришь, что себе потребует князя моего? Для того, кто его вылечит, князь Петр не пожалеет никаких богатств. Ты скажи мне имя его, кто он и где живет.

— Приведи князя твоего сюда. Если он добросердечен и не высокомерен, то будет здоров, — ответила Феврония.

Вернулся дружинник к князю и все ему подробно рассказал, что видел и слышал. Князь Петр приказал отвезти его к этой мудрой девушке.

Привезли его к дому Февронии. Князь послал к ней слугу своего спросить:

— Скажи, девушка, кто это хочет меня вылечить? Пусть исцелит меня от язв — и получит богатую мзду.

А она прямо и говорит:

— Я сама буду лечить князя, но богатств от него

никаких не требую. Скажи ему от меня так: если не буду его супругой, не надо мне и лечить его.

Вернулся слуга и доложил князю все, что сказала девушка. Князь Петр не принял всерьез ее слов, он подумал: "Как это мне, князю, жениться на дочери бортника?" И послал к ней сказать:

— В чем же тайна врачевства твоего, начинай лечить. А если вылечишь, возьму тебя в жены.

Посланный передал ей слова князя; она взяла небольшую плошку, зачерпнула из дежи хлебной закваски, дунула на нее и говорит:

— Истопите вашему князю баню, а после бани пусть мажет по всему телу свои язвы и струпья, но один струп пусть оставит непомазанным. И будет здоров!

И принесли князю эту мазь. И велел он истопить баню, но, прежде чем довериться ее снадобью, решил князь испытать ее мудрость хитрыми задачами. Запомнились ему ее мудрые речи, которые передал первый его слуга. Послал ей малый пучок льну и велел передать: "Коли хочет эта девушка супругой моей стать, пусть покажет нам мудрость свою. Если она и вправду мудрая, пусть из этого льна сделает мне рубаху, портки и полотенце за то время, пока я буду в бане париться".

Слуга принес ей пучок льну и передал княжий наказ. Она велела слуге:

— Заберись-ка на эту печь, сними с грядки сухое поленце, принеси сюда.

Слуга послушно достал ей полено. Отмерила она одну пядь и говорит:

— Отсеки этот кусок от поленца.

Он отрубил. Тогда она говорит:

— Возьми эту чурочку, отнеси князю своему и скажи от меня: "За то время, пока я пучок льну очешу, пусть князь из этой чурочки сделает мне ткацкий стан и все снаряды, чтобы выткать полотно ему на белье".

Слуга отнес князю чурочку и пересказал речи девуш-

ки. Князь посмеялся и послал его назад:

— Иди скажи девушке, что нельзя из такой малой чурки в такое малое время столько изделий приготовить.

Слуга передал слова князя. Феврония только того и ждала.

— Ну, спроси тогда его, разве можно из такого пучка льну взрослому мужчине за то время, пока он в бане попарится, выделать и рубашку, и портки, и полотенце?

Слуга пошел и передал ответ князю. Выслушал князь и подивился: ловко ответила.

После этого сделал он, как велела девушка: помылся в бане и помазал все язвы и струпья ее мазью, а один струп оставил непомазанным. Вышел из бани — и болезни не чувствует, а наутро глядит — все тело чисто и здорово, только один струп остался, что он не помазал, как велела девушка. Изумился он быстрому исцелению. Однако не захотел взять ее в жены из-за низкого ее рода и послал ей богатые дары. Она даров не приняла.

Уехал князь Петр в свою вотчину, в город Муром, совсем здоровым. Но оставался на теле у него один струп, оттого что не помазал его целебной мазью, как наказывала девушка. Вот от этого-то струпа и пошли по всему телу новые струпья и язвы с того самого дня, как уехал он от Февронии. И опять тяжело заболел князь, как и в первый раз.

Пришлось вернуться к девушке за испытанным лечением. Добрались до ее дому, и как ни стыдно князю было, послал к ней опять просить исцеления.

Она, нимало не гневаясь, говорит:

— Если станет князь моим супругом, то будет совсем исцелен.

Тут уж он твердое слово дал, что возьмет ее в жены.

Она, как и прежде, дала ему закваски и велела

выполнить то же самое лечение. Князь совсем вылечился и женился на ней. Таким-то чином стала Феврония княгиней.

Приехали они в отчизну князя, в город Муром, и жили благочестиво, блюдя Божии заповеди.

Когда же умер в скором времени князь Павел, стал князь Петр самодержавным правителем в своем городе.

Бояре муромские не любили Февронию, поддавшись наущению жен своих, а те ее ненавидели за низкий род. Но славилась она в народе добрыми делами своими.

Раз пришел один ближний боярин к князю Петру, чтоб поссорить его с женой, и сказал:

— Ведь она из-за стола княжеского каждый раз не по чину выходит. Перед тем как встать, всегда собирает она со скатерти крошки, как голодная.

Захотел князь Петр проверить это и приказал раз накрыть ей стол рядом с собой. Когда обед подошел к концу, она, как с детства привыкла, смахнула крошки в горсть. Князь взял ее за руку, велел раскрыть кулачок и видит: на ладони у нее благоуханная смирна и фимиам. С того дня он больше уже ее не испытывал.

Прошло еще время, и пришли к нему бояре, гневные и мятежные:

— Мы хотим, князь Петр, праведно тебе служить, как нашему самодержцу, но не хотим, чтобы Феврония была княгиней над нашими женами. Если хочешь остаться у нас на княжом столе, возьми другую княгиню, а Феврония, получив изрядное богатство, пусть идет от нас, куда хочет.

Князь Петр всегда был спокойного нрава и без гнева и ярости ответил им:

— Скажите-ка сами об этом княгине Февронии, послушаем, что она вам на это скажет.

Мятежные бояре, потеряв всякий стыд, устроили пиршество, и, когда хорошо выпили, развязались у

них языки и начали отрицать они ее чудесный дар исцеления, которым Бог наградил ее не только при жизни, но и по смерти. Под конец пира собрались они возле князя с княгинею и говорят:

— Госпожа княгиня Феврония! От всего города и от боярства говорим тебе: дай нам то, о чем мы тебя попросим.

Она ответила:

— Возьмите, чего просите.

Тогда бояре в один голос закричали:

— Мы все хотим, чтоб князь Петр был владыкой над нами, а наши жены не хотят, чтоб ты правила ими. Возьми богатства, сколько хочешь, и уезжай, куда тебе угодно.

Она им и говорит:

— Я обещала вам, что получите то, чего просите. А теперь обещайте вы дать мне то, чего я у вас попрошу.

Бояре же, недогадливые, обрадовались, думая, что легко от нее откупятся, и поклялись:

— Что ни попросишь, сразу же беспрекословно отдадим тебе!

Княгиня и говорит:

— Ничего мне от вас не надо, только супруга моего, князя Петра.

Подумали бояре и говорят:

— Если князь Петр сам того захочет, ни слова перечить не будем.

Злобные их души озарились дьявольской мыслью, что вместо князя Петра, если он уйдет с Февронией, можно поставить другого самодержца, и каждый из них втайне надеялся стать этим самодержцем.

Князь Петр не мог нарушить заповедь Божию ради самодержавства. Ведь сказано: "Кто прогонит жену, не обвиненную в прелюбодеянии, и женится на другой, тот сам станет прелюбодеем". Поэтому князь Петр решил отказаться от княжества.

Бояре приготовили им большие суда, потому что под Муромом протекает река Ока, и уплыли князь Петр с супругою своею на этих судах.

Среди приближенных был с ними на судне один человек со своей женой. Соблазняемый бесом, этот человек не мог наглядеться на княгиню Февронию, и смущали его дурные помыслы. Она угадала его мысли и говорит как-то ему:

— Зачерпни-ка воды с этой стороны судна и испей ее.

Он сделал это.

— Теперь зачерпни с другой стороны и испей.

Испил он опять.

— Ну как? Одинакова на вкус или одна слаще другой?

— Вода как вода, и с той стороны и с этой.

— И женское естество одинаково. Почему же, забывая свою жену, ты о чужой помышляешь?

И понял боярин, что она читает чужие мысли, не посмел больше предаваться грешным помыслам.

Плыли они весь день до вечера, и пришла пора причалить к берегу на ночлег. Вышел князь Петр на берег, ходит по берегу и размышляет: "Что теперь с нами будет, не напрасно ли я сам лишил себя самодержавства?"

Прозорливая же Феврония, угадывая его мысли, говорит ему:

— Не печалься, князь, милостивый Бог и жизни наши строит, он не оставит нас в унижении.

Тут же на берегу слуги готовили княжеский ужин. Срубили несколько деревьев, и повар повесил на двух суковатых рассошках свои котлы. После ужина проходила княгиня Феврония по берегу мимо этих рассошек, благословила их и говорит:

— Пусть вырастут из них наутро деревья с ветками и листвою!

Так и сбылось. Встали утром, а на месте раскошек большие деревья шумят листвою. И только хотели люди собирать шатры и утварь, чтобы переносить их на суда, прискакало посольство из города Мурома челом бить князю:

— Господин наш князь! Мы пришли к тебе от всего города, не оставь нас, сирот твоих, вернись в свою вотчину. Мятежные вельможи муромские друг друга перебили, каждый хотел стать самодержцем, и все от меча погибли. А остальные вельможи и весь народ молят тебя: "Князь, господин наш, прости, что прогневали мы тебя! Говорили тебе лихие бояре, что не хотят, чтоб княгиня Феврония правила женами нашими, но теперь нет уж их, все мы однодушно тебя с Февронией хотим, и любим, и молим, не покидайте рабов своих!"

И вернулись князь Петр и княгиня Феврония в Муром. Правили они в городе своем по законам Божьим и были милостивы к своим людям, как чадолюбивые отец и мать. Со всеми были равно сердечны, не любили только спесивых и грабительствующих, не жадны были к земным богатствам, но для вечной жизни богатели. Истинными пастырями города они были, не яростью и страхом правили, а истиной и справедливостью. Странствующих принимали, голодных кормили, нищих одевали, несчастных от гонений избавляли.

Когда приблизилась их кончина, они молили Бога, чтобы в один час переселиться в лучший мир. И завещали, чтобы похоронили их в одной большой каменной гробнице с перегородкой посредине. В одно время облачились они в иноческие одежды и приняли монашество. Князя Петра называли в иночестве Давидом, а Февронию — Евфросинией.

Перед самой кончиной княгиня Феврония вышила покров с ликами Святых на престольную чашу для собора.

Приняв иночество, князь Петр, названный теперь Давидом, послал сказать ей: "О сестра Евфросиния! Близка моя кончина, но жду тебя, чтобы вместе покинуть этот мир."

Она ответила: "Подожди, господин мой, сейчас дошью покров для Святой церкви".

И во второй раз прислал князь сказать: "Недолго могу ждать тебя".

И в третий раз послал: "Отхожу из этого мира, не могу больше ждать!"

Княгиня-инокиня в это время вышивала последний покров, уже вышила лик святого и руку, а одежды его еще не вышила и, услышав зов супруга своего, воткнула иглу, замотала вокруг нее нитку и послала сказать князю Петру — в иночестве Давиду, — что и она готова.

В пятницу, 20 июня, отдали они оба душу Богу.

После их кончины церковнослужители решили положить тело князя Петра в соборной церкви Пречистой Богородицы в Муроме, а тело княгини Февронии — в загородном женском монастыре, в церкви Воздвижения животворящего креста, так как нельзя, дескать, мужа и жену положить в одном гробе, раз они стали иноками. Сделали для них отдельные гробницы и похоронили святого Петра в городском соборе, а святую Февронию в другой гробнице в загородной Воздвиженской церкви. А ту двойную каменную гробницу, что они велели сделать себе еще при жизни, оставили пустою в том же городском соборе.

Но на другой день утром увидели, что отдельные их гробницы пусты, а святые тела князя и княгини покоятся в той общей гробнице, которую они велели сделать для себя перед смертью. И те же неразумные люди, что пытались при жизни разлучить их, нарушили их покой после смерти: они снова перенесли святые тела в особые гробницы. И на третье утро увидели опять

тела князя и княгини в общей гробнице. После этого больше уже не смели трогать их святые тела, и так и остались они в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, где сами велели себя похоронить.

Мощи их даровал Бог городу Мурому во спасение: всякий, кто с верою приходит к гробнице с их мощами, получает исцеление.

ЖИТИЕ ПРОТОПОПА АВВАКУМА

Фрагмент

Посем указ пришел: велено меня из Тобольска на Лену вести за сие, что браню от Писания и укоряю ересь Никонову. В та же времена пришла ко мне с Москвы грамотка. Два брата жили у царицы вверху, а оба умерли в мор и с женами и с детьми: и многия друзья и сродники померли. Излился Бог на царство фиял гнева Своего! Да не узнались горюны однако, — церковью мятут. Говорил тогда и сказывал Неронов царю три пагубы за церковной раскол: мор, меч, разделение: то и сбылось во дни наша ныне. Но милостив Господь: наказав, покаяния ради и помилует нас, прогнав болезни душ наших и телес, и тишину подаст. Уповаю и надеюсь на Христа: ожидаю милосердия Его и чаю воскресения мертвым.

Таже сел опять на корабль свой, еже и показан ми, что выше сего рекох, — поехал на Лену. А как приехал в Енисейской, другой указ пришел: велено в Дауры вести — дватцетъ тысящ и болши будет от Москвы. И отдали меня Афонасью Пашкову в полк, — людей с ним было 6 сот человек; и грех ради моих суров человек: беспрестанно людей жжет, и мучит, и бьет. И я ево много уговаривал, да и сам в руки попал. А с Москвы от Никона приказано ему мучить меня.

Егда поехали из Енисейска, как будем в большой

Тунгуске реке, в воду загрузило бурею дощеник мой совсем: налился среди реки полон воды, и парус изорвало, — одны полубы над водою, то все в воду ушло. Жена моя на полубы из воды робят кое-как вытаскала, простоволоса ходя. А я, на небо глядя, кричу: "Господи, спаси! Господи, помози!" И Божию волею прибило к берегу нас. Много о том говорить! На другом дощенике двух человек сорвало, и утонули в воде. Посем, оправая на берегу, и опять поехали вперед.

Егда приехали на Шаманской порог, навстречу приплыли люди иные к нам, а с ними две вдовы — одна лет в 60, а другая и болши: пловут пострищись в монастырь. А он, Пашков, стал их ворочать и хочет замуж отдать. И я ему стал говорить: "по правилам не подобает таковых замуж давать". И чем бы ему, послушав меня, и вдов отпустить, а он вздумал мучить меня, осердясь. На другом, Долгом пороге стал меня из дощеника выбивать: "для-де тебя дощеник худо идет! еретик-де ты! поди-де по горам, а с казаками не ходи!" О, горе стало! Горы высокие, дебри непроходимая, утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть заломя голову! В горах тех обретаются змеи великие; в них же витают гуси и утицы — перие красное, вороны черные, а галки серые; в тех же горах орлы, и соколы, и кречаты, и курята индейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие — многое множество птицы разные. На тех же горах гуляют звери многие дикие: козы, и олени, изубри, и лоси, и кабаны, волки, бараны дикие — во очию нашу, а взять нельзя! На те горы выбивал меня Пашков, со зверьми, и со змиями, и со птицами витать. И аз ему малое писанейце написал, сие начало: "человече! убойся Бога, сидящаго на херувимех и призирающаго в безны, Его же трепещут небесныя силы и вся тварь со человеки, един ты презираешь и неудобство показуешь", — и прочая: там многонько писано: и послал к нему. А се бегут человек с пятьдесят: взяли

мой дощеник и помчали к нему, — версты три от него стоял. Я казакам каши наварил да кормлю их: и оне, бедные, и едят и дрожат, а иные, глядя, плачут на меня, жалеют по мне. Привели дощеник: взяли меня палачи, привели перед него. Он со шпагою стоит и дрожит: начал мне говорить: "поп ли ты или роспоп?"; и аз отвечал: "аз есмь Аввакум протопоп; говори: что тебе дело до меня?" Он же рыкнул, яко дивий зверь, и ударил меня по щоке, таже по другой и паки в голову, и сбил меня с ног и, чекан ухвата, лежачева по спине ударил трижды и, разболокши, по той же спине семьдесят два удара кнутом. А я говорю: "господи Исусе Христе, сыне Божий, помогай мне!" Да то ж, да то ж беспрестанно говорю. Так горько ему, что не говорю: "пощади!" Ко всякому удару молитву говорил, да осреди побой вскричал я к нему: "полно бить тово!" Так он велел перестать. И я промолыл ему: "за что ты меня бьешь? ведаешь ли?" И он паки велел бить по бокам, и отпустили. Я задрожал, да и упал. И он велел меня в казенной дощеник оттащити: сковали руки и ноги и на беть кинули. Осень была, дождь на меня шел, всю ночь под капелию лежал. Как били, так не больно было с молитвою тою; а лежа, на ум взбрело: "за что ты, сыне Божий, попустил меня ему таково больно убить тому? Я веть за вдовы твои стал! Кто даст судию между мною и тобою? Когда воровал, и ты меня так не оскорблял, а ныне не вем, что согрешил!" Бытто доброй человек — другой фарисей с говенною рожею, — со владыкою судитца захотел! Аще Иев и говорил так, да он праведен, непорочен, а се и Писания не разумел, вне закона, во стране варварстей, от твари Бога познал. А я первое — грешен, второе — на законе почиваю и Писанием отвсюду подкрепляем, яко многими скорбьми подобает нам внити во Царство небесное, а на такое безумие пришел! Увы мне! Как дощеник-то в воду ту не погряз со мною? Стало у меня в те поры кости те

щемить и жилы те тянуть, и сердце зашлось, да и умирать стал. Воды мне в рот плеснули, так вздохнул да покаялся пред Владыкою, а Господь-свет милостив: не поминает наших беззаконных первых покаяния ради; и опять не стало ништо болеть.

Наутро кинули меня в лотку и напредь повезли. Егда приехали к порогу, к самому большему, Падуну, — река о том месте шириною с версту, три залавка чрез всю реку зело круты, не воротами што попловет, ино в щепы изломает, — меня привезли под порог. Сверху дождь и снег, а на мне на плеча накинута кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине, — нужно было гораздо. Из лотки вытаща, по каменью скована окол порога тащили. Грустно гораздо, да душе добро: не пеняю уж на Бога вдругорят. На ум пришли речи, пророком и апостолом реченныя: "сыне, не пренемогай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличаем. Его же любит Бог, того наказует: биет же всякаго сына, его же приемлет. Аще наказание терпите, тогда яко сыном обретается вам Бог. Аще ли без наказания приобщаетесь Ему, то выблядки, а не сынове есте". И сими речьми тешил себя.

Посем привезли в Брацкой острог и в тюрьму кинули, соломки дали. И сидел до Филипова поста в студеной башне; там зима в те поры живет, да Бог грел и без платья. Что собачка, в соломке лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их скуфьею бил, — и батошка не дадут дурачки! Все на брюхе лежал: спина гнила. Блох да вшей было много. Хотел на Пашкова кричать: "прости!" — да сила Божия возбранила, — велено терпеть. Перевел меня в теплую избу, и я тут с аманатами и собаками жил скован зиму всю. А жена с детьми верст с дватцетъ была сослана от меня. Баба ея Ксенья мучила зиму ту всю, — лаяла да укоряла. Сын Иван — невелик был — прибрел ко мне побывать после Христова рождества, и Пашков

велел кинуть в студеную тюрьму, где я сидел: начевал милой и замерз было тут. И на утро опять велел к матери протолкать. Я ево и не видал. Приволокся к матери, — руки и ноги ознобил.

На весну паки поехали впредь. Запасу небольшое место осталось, а первой разграблен весь: и книги и одежда иная отнята была, а иное и осталось. На Байкалове море паки тонул. По Хилке по реке заставил меня лямку тянуть: зело нужен ход ею был, — и поесть было неколи, нежели спать. Лето целое мучилися. От водяные тяготы люди изгибали, и у меня ноги и живот синь был. Два лета в водах бродили, а зимами чрез волоки волочилися. На том же Хилке в третье тонул. Барку от берегу оторвало водою, — людские стоят, а мою ухватило, да и понесло! Жена и дети остались на берегу, а меня сам-друг с кормщиком помчало. Вода быстрая, переворачивает барку вверх боками и дном; а я на ней ползаю, а сам кричу: "владычице, помози! упование, не утопи!" Иное ноги в воде, а иное выползу наверх. Несло с версту и больши; да люди переняли. Все розмыло до крохи! Да што петь делать, коли Христос и пречистая Богородица изволили так? Я, вышед из воды, смеюсь; а люди-те охают, платье мое по кустам развешивая, шубы отласные и тафтяные, и кое-какие безделицы тое иного еще было в чемоданах да в суммах; все с тех мест перегнило — наги стали. А Пашков меня же хочет опять бить: "ты-де над собою делаешь за посмеих!" И я паки Свету-Богородице докучать: "Владычице, уйми дурака тово" Так Она-надежа уняла: стал по мне тужить.

Потом доехали до Иргеня озера: волок тут, — стали зимою волочитца. Моих работников отнял, а иным у меня нанятца не велит. А дети маленькие были; едоков много, а работать некому: один бедной горемыка-протопоп нарту сделал и зиму всю волочился за волок. Весною на плотах по Ингоде реке поплыли на низ.

Четвертое лето от Тобольска плаванию моему. Лес гнали хоромной и городской. Стало нечева есть; люди учили с голоду мереть и от работных водяных бродни. Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие — огонь да встряска, люди голодные: лишю станут мучить — ано и умрет! Ох, времени тому! Не знаю, как ум у него отступился. У протопопицы моей однарятка московская была, не сгнила, — по-русскому рублев в полтретьяцеть и большти по-тамошнему. Дал нам четыре мешка ржи за нея, и мы год-другой тянулись, на Нерче реке живучи, с травой перебиваючися. Все люди с голоду поморил, никуды не отпускал промыслять, — осталось небольшое место; по степям скитающиеся и по полям, траву и корение копали, а мы — с ними же; а зимою — сосну; а иное кобылятины Бог даст, и кости находили от волков пораженных зверей, и что волк не доест, мы то доедим. А иные и самых озяблых ели волков, и лисиц, и что получит — всякую скверну. Кобыла жеребенка родит, а голодные втай и жеребенка и место скверное кобылье съедят. А Пашков, сведав, и кнутом до смерти забьет. И кобыла умерла, — все извод взял, понеже не по чину жеребенка тово вытащили из нея: лишю голову появил, а оне и выдернули, да и почали кровь скверную есть. Ох, времени тому! И у меня два сына маленьких умерли в нуждах тех, а с прочими, скитающиеся по горам и по острому камению, наги и боси, траву и корением перебивающиеся, кое-как мучилися. И сам я, грешной, волею и неволею причастен кобыльим и мертвечьим звериным и птичьим мясам. Увы грешной душе! Кто даст главе моей воду и источник слез, да же оплачу бедную душу свою, юже зле погубих житейскими сластями? Но помогала нам по Христе болярня, воеводская сноха, Евдокея Кириловна, да жена ево, Афонасьева, Фекла Симеоновна: оне нам от смерти голод-

ной тайно давали отраду, без ведома ево, — иногда приплют кусок мяса, иногда колобок, иногда мучки и овседа, колько сойдется, четверть пуда и гривенку-другую, а иногда и полпудика накопит передаст, а иногда у коров корму из корыта нагребет. Дочь моя, бедная горемыка Огрофена, бродила втай к ней под окно. И горе, и смех! — иногда робенка погонят от окна без ведома бояронины, а иногда и многонько притащит. Тогда невелика была; а ныне у ей 27 годов, — девицею, бедная моя, на Мезени, с меньшими сестрами перебиваясь кое-как, плачючи живут. А мать и братья в земле закопаны сидят. Да што же делать? пускай горькие мучатся все ради Христа! Быть тому так за Божию помощь. На том положено, ино мучитца веры ради Христовы. Любил, протопоп, со славными знатца, люби же и терпеть, горемыка до конца. Писано: "не начный блажен, но скончавый". Полно тово; на первое возвратимся.

Было в Даурской земле нужды великие годов с шесть и семь, а во иные годы оградило. А он, Афонасей, наветуя мне, беспрестанно смерти мне искал. В той же нужде прислал ко мне от себя две вдовы, — сенныя ево любимые были, — Марья да Софья, одержимы духом нечистым. Ворожа и колдуя много над ними, и видит, яко ничто же успевает, но паче молва бывает — зело жестоко их бес мучит, бьются и кричат; призвал меня и поклонился мне, говорит: "пожалуй, возьми их ты и попекися об них, Бога моля; послушает тебя Бог". И я ему отвечал: "господине! выше меры прошение; но за молитв святых отец наших вся возможна суть Богу". Взял их, бедных. Простите! Во искусе то на Руси бывало, — человека три-четыре бешаных приведших бывало в дому моем, и, за молитв святых отец отхождаху от них беси, действием и повелением Бога живаго и Господа нашего Исуса Христа, Сына Божия-света. Слезами и водою покроплю и маслом помажу, молеб-

ная певше во имя Христово, и сила Божия отгоняше от человек бесы, и здрави бываху, не по достоинству моему, — ни никакo же, — но по вере приходящих. Древле благодать действоваше ослом при Валааме, и при Улиане мученике — рысью, и при Сисинии — оленем: говорили человеческим гласом. Бог идеже хочет, побеждается естества чин. Чти житие Феодора Едесскаго, тамо обрящеши: и блудница мертваго воскресила. В Кормчей писано: не всех Дух святой рукополагает, но всеми, кроме еретика, действует.

Таже привели ко мне баб бешаных; я, по обычаю, сам постился и им не давал есть, молебствовал, и маслом мазал, и, как знаю, действовал; и бабы о Христе целоумны и здравы стали. Я их исповедал и причастил. Живут у меня и молятся Богу; любят меня и домой не идут. Сведal он, что мне учинилися дочери духовные, осердился на меня опять пущи старова, — хотел меня огне жжечь: "ты-де выведываешь мое тайны!" А как петь-су причастить, не исповедав? А не причастив бешанова, ино беса совершенно не отгонишь. Бес-то веть не мужик: батoга не боится; боится он креста Христова, да воды святыя, да священнаго масла, а совершенно бежит от тела Христова. Я, кроме сих тайн, врачевать не умею. В нашей православной вере без исповеди не причащают; в римской вере творят так, — не брегут о исповеди; а нам, православие блюдущим, так не подобает, но на всяко время покаяние искати. Аще священника, нужды ради, не получишь, и ты своему брату искусному возвести согрешение свое, и Бог простит тя, покаяние твое видеv, и тогда с правильцом причащайся святых таин. Держи при себе запасный агнец. Аще в пути или на промысле, или всяко прилучится, кроме церкви, воздохня пред Владыкою и, по вышереченному, ко брату исповедався, с чистою совестью причастися святыни: так хорошо будет! По посте и по правиле пред образом Христовым на коро-

бочку постели платочик и свечку зажги, и в сосудце водицы маленько, да на ложечку почерпни и часть тела Христова с молитвою в воду на лошку положи и кадилом вся покади, поплавав, глаголи: "верую, Господи, и исповедую, яко ты еси Христос Сын Бога живаго, пришедый в мир грешники спасти, от них же первый есмь аз. Верую, яко воистину се есть самое пречистое тело твое, и се есть самая честная кровь твоя. Его же ради молю Ти ся, помилуй мя и прости ми и ослаби ми согрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, яже разумом и мыслию, и сподоби мя не осужденно причаститься пречистых Ти таинств во оставление грехов и в жизнь вечную, яко благословен еси во веки. Аминь". Потом, падше на землю пред образом, прощение проговори и, восстав, образы поцелуй и, прекрестясь, с молитвою причастися и водицею запей и паки Богу помолись. Ну, слава Христу! Хотя и умрешь после того, ино хорошо. Полно про то говорить. И сами знаете, что доброе добро. Стану опять про баб говорить.

Взял Пашков бедных вдов от меня; бранит меня вместо благодарения. Он чаял: Христос просто положит; ано пущи и старова стали беситца. Запер их в пустую избу, ино никому приступу нет к ним; призвал к ним чернова попа, и оне ево дровами бросают, — и поволокся прочь. Я дома плачу, а делать не ведаю что. Приступить ко двору не смею: больно сердит на меня. Тайно послал к ним воды святые, велел их умыть и напоить, и им, бедным, легче стало. Прибтели сами ко мне тайно, и я помазал их во имя Христово маслом, так опять, дал Бог, стали здоровы и опять домой пошли да по ночам ко мне прибегали тайно молитца Богу. Изрядные детки стали, играть перестали и правильца держатца стали. На Москве с бояронею в Вознесенском монастыре вселились. Слава о них Богу!

Таже с Нерчи реки паки назад возвратилися к Русе.

Пять недель по льду голому ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопопица брели пеши, убивающесе о лед. Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошедьми итти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, — кольско гораздо! В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек на нея набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: "матушка-государыня, прости!" А протопопица кричит: "что ты, батько, меня задавил?" Я пришел, — на меня, бедная, пеняет, говоря: "долго ли муки сея, протопоп, будет?" И я говорю: "Марковна, до самыя до смерти!" Она же вздохня, отвечала: "добро, Петрович, ино еще побредем".

Курочка у нас черненька была; по два яичка на день приносила робяти на пищу, Божиим повелением нужде нашей помогая; Бог так строил. На нарте везучи, в то время удавили по грехом. И нынеча мне жаль курочки той, как на разум приидет. Ни курочка, ни што чюдо была: во весь год по два яичка на день давала; сто рублей при ней плюново дело, железо! А та птичка одушевленна, Божие творение, нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или и рыбки прилучится, и рыбку клевала; а нам против тово по два яичка на день давала. Слава Богу, вся строившему благая! А не просто нам она и досталася. У боярони куры все переслепли и мереть стали; так она, собравше в короб, ко мне их прислала, чтоб-де батько пожаловал — помолился о курах. И я-су подумал: кормилица то есть наша, детки у нея, надобно ей курки. Молебен пел, воду святил, куров кропил и кадил; потом в лес сбродил, корыто им сделал, из чево есть, и водою покропил, да к ней все и отслал. Куры Божиим мановением исцелели и исправилися по вере ея. От тово-то племяни и наша курочка была. Да полно

тово говорить! У Христа не сегодня так повелось. Еще Козьма и Дамиян человеком и скотом благодествовали и целили о Христе. Богу вся надобно: и скотинка и птичка во славу его, пречистаго Владыки, еще же и человека ради.

Таже приволоклись паки на Иргень озеро. Бояроня пожаловала, — прислала сковородку пшеницы, и мы кутьи наелись. Кормилица моя была Евдокея Кириловна, а и с нею дьявол ссорил, сице: сын у нея был Симеон, — там родился, я молитву давал и крестил, на всяк день присылала ко мне на благословение, и я, крестом благословя и водою покропя, поцеловав ево, и паки отпускаю; дитя наше здорово и хорошо. Не прилучилось меня дома; занемог младенец. Смалодушничав, она, осердясь на меня, послала робенка к шептуну-мужику. Я, сведав, осердился ж на нея, и меж нами пря велика стала быть. Младенец пуци занемог; рука правая и нога засохли, что батошки. В зазор пришла; не ведает, что делать, а Бог пуци угнетает. Робеночек на кончину пришел. Пестуны, ко мне приходя, плачут; а я говорю: "коли баба лиха, живи же себе одна!" Я ожидаю покаяния ея. Вижу, яко ожесточил диявол сердце ей; припал ко Владыке, чтоб образумил ей. Господь же, премилостивый Бог, умяхчил ниву сердца ея: прислала на утро сына среднева Ивана ко мне, со слезами просит прощения матери своей, ходя и кланяясь около печи моей. А я лежу под берестом наг на печи, а протопопица в печи, а дети кое-где: в дождь прилучилось, одежды не стало, а зимовье каплет, — всяко мотаемся. И я, смиряя, приказываю ей: "вели матери прощения просить у Орефы колдуна". Потом и больнова принесли, велела перед меня положить; и все плачут и кланяются. Я-су встал, добыл в грязи патрахель и масло священное нашол. Помоля Бога и покадя, младенца помазал маслом и крестом благословил, Робенок, дал Бог, и опять здоров стал, — с рукою и с

ногою. Водю святою ево напоил и к матери послал. Виждь, слышателю, покаяние матерне колику силу сотвори: душу свою изврачевала и сына исцелила! Чему быть? — не сегодня кающихся есть Бог! На утро прислала нам рыбы да пирогов, а нам то, голодным, надобе. И с тех мест помирились. Выехав из Даур, умерла, миленькая, на Москве; я и погребал в Вознесенском монастыре. Сведаль то и сам Пашков про младенца, — она ему сказала. Потом я к нему пришел. И он, поклоняся низенько мне, а сам говорит: "спаси Бог! отечески творишь, — не помнишь нашева зла". И в то время пищи довольно прислал.

А опосле тово вскоре хотел меня пытать; слушай, за что. Отпускал он сына своего Еремея в Мунгальское царство воевать, — казаков с ним 72 человека да иноземцов 20 человек, — и заставил иноземца шаманить, сиречь гадать: удаст ли ся им и с победою ли будут домой? Волхв же той мужик, близ моего зимовья, привел барана живова в вечер и учал над ним волхвовать, вертя ево много, и голову прочь отвертел и прочь отбросил. И начал скакать, и плясать, и бесов призывать и, много кричав, о землю ударился, и пена изо рта пошла. Беси давили ево, а он спрашивал их: "удастся ли поход?" И беси сказали: "с победою великою и с богатством большим будете назад". И воеводы ради, и все люди радуйся говорят: "богаты приедем!" Ох, душе моей тогда горько и ныне не сладко! Пастырь худой погубил своя овцы, от горести забыл реченное во Евангелии, егда Зеведеевичи на поселян жестоких советовали: "Господи, хочещи ли, речеве, да огонь снидет с небесе и потребит их, яке же и Илия сотвори". Обращь же ся Исус и рече им: "не веста, коего духа еста вы; Сын бо человеческий не прииде душ человеческих погубити, но спасти. И идоша во ину весь." "А я, окаянной, сделал не так. Во хлевине своей кричал с воплем ко Господу: "послушай мене, Боже! послушай

мене, Царю небесный, свет, послушай мене! да не возвратится вспять ни один от них, и гроб им там устройши всем, приложи им зла, Господи, приложи, и погибель им наведи, да не сбудется пророчество дьявольское!" И много тово было говорено. И втайне о том же Бога молил. Сказал ему, что я так молюсь, и он лишь излалял меня. Потом отпустил с войским сына своего. Ночью поехали по звездам. В то время жаль мне их: видит душа мол, что им побитым быть, а сам таки на них погибели молю. Иные, приходя, прощаются ко мне; а я им говорю: "погибнете там!" Как поехали, лошади под ними взоржали вдруг, и коровы тут взревели, и овцы и козы заблеяли и собаки взвыли, и сами иноземцы, что собаки, завыли; ужас на всех напал. Еремей весть со слезами ко мне прислал: чтоб батюшко-государь помолился за меня. И мне ево стало жаль. А се друг мне тайной был и страдал за меня. Как меня кнутом отец ево бил, и стал разговаривать отцу, так со шпагою погнался за ним. А как приехали после меня на другой порог, на Падун, 40 дощеников все прошли в ворота, а ево, Афонасьев, дощеник, — снасть добрая была, и казаки все шесть сот промышляли о нем, а не могли взвести, — взяла силу вода, паче же рещи — Бог наказал! Стащило всех в воду людей, а дощеник на камень бросила вода; чрез ево льется, а в нево не идет. Чюдо, как то Бог безумных тех учит! Он сам на берегу, бояроня в дощенике. И Еремей стал говорить: "батюшко, за грех наказует Бог! напрасно ты протопопа тово кнутом тем избил; пора покаятца, государь!" Он же рыкнул на него, яко зверь, и Еремей, к сосне отклонясь, прижав руки, стал, а сам, стоя "Господи помилуй!" говорит. Пашков же, ухвати у малова колешчатую пищаль, — никогда не лжет, — приложася на сына, курок спустил, и Божию волею осеклася пищаль. Он же, поправя порох, опять спустил, и паки осеклась пищаль. Он же и в третьи так же

сотворил; пищаль и в третьи осеклася же. Он ее на землю и бросил. Малой, подняв, на сторону спустил; так и выстрелила! А дощеник единаче на камени под водою лежит. Сел Пашков на стул, шпагою подперся, задумався и плакать стал, а сам говорит: "согрешил, окаянной, пролил кровь неповинну, напрасно протопопа бил; за то меня и наказует Бог!" Чюдно, чюдно! по Писанию: "яко косен Бог во гнев, а скор на послушание"; дощеник сам, покаяния ради, сплыл с камени и стал носом против воды; потянули, он и взбежал на тихое место тотчас. Тогда Пашков, призвав сына к себе, промолыл ему: "прости, барте, Еремей, правду ты говоришь!" Он же, прискоча, пад, поклонився отцу и рече: "Бог тебя, государя, простит! я пред Богом и пред тобою виноват!" И взяв отца под руку, повел. Гораздо Еремей разумен и добр человек: уж у него и своя седа борода, а гораздо почитает отца и боится его. Да по Писанию и надобе так: Бог любит тех детей, которые почитают отцов. Виждь, слышателю, не страдал ли нас ради Еремей, паче же ради Христа и правды Его? А мне сказывал кормщик ево, Афонасьева, дощеника, — тут был, — Григорей Тельной.

На первое возвратимся. Отнеле же отошли, поехали на войну. Жаль стало Еремея мне: стал Владыке докучать, чтоб ево пощадил. Ждали их с войны, — не бывали на срок. А в те поры Пашков меня и к себе не пускал. Во един от дней учредил застенок и огонь росклат — хочет меня пытать. Я ко исходу душевному и молитвы проговорил; ведаю ево стряпанье, — после огня тово мало у него живут. А сам жду по себя и, сидя, жене плачущей и детям говорю: "воля Господня да будет! Аще живем, Господеви живем, аще умираем, Господеви умираем. А се и бегут по меня два палача. Чюдно дело Господне и неизреченны судьбы Владычни! Еремей ранен сам-друг дорошкою мимо избы и двора моего едет, и палачей вскрикал и воротил с собою. Он

же, Пашков, оставя застенки, к сыну своему пришел, яже пьяной с кручины. И Еремей, поклоняся со отцем, вся ему подробну возвещает: как войско у него побили все без остатку, и как ево увел иноземец от мунгалских людей по пустым местам, и как по каменным горам в лесу, не ядше, блудил седмь дней, — одну съел белку, — и как моим образом человек ему во сне явился и, благословя ево, указал дорогу, в которую страну ехать; он же, вскоча, обрадовался и на путь выбрел. Егда он отцу рассказывает, а я пришел в то время поклониться им. Пашков же, возвед очи свои на меня, — слово в слово что медведь морской белой, жива бы меня проглотил, да Господь не выдаст! — вздохня, говорит: "так-то ты делаешь? Людей тех погубил столько!" А Еремей мне говорит: "батюшко, поди, государь, домой! молчи для Христа!" Я пошел. Десеть лет он меня мучил или я ево — не знаю; Бог разберет в день века.

КОММЕНТАРИИ

Повесть временных лет

Древнейшая из дошедших до нас русских летописей. Завершена около 1113 г. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором на основе более древнего летописания и других источников — Библии, документов, воспоминаний, былей, легенд, собственных впечатлений и наблюдений автора. Вошла в состав многих последующих русских летописей. Явилась важнейшим истоком русской литературы и одновременно — русской исторической науки.

Перевод Д. С. Лихачева.

Печ. по кн.: Повести Древней Руси. Л., Лениздат, 1983.

Стр. 95

Запись под 6406 (898) г.

Первая цифра означает дату согласно летоисчислению, принятому в Древней Руси ("от сотворения мира"), вторая — дату по новому летоисчислению, принятому в России с XVIII в.

Угры — древние венгры.

Половцы — тюркоязычный народ, в XI — XII вв. кочевавший в южно-русских

степях и состоявший с Русской землей в отношениях вражды и союзничества.

Волохи — римляне.

Фракийская земля — область на Востоке Балканского полуострова, в древности населенная индоевропейскими племенами, которые в ходе Великого переселения народов (IV — VII вв.) смешались с другими племенами, став одним из этнических элементов при формировании болгарского и румынского народов.

Македонская земля — область в центре Балканского полуострова, населенная племенами, которые явились основой при формировании македонского народа.

Селунь — город в Греции (Фессалоники).

Моравы — славянские племена, населявшие Моравию, историческую область в Европе (в IX — X вв. — земля Великоморавского государства; ныне в составе Чехии).

Ростислав — князь Великоморавского государства в 846 — 870 гг.

Святополк — князь, преемник Ростислава в 870 — 894 гг.

Коцел — князь Блатенского княжества (в районе озера Балатон).

Стр. 96

Михаил — царь Византии из Македонской династии, правившей в 877 — 1057 гг.

Мефодий (820 — 885) и Константин (в монашестве — Кирилл, 827 — 869) — сыновья Льва, военачальника из г. Фессалоники, философы и филологи, которые создали славянскую азбуку и перевели на славянский язык Библию.

Псалтирь — одна из книг Ветхого завета, содержащая псалмы — лирические песнопения (от греч. psalterion — струнный инструмент вроде гуслей).

Октоих — книга песнопений православного богослужения на восемь голосов (от греч. octo — восемь).

Стр. 97

Паннония — римская провинция в Восточной Европе.

Андроник — апостол (от греч. apostolos — посол), так называли первых проповедников христианства; согласно Евангелию, у Христа было 12 ближайших учеников — апостолов, которые знали Его лично, и еще 70 последователей — апостолов, которые несли Христово учение разным народам.

Павел — один из 70 апостолов и автор ряда произведений Евангелия.

Запись под 6496 (988) гг.

Владимир I (? — 1015) — князь новгородский (с 969), киевский (с 980); ввел в 988 — 989 христианство как государственную религию.

Корсунь — славянское название Херсонеса, греческой колонии в Крыму.

Стр. 98

Василий II (976 — 1025) и Константин VIII (976 — 1028) — византийские императоры-соправители.

Стр. 99

Васильев — город юго-западнее Киева, на берегу реки Стугны.

Климент — христианский святой, один из сподвижников апостола Павла; в 100 или 101 г., как говорит предание, по приказу римского императора Марка Ульпия Траяна был утоплен в море близ Херсонеса — Корсуня.

Стр. 100

Перун — славянский языческий бог — повелитель грома и молнии.

Поучение Владимира Мономаха и его письмо Олегу Святославичу

Владимир Всеволодович Мономах (1053 — 1125) — князь Смоленский, Черниговский, Переяславский, великий князь Киевский; внук по материнской линии Византийского императора Константина Мономаха (отсюда и прозвание, смысл которого — "единоборец"); прославлен как самый верный и грозный защитник единства и целостности Русской земли, борец против княжеских раздоров и половецких набегов. В Лаврентьевскую летопись (1377) под 6604 (1096) годом включены его сочинения: поучение детям и письмо двоюродному брату Олегу Святославичу (год рожд. неизвестен, умер в 1115), княжившему в Ростово-Суздальской и Волынской землях, прозванному Гориславичем за пренебрежение к общерусским интересам, за деятельное участие в междоусобной борьбе удельных князей и вовлечение половцев в эту борьбу. Размышления и воспоминания Владимира Мономаха опираются на христианскую мораль, содержат многочисленные ссылки на Псалтирь (см. примечания к "Повести временных лет") и другие книги Священного писания; здесь отразился обычай обращаться к Псалтири в моменты сомнений и печали, разгибать книгу и на открывшихся страницах искать совета, утешения или предсказания. Письмо Мономаха Олегу Святославичу, по мнению Д. С. Лихачева, "должно занять одно из первых мест в истории человеческой совести, если только эта история будет когда-либо написана"; несомненные истоки мыслей и настроений этого письма — Нагорная проповедь Иисуса Христа (Евангелие от Матфея, V, 9 — 48) и Псалтирь.

Перевод Д. С. Лихачева.

Печ. по кн.: Пламенное слово. Проза и поэзия Древней Руси. М., 1978.

Стр. 102

"*Сидя на саях*" — древнерусская поговорка, означающая примерно "на исходе дней своих": от языческой древности шел обычай нести умершего к месту погребения на саях.

"...*послы от братьев моих*" — двоюродные братья Мономаха Святополк Изяславич и Святослав Давыдович предлагали ему вступить в распри с потомками Переяславского князя Ростислава Всеволодовича, родного брата Мономаха, который утонул в Стугне во время битвы с половцами в 1093 г. (см. об этом также в примеч. к "Слову о полку Игореве").

Крестоцелование — обычай скреплять клятву целованием креста; в данном случае Мономах имеет в виду клятву, которую дали русские князья на съезде в Любече (1097). Это событие так изложено в "Повести временных лет": "Зачем губим русскую землю, сами между собою устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно, и рады, что между нами идут войны. Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей... И на том целовали крест: "Если отныне кто на кого пойдет, против того будем мы все и крест честной." Многие из участников съезда нарушили клятву; Мономах остался ей верен.

"...и вот что мне вынулось: "О чем печалишься душа моя?.." Мономаху, видимо, открылся в Псалтири псалом 41-й, где дважды повторяется: "Что

унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего." Тот же рефрен повторен и в псалме 42-м.

Стр. 105

"...как отец мой..." — Всеволод Ярославич (1030 — 1093) — князь Переяславский, Черниговский, великий князь Киевский; вместе с братьями Изяславом и Святославом вел борьбу против половецких набегов; был человек образованный: знал пять иностранных языков.

Стр. 106

Ставко Гордятич — воевода князя Всеволода Ярославича.

"...за Глоггов до Чешского леса". Глоггов (Глогув) — город в Польше; Чешский Лес — один из хребтов Чешского горного массива (запад Чехии).

"...сын родился у меня старший..." — Мстислав Владимирович (1076 — 1132) — князь Новгородский, великий князь Киевский (с 1125).

"И Святослав умер..." — Святослав Ярославич, дядя Владимира Мономаха, умер в 1076 г.

"...весной — Глебу в помощь" — Глебу Святославичу (ум. в 1078), князю Тмутороканскому, затем Новгородскому.

"...со Святополком под Полоцк, и выжгли Полоцк..." Святополк Изяславич (1050 — 1113) — князь Полоцкий в 1069 — 1071 гг., затем князь Новгородский, Туровский и великий князь Киевский с 1093 до смерти. Речь идет о походе 1069 г., когда Святополк завоевал Полоцкий "стол". Таким образом и Мономах смолоду участвовал не однажды в междоусобиях (до Любечского съезда), вступал и в союз с половцами (см. далее: "...а я с половцами на Одреск войною...").

Стр. 107

"...и победили Бориса и Олега" — имеется в виду грандиозная битва при Нежатиной Ниве на Черниговщине в 1078 г., когда погибло несколько русских князей и много воинов: зачинщиками кровопролития явились Олег Святославич ("Гориславич") и Борис Вячеславич (данные об этом князе спорны: сын Вячеслава Ярославича, князя Смоленского или сын Вячеслава Владимировича, претендент на Черниговский "стол"); эти князья ради своих удельных интересов "привели поганых на Русскую землю", т. е. воспользовались военной помощью язычников-кочевников в междоусобиях.

Стр. 108

"...отроку моему" — слуге (обычно из юных дружинников).

Посадник — начальник поселения, воевода.

Бирич — сборщик подати.

Смерд — крестьянин.

Послание Владимира Мономаха Олегу Святославичу

Стр. 110

"О я, многострадальный и печальный!" — в междоусобной расправе Олега с мономаховичами был убит сын Владимира — Изяслав (1096), а вдова его была взята в плен.

"...понудил меня сын мой, крещеный тобою, что сидит близко от тебя." — старший сын Владимира Мстислав, в ту пору — князь Ростовский.

Стр. 111

"Когда же убили дитя, мое и твоё..." — Изяслав был крестником Олега, как и Мстислав.

"Надо было бы сказать тебе словами Давида:" *Знаю, грех мой всегда передо мною.*" Мономах цитирует псалом 50-й, в котором Давид приносит покаяние за грех прелюбодеяния, который совершил с Вирсавией, женой Урия Хеттенянина. Во Второй книге Царств рассказывается, что дитя, родившееся от этой связи, умерло на седьмой день, что впоследствии Давид женился на Вирсавии, она родила ему Соломона и еще трех сыновей (XII, 18 — 24), об этом упоминается и в Евангелии от Матфея (I, 6).

Слово о полку Игореве

Произведение создано между 1185 и 1187 гг., посвящено походу Игоря Святославовича, князя новгород-северского (1151 — 1202) против половцев весной 1185 г. Поход, задуманный сепаратно, без учета общерусских интересов, привел к сокрушительному поражению: князя, воеводы и немногие оставшиеся в живых воины были взяты в плен. Половцы воспользовались брешью в обороне русских против кочевников и в стремительном набеge на Киевскую Русь опустошили и сожгли многие города и села, увели на невольничьи рынки тысячи жителей. События эти отразились в русских летописях. "Слово" — гениальное творение словесного искусства, стоящее у истоков русской, украинской, белорусской литератур, получившее мировое признание. Имя его автора установить не удалось, несмотря на многочисленные научные исследования и догадки.

В "Слове" запечатлено явление народного мирозерцания, сохраняющееся с древних времен до наших дней, именуемое в науке двоеверием: неразделимое слияние языческого и христианского начал. Это ясно видно во всем тексте, где рядом с христианским Богом именуются древние языческие божества, где веют ветры — стрибожьи внуки, сражаются русичи — дажьбожьи внуки, где вся природа участвует в событиях. А в том фрагменте, который опубликован в нашей антологии, это единство выражено в движении сюжета. Автор как христианин рисует духовное возрождение своего героя. В описании бегства говорится: "Бог путь кажет из земли Половецкой на землю Русскую", в финале изображается Игорь, который едет к "Богородице Пирогощей" — поклониться иконе, привезенной из Византии, возблагодарить за спасение Святую Деву — покровительницу пленных, уведенных в рабство. Но тут же автор в языческом духе говорит о животных-тотемах, о помогающих князю птицах, о превращении Игоря в горностая, белого гоголя, в серого волка. Да и сам побег выглядит исполнением языческих заклинаний Ярославны, обращенных к Солнцу, Ветру и Днепру.

Перевод Д. С. Лихачева.

Печ. по кн.: Повести Древней Руси. Л., Лениздат, 1983.

Стр. 112

На Дунае Ярославнин голос слышится — образное выражение, характер-

ное для "панорамного" (Д. С. Лихачев) зрения автора: он видит сразу всю Русскую землю, голос героини летит из Путивля на Сейме до Дуная, где лежит Галицкое княжество, откуда родом Ярославна.

Ярославна (родилась предполож. около 1169 г., время и место смерти неизвестно) — Ефросиния (имя предположительно), дочь князя Галицкой земли Ярослава Осмомысла, вторая жена Игоря (по возрасту не могла быть матерью его детей).

Каяла-река — вероятнее всего, образное наименование реки, на которой войско Игоря потерпело поражение (от каяти — проклинать), о местонахождении и историческом наименовании реки есть много предположений, ни одно из них нельзя считать доказанным.

Путивль — город Новгород-Северского княжества (ныне Сумской обл. на Украине) на р. Сейм (в XII в. по Сейму проходил южный рубеж княжества).

Забрало — крепостная стена города (также и часть шлема, прикрывавшая лицо).

Хиновские — здесь в значении чужеземные (от Хинова — обозначение Китая и собирательное название восточных народов).

Стр. 113

Днепр Словутич (Славутич) — прославленный.

Святославы насады — речные суда Святослава Всеволодовича, великого князя Киевского (ок. 1125 — 1194); Ярославна вспоминает победоносный поход русских князей против половцев (1184) под началом Святослава.

Кобяк Карлыевич — один из половецких ханов XII в.; он и его войско неоднократно участвовало в набегах на Русь.

Овлур — половец, который помог Игорю бежать (возможно, один из его родичей: бабка Игоря была половчанка).

Стр. 114

Вежа — становище кочевников.

Гоголь — нырковая утка.

Стр. 115

Чернядь (чернедь) — утка из породы толстоголовых.

Стугна — приток Днепра; в этой реке утонул во время битвы русских с половцами (1093) князь Ростислав, младший брат Владимира Мономаха.

Гзак Бурнович — один из половецких ханов XII в., участник многочисленных набегов на Русь.

Кончак Артыкович — половецкий хан XII в., участник набегов на Русь, вступал и в союзные отношения с русскими князьями, отдал свою дочь за сына Игоря Владимира, находившегося в плену.

Стр. 116

Боян и Ходына — Боян — легендарный поэт-певец XI в., Ходына, по предположениям исследователей, сотоварищ Бояна, который, возможно, вместе с ним исполнял песни (был такой стиль исполнения). Впрочем, это место текста остается спорным.

Пирогощая — название церкви в Киеве (по находившейся в ней иконе Богородицы Пирогощей, т.е. "башенной").

Житие Александра Невского

Повествует об Александре Ярославиче (около 1220 — 1263), князе Новгородском (1236 — 1251) и великом князе Владимирском (с 1252), который возглавлял борьбу Руси против немецко-шведских феодалов. В 1240 г. с небольшой дружиной одержал победу над превосходящими шведскими силами, захватившими устье Невы, за что и получил прозвание Невского. В 1241 — 1242 г. руководил русскими дружинами в борьбе с войсками ливонских рыцарей; 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера захватчики потерпели сокрушительное поражение, это событие в летописях и устном предании получило название "Ледовое побоище". "Житие" написано, вероятно, вскоре после кончины князя; в создании этого произведения, как полагают исследователи, принимал участие митрополит Владимирский Кирилл: был автором, редактором или заказчиком. Оно было написано в Рождественском монастыре во Владимире, где был похоронен Александр Ярославич (в 1724 г. его останки по распоряжению Петра Великого перенесли в Александро-Невскую лавру, основанную в 1710 г.). Александр Ярославич канонизирован русской церковью.

Перевод И. П. Еремина.

Печ. по кн.: Хрестоматия по древнерусской литературе. М., 1974.

Стр. 117

Приточник — автор притч; имеются в виду притчи царя Соломона (см. Книгу притч Соломоновых I, 20, 21).

"*Как говорит Исаия пророк...*" Книга пророка Исаии — одна из Книг Ветхого завета, предвещавшая рождение Спасителя от Святой Девы и Его искупительные страдания.

Иосиф — один из героев Ветхого Завета, отличавшийся красотой и мудростью, сын патриарха Иакова и его любимой жены Рахили; история Иосифа и его братьев, рассказанная в Книге Бытия (XXX — XLVIII), многократно отразилась в произведениях словесного и других искусств.

Веспасиан Тит Флавий (9 — 79) — римский император; сын его Тит в 70 г. завершил в основном так называемую Иудейскую войну — подавил восстание иудейских крестьян и ремесленников против владычества Рима, взяв в 70 г. Иерусалим.

Атапата (Иотапата) — крепость в Палестине, которую осаждал Веспасиан во время Иудейской войны.

"...пришел некто знатный от западной страны" — имеется в виду Андреас фон Фельвен — магистр Ливонского ордена рыцарей-крестоносцев.

Слуги Божьи — так называли себя крестоносцы.

Царица Южская — царица Савская, управлявшая саввеями — народом так называемой Счастливой Аравии на юге Палестины (см. Евангелие от Матфея, XII, 42 и Третью Книгу Царств, X, 1 — 14).

Андреяш — Андреас фон Фельвен.

Стр. 118

"...Король от страны полуночной..." — шведский король Эрик по прозвищу Картавий.

Церковь Святой Софии — Софийский собор в Новгороде, основан-

ный в 989 г.

"...Вспомнил песнь псаломскую..." — судя по тексту, имеется в виду псалом царя Давида третий или пятый.

Спиридон — новгородский архиепископ в 1229 — 1249 гг.

"Помянем песнопевца Давида..." — далее цитируется девятнадцатый псалом царя Давида.

Великий Ярослав — Ярослав Всеволодович (1191 — 1246) — княжил в Переяславле, Галиче, Рязани, Новгороде, с 1238 г. — великий князь Владимирский.

Стр. 119

"...в Воскресенье, на память святых отцов собора Халкидонского" — Четвертый Вселенский собор проходил 16 июля 451 г. в г. Халкидоне на Босфоре (напротив Константинополя).

Кирик и Улита — сын и мать, христианские святые, память которых отмечается 15 июля.

Борис и Глеб — сыновья Владимира I, убитые по приказу Святополка Окаянного 24 июля 1015 г. и канонизированные христианской церковью в 1026 г.

Земля Ижорская — область на берегах Невы и побережье Финского залива; здесь в мирном соседстве со славянами жили ижорские карелы.

"...крепкая сеча с римлянами..." — римлянами здесь названы шведы, норвежцы, финны по признаку римско-католического вероисповедания.

Король — имеется в виду главнокомандующий войсками захватчиков Ярл Биргер.

Стр. 120

Полочанин — житель Полоцка.

Царь Езекия (153 — 97 до н. э.) — царствовал в Иудее с 128 г., под его началом иудейское войско отразило нападение ассирийцев, руководимых царем Сеннахеримом (см. Четвертую Книгу Царств, XVI, XVIII, XIX, Книгу пророка Исаии, XXXVI, 1 — 22).

Стр. 121

"...Построили город в земле Александровой". — крепость Копорье близ Финского залива; построена ливонскими немцами в 1241 г.

Тиуны — судьи из числа бояр — сторонников немцев во Пскове.

Моисей — пророк, вождь израильтян; *Амалик* — вождь амаликитян, народа, занимавшего землю между Палестиной и Египтом и враждовавшего с израильтянами (см. в Четвертой книге Моисеевой, XXIV, 20, в Книге Судей Израилевых, VII, 12 — 25).

"Прадеду моему Ярославу..." — имеется в виду Ярослав Мудрый (около 978 — 1054), изгнавший Святополка Окаянного.

Стр. 122

Иисус Навин — согласно Ветхому Завету, служитель Моисея (см. Вторую Книгу Моисееву, XVII, 9), под его началом израильтяне, возвратившись в Палестину из Египта, взяли город Иерихон без боя: по соизволению Божию стены его пали от звука труб и громкого клика народного (Книга Иисуса Навина, VI).

Море Понтийское — Черное море.

Море Варяжское — Балтийское море.

"Повесть о Петре и Февронии Муромских" Ермолая (Еразма)

Написана, как полагают исследователи, к открытию общерусского церковного собора 1547 г., когда Петр и Феврония были причислены к лику святых. Автор — Ермолай, протоиерей Московской придворной церкви, принявший в 60-е гг. монашество под именем Еразм. Повесть сложилась на основе русских волшебных сказок о борьбе богатырей с летающими чудовищами-змеями, о мудрых и милосердных девах, сказаний о справедливых и разумных князьях, в частности, о князе Давиде Юрьевиче, правившем Муромом в начале XIII в. Заметны в повести и черты житийной литературы, и произведений светского характера, в частности, летописных рассказов.

В художественном мире повести, как в "Слове о полку Игореве", гармонично соединились языческое и христианское мироощущение; герои ее отличаются миролюбием и кротостью, которые заповедованы в "Нагорной проповеди" Спасителя, но подвиг Петра, спасающего старшего брата и его жену от оборотня-змея, напоминает столько же деяния былинного богатыря, сколько и святого подвижника, а Феврония кажется родной сестрой Марьи Моревны и Василисы Прекрасной из волшебных сказок.

Перевод Б. А. Ларина.

Печ. по кн.: Хрестоматия по древнерусской литературе. М., 1974.

Стр. 124

Агриков меч — волшебный меч, которым обладал сказочный герой Агрик или Агрика (возможн. по происхождению от имени Агриппа, которое упоминается в Деяниях апостолов: так называли сына и преемника иудейского царя Ирода, с которым говорил апостол Павел, едва не убедив его стать христианином).

Стр. 131

"Кто прогонит жену..." — пересказ одного из наставлений Иисуса Христа в Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея, V, 32).

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное

Написано в 1672 — 1673 гг. Аввакумом Петровым (1620 или 1621 — 1682), в ту пору — пожизненным узником земляной тюрьмы в заполярном Пустозерске (устье Печоры). Автобиографическая повесть, наследующая традиции "Поучения" Владимира Мономаха и житийной литературы; вместе с тем, творение глубоко оригинальное, завершающее древнерусский этап литературного развития и прокладывающее дорогу литературе Нового времени. Образ автора — героя "Жития" служит центром широчайшей картины жизни России с охватом пространства от Приамурья до Заполярья и времени от 20-х до 70-х гг. XVII в. Повесть густо "населена" персонажами, изображенными необычайно живо, во внешнем и внутреннем движении, создает мощные, противоречивые и непредсказуемые характеры (автор, Афанасий Пашков) — и в этом смысле выступает предтечей крупных прозаических форм русской классики XIX в.

Сильнейшими особенностями аввакумова повествования является ее "русской природной язык", как говорит сам автор, сочное, эмоциональное и меткое просторечие, обладающее скульптурной рельефностью, и психологизм в изображении человека, высочайшее умение передать внутренние состояния человека чрез внешние детали, речь и пейзаж, меткая ирония, часто направляемая повествователем в собственный адрес. "Житие" — с великой силой, поистине пламенно передает убеждения автора — идейного руководителя русского раскола. Но приверженность Аввакума старым обрядам, его борьбу против нововведений патриарха Никона (Никиты Минова, 1605 — 1681), неправомерно рассматривать как фанатизм и косность. В основе взглядов Аввакума — представление о свободе совести, о несовместимости с истинным христианством стремления "огнем, да кнутом, да висилицею" веру утверждать. Именно это прежде всего влекло в ряды его сторонников множество людей всех социальных слоев — от членов царской семьи и старинных бояр до соловецких чернецов, ремесленников и крепостных крестьян. Везде ощутимая в "Житии" любовь к Христу, чей образ воспринимается автором непосредственно и сердечно, отношение автора к Библии как источнику истины, мудрости и красоты, пристальный интерес к духовной жизни человека, вера в его исконную добрую натуру, искажаемую лишь дьявольскими кознями — вот почва нравственных убеждений Аввакума и его волшебного художества.

Фрагмент из "Жития" дается без перевода, в соответствии с современными нормами публикации древнерусских текстов.

Публикуется по изданию: Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Под общ. ред. Н. К. Гудзия. М., 1960.

Стр. 135

Верх — царский дворец в Кремле.

Братья (имя одного из них Ефимий) умерли во время эпидемии чумы в 1652 г.

"Излиял Бог на царство фиал гнева Своего!" — пересказ стиха 1 из гл. XVI Апокалипсиса: "И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и излейте семь чаш гнева Божия на землю".

Неронов Иван (1591 — 1670) — с 1646 или 1647 г. протопоп Московского Казанского собора, затем инок с именем Григорий.

Енисейской — имеется в виду Енисейский острог, ныне Енисейск.

Афанасий Филиппович Пашков (ум. в 1664) — енисейский воевода, деятельный, умный и жестокий, был послан начальником экспедиции в Забайкалье для освоения земель по Амуру.

Стр. 136

Большая Тунгуска — так называлось тогда нижнее течение Ангары, вытекающей из Байкала.

"Жена моя... простоволоса ходя" — Анастасия Марковна (1624 — 1710), сирота, дочь кузнеца из родного села Аввакума — Григорова Большемурашкинского района Нижегородской губернии; замужней женщине по обычаям Древней Руси не полагалось при посторонних быть простоволосой.

Бабы — пеликаны.

Стр. 137

Чекан — топорик с длинной рукояткой.

Беть — бревно, соединяющее борта дощаника.

"...со птицами витать" — образ из Псалтыри (X, 1).

"Аще Иев и говорил так..." — имеется в виду Книга Иова, его ропот, обращенный к Богу (VII).

"...яко многими скорбьми подобает..." — слова из Деяний святых апостолов (XIV, 22).

Стр. 138

Залавок — уступ в реке, подводный обрыв.

Нужно — трудно, тягостно.

"...сыне, не пренемай наказанием Господним..." — из Послания апостола Павла к евреям (XII, 5-8); пренемагать — пренебрегать.

Филиппов пост — начинается за сорок дней до праздника Рождества, т.е. 14 ноября.

Аманат — заложник, пленник.

Стр. 139

Хилок — приток реки Селенги, впадающей в Байкал.

"...зело нужен..." — очень труден.

Иргень — озеро к востоку от Байкала.

Ингода — река, часть водной системы Амура.

Стр. 140

Однорядка — однобортный длинный женский кафтан.

Полтретьяцеть — двадцать пять.

Нерча — приток реки Шилки, входящей в систему Амура.

"Кто даст глазе моей воду и источник слез..." — из Книги пророка Иеремии (IX, 1).

Стр. 141

"А мать и братья в земле закопаны сидят" — когда Аввакум писал "Житие" в пустозерской тюрьме, жена его и два старших сына — Иван и Прокопий были заточены в мезенской земляной тюрьме (в устье реки Мезени).

"...не начный блажен, но скончавый" (не начавший блажен, но окончивший) — из Евангелия от Матфея (XXIV, 13).

"Сенные ево любимые были..." — служанки в доме (далее речь о том, что эти служанки, Марья и Софья были одержимы душевной болезнью).

"...яко ничто же успевает, но паче молва бывает..." — из Евангелия от Матфея (XXVII, 24); "не успевает" здесь в старинном значении: "не успокаивается" (отсюда "успение" — смерть, вечный покой).

Стр. 142

"Древле благодать действовавшие ослом при Валааме..." В Четвертой Книге Моисеевой (XII) имеется притча об ослице Валаама, заговорившей человеческим голосом по воле Божьего ангела; подобная притча содержится в рассказе о греческих святых Юлиане и Сисинии.

"Бог идежи хочет, побеждается естества чин" (т.е. если Бог захочет, меняется естественный порядок) — из Третьей стихир (церковного песнопения) на Благовещение (один из православных праздников в память о той Благой вести, которую сообщил архангел Гавриил Деве Марии: о грядущем рождении Сына Божьего).

Феодор Едесский — христианский святой; в его Житии рассказывается, как блудница воскресила мертвого младенца.

Кормчая — книга законов и правил русской православной церкви.

"...привели ко мне баб бешаных..." — женщин, страдающих умопомешательством; Аввакум славился умением лечить таких больных.

"...совершенно бежит от тела Христова." — имеется в виду просфора (освященный белый хлебец), применяемая в православном богослужении как символ тела Христова.

Стр. 143

"На Москве с бояронею в Вознесенском монастыре вселились." — После возвращения в Россию и смерти Афанасия Пашкова его вдова Фекла Симеоновна приняла монашество в женском Вознесенском монастыре, позднее стала его игуменьей, с нею поселились и женщины, которых лечил Аввакум.

Стр. 145

"Бояронея пожаловала..." — речь идет о снохе Пашкова Евдокии Кирилловне.

Шептун-мужик — колдун.

Пестуны — воспитатели.

Патрахель (епитрахиль) — часть одеяния священнослужителя: лента, украшенная золотым шитьем, с вышитыми на ней тремя крестами.

Стр. 146

Мунгальское царство — Монголия.

Волхв — языческий жрец.

Зеведеевичи — сыновья Зеведея Иаков и Иоанн, апостолы Иисуса Христа (Евангелие от Марка, III, 17; Евангелие от Луки, IX, 54-56).

Стр. 147

"...приложи им зла, Господи, приложи..." — из Книги пророка Исаии (XXVI, 15).

Пищаль — тяжелое ружье или малое артиллерийское орудие; *колесчатая* — на небольших колесах.

Стр. 148

"...яко косен Бог во гнев, а скор на послушание..." (как не спешит Бог отозваться на гнев, но спешит — на послушание) — сходный текст в Соборном послании святого апостола Иакова (I, 19, 20): "...всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев; ибо гнев человека не творит правды Божией."

Барте — частица при обращении со значением "пожалуйста".

Стр. 149

День века — день Страшного суда.

XVIII

Царь Давид
Смоленск
XVIII век



М. В. ЛОМОНОСОВ

Преложение псалма 103-го

Да хвалит дух мой и язык
Всесильного Творца державу,
Великолепие и славу.
О Боже мой, коль Ты велик!

Одеян чудной красотой,
Зарей божественного света,
Ты звезды распростер без счета
Шатру подобно пред Собой.

Покрыв водами высоты,
На легких облаках восходишь,
Крылами ветров шум наводишь,
Когда на них летаешь Ты.

И воли Твоя послы,
Как устремления воздушны,
Всесильным маниям послушны,
Текут, горят, не зная мглы.

Ты землю твердо основал
И для надежных окрепы
Недвижны положил заклепы
И вечну непреклонность дал.

Ты бездною ея облек,
Ты повелел водам парами
Всходить, сгущаясь над нами,
Где дождь рождается и снег.

Их воля — Твой единый взгляд.
От запрещения мутятся
И в тучи, устрашась, теснятся;
Лишь грянет гром Твой, вниз шумят.

Восходят горы в высоту;
Крутые ставишь Ты стремнины
И стелешь злачные долины,
Угрюмством множа красоту.

Предел верхам их положил,
Чтоб землю скрыть не обратились,
Ничем бы вниз не преклонились,
Кроме Твоих безмерных сил.

Из гор в долины льешь ключи
И прохлаждаешь тем от зноя:
Журчат для сладкого покоя,
Между горами текучи́.

И напояют всех зверей,
Что окрест сел себя питают;
Онагры ждут, как в жажде тают,
Отрады от руки Твоей.

Слетаясь тамо птицы в тень,
Возносят пение и свисты,
Живят вертепы каменисты
И тем проводят жаркой день.

Ты свыше влагу льешь горам,
Плодами землю насаждаешь
И все народы насыщаешь,
Свидетелей Твоим делам.

Растишь в полях траву для стад;
Нам разны зелия в потребу
Обильно прилагаешь к хлебу,
Щедотою ко всем богат.

Хлеб силой нашу грудь крепит,
Нам масло члены умягчает,
Вино в печали утешает
И сердце радостью живит.

Древам даешь обильный тук,
Поля венчаешь ими, щедрый!
Насаждены в Ливане кедры
Могуществом всесильных рук.

1749

Утреннее размышление о Божием Величестве

1

Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли
И Божия дела открыло.

Мой дух, с веселием внемли,
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков Зиждитель сам!

2

Когда бы смертным толь высоко
Возможно было взлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приблизившись, воззреть,
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно Океан.

3

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

4

Сия ужасная громада —
Как искра пред Тобой одна.
О коль пресветлая лампада
Тобою, Боже, возжена
Для наших повседневных дел,
Что Ты творить нам повелел!

5

От мрачной ночи свободились
Поля, бугры, моря и лес
И взору нашему открылись,

Исполнены Твоих чудес.
Там всякая взывает плоть:
"Велик Зиждитель наш, Господь!"

6

Светило дневное блистает
Лишь только на поверхность тел;
Но взор Твой в бездну проникает,
Не зная никаких предел.
От светлости Твоих очей
ЛьетсЯ радость твари всей.

7

Творец! Покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи
И что угодно пред Тобою
Всегда творити научи
И, на Твою взирая тварь,
Хвалить Тебя, бессмертный Царь.

1743 (?)

**Вечернее размышление о Божием Величестве
при случае великого северного сияния**

1

Лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень,
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

2

Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мыслями утомлен!

3

Уста премудрых нам гласят:
"Там разных множество светов,
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков;
Для общей славы Божества
Там равна сила естества".

4

Но где ж, натура, твой закон?
С полночных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огонь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на землю день вступил!

5

О вы, которых быстрый зрак
Пронзает в книгу вечных прав,
Которым малый вещи знак
Являет естества устав,
Вам путь известен всех планет;
Скажите, что нас так мятет?

6

Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?

7

Там спорит жирна мгла с водой;
Иль солнечны лучи блещут,
Склонясь сквозь воздух к нам густой;
Иль тучных гор верьхи горят;
Иль в море дуть престал зефир,
И гладки волны бьют в эфир.

8

Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд?
Несведом тварей вам конец?
Скажите ж, коль велик Творец?

1743

Г. Р. ДЕРЖАВИН

Властителям и судиям

Восстал всевышний Бог да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасти от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! видят — и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внимли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един Царем земли!

1780

Бог

О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движенъи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог.

Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя числа и меры нет!
Не могут духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает, —
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.

Хаоса бытность довременну
Из бездн Ты вечности воззвал,
А вечность прежде век рожденну,
В себе самом Ты основал:

Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.
Создавый все единым словом,
В твореньи простираясь новым,
Ты был, Ты есть, Ты будешь век!

Ты цепь существ в себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертью живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют, —
Так звезды в безднах под Тобой.

Светил возженных миллионы
В неизмеримости текут.
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампы,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи м^иры —
Перед Тобой — как ночь пред днем.

Как капля в море опущенна,
Вся твердь перед Тобой сия.
Но что мной зримая вселенна?
И что перед Тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, — и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,

Лишь будет точкою одною;
А я перед Тобой — ничто.

Ничто! Но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне себя изображаешь.
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю⁷
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чаёт,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь — конечно, есть и Ты!

Ты есть! — природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть — и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров повсюду сущих,
Я крайняя степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я Бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе произошел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Твое создание я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! — в бессмертие Твое.

Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображений бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.

1784

И. А. КРЫЛОВ

Ода шестая, выбранная из псалма 93-го

Бог, отмщений Господь

Снесись на вихрях, мщений царь!
Воссядь на громах — тучах черных,
Судить строптивых и упорных;

Ступи на выи непокорных
И в гордых молнией ударь.

Доколь вздымать им грудь надменну
И подпирать пороков трон,
Правдивых гнать из света вон?
Доколь Твой презирать закон
И осквернять собой вселенну?

Куда ни обращаюсь, внемля,
Везде их меч, везде угрозы.
Там на невинности железы,
Там льются сирых кровь и слезы;
Злодейством их грузна земля.

Так, проливая крови реки,
Заграбя мир себе в удел,
Твердят они на грудах тел:
Господь не видит наших дел
И не познает их вовеки.

Безумец! где твой ум и слух?
Страхни невежество глубоко;
Скажи, хоть раз взнесясь высоко:
Ужели слеп создавший око
И сотворивший ухо — глух?

Скажи, оставя мудрость лживу,
Без света ли Творец светил?
Бессилен ли Создатель сил?
Безумен ли Кто ум в нас влил?
И мертв ли Давший душу живу?

Блажен, о Боже, в ком Твой свет:
Он соблюдется цел Тобою,
Тогда как, окруженный мглою,
В изрытый ров своей рукою
Злодей со скрежетом падет.

Кто? Кто с мечом? Со мною рядом
Кто мне поборник на убийц?
Кто на гонителей вдовиц?
Никто, — всех взоры пали ниц,
И всех сердца страх облил хладом.

Никто — но Бог, сам Бог со мной;
Сам Бог приемлет грозны стрелы,
Вселенной двигнет он пределы,
Разрушит замыслы их смелы
И с тверди их сопхнет земной.

1794 — 1795

Ода восьмая, выбранная из псалма 87-го

Господи Боже спасения моего

О Боже! Царь щедрот, спасений,
Внемли! — К Тебе моих молений
Свидетель — ночи все и дни.
Я в ночь свой одр мочу слезами,
И в день иссякшими глазами
Встречаю мраки лишь одни.
Да про́йдет вопль мой пред Тобою
Шумящей, пламенной рекою:
Воззри — и слух ко мне склони.

В груди моей все скорби люты;
Нет дня отрадна; нет минуты;
Теснится в сердце мук собор.
Уже, к веселью неспособен,
Я бледен, мертвецам подобен;

Уже ко гробу шаг мой скор;
Уже в моих я равен силах
С забвенными давно в могилах,
От коих отвратил Ты взор.

Все гнёва Твоего удары,
Как моря гневна волны яры,
Навел Ты на мою главу.
Тесним от ближних, обесславлен,
Друзьями презрен и оставлен,
Средь кровных чуждым я живу.
В одре, как в гробе, истлеваю;
Но руки к небу воздеваю:
К Тебе и день и ночь зову.

Увы! иль стон живых беспрочен?
Или для мертвых столь Ты мочен?
Они ль певцы Твоих чудес?
Но кто воспел Тебя во гробе?
Кто возгласил в земной утробе
Твой суд иль блеск Твоих небес?
Кто имя Божье славословил?
И кто в стране забвенья пролил
Хоть каплю благодарных слез?

А я, едва заря настанет,
Едва светило дня проглянет,
Огнем живым к Тебе дышу —
И вместе с хором оперенным
Твое величие глашу.
Куда ни двинуся ногою,
Как сердце я свое, с собою
Хвалу чудес Твоих ношу.

Почто же, Бог мой, презираешь,
Не внемлешь Ты и отреваешь

Вопль страждущей души моей?
Средь нужды, нищеты и горя,
Как средь бунтующего моря,
Я взрос от самых юных дней —
И днесь от бедства не избавлен,
Как лист иссохший, я оставлен
Среди ярящихся огней.

1794 — 1795

КОММЕНТАРИИ

**М. В. Ломоносов. Преложение псалма 103-го.
Утреннее размышление о Божием величестве.
Вечернее размышление о Божием величестве
при случае великого северного сияния**

Три стихотворения Михаила Васильевича Ломоносова (1711 — 1765), публикуемые в этой книге, отражают дух его поэзии и его художественные открытия, во многом определившие дальнейшее развитие русской словесности: создание основ литературного языка, совершенствование — вослед за В. К. Тредиаковским, но с оригинальностью и мощью гения — русского стиха, разработка начал эпической и лирической поэзии, научно-художественной литературы. Ломоносовские переложения библейских псалмов и размышления о Божием величестве (в нынешнем словоупотреблении — величии) поражают единством непоколебимой веры в непостижимую мудрость Творца, совершенство Его творения и пламенной жажды знания, творчества, счастливого сознания силы и благотворности человеческого разума.

"Преложение псалма 103", написанное, как и другие "преложения", в 40-е гг., — высокий образец верности духу подлинника и свободы преобразования его в сознании поэта иного времени, языка и культуры. Сопоставление исконного текста с ломоносовским для читателей нашего времени крайне затруднено тем, что в их распоряжении тоже переводы: на древнеславянский и русский (впервые полная рукописная Славянская Библия создана в 1499 г., полная печатная в 1581 г., ее ветхозаветная часть отредактирована в первой половине XVIII в., впервые полная Русская Библия издана в 1876 г.). Ломоносов мог пользоваться Славянской Библией, а также переводами Библии на греческий ("Септуагинта" — "Перевод семидесяти", III в. до н.э.) и на латынь ("Вульгата" — "Народная", IV в. н.э.). Все же сопоставление даже с Русской Библией, которой при

Ломоносове не было, позволяет ощутить характер "предложения". Вот два стиха из Библии:

"Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки; Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее; на горах стоят воды."

Соответствующие два четверостишия Ломоносова:

Ты землю твердо основал,
И для надежных окрепы
Недвижны положил заклепы
И вечну непреклонность дал.

Ты бездную ее облек,
Ты повелел водам парами,
Всходить, сгущаясь над нами,
Где дождь рождается и снег.

Очевидна верность источнику, заметны и особенности, внесенные поэтом-серебряником и естествоиспытателем.

Стихотворение понятно современному читателю: старинные слова придают ему торжественность, смысл их раскрывается в контексте, за исключением разве что слова "онагр" — осел, животное, которое высоко ценилось в Палестине за исключительную полезность в хозяйстве; на белых ослицах ездили люди почетные.

"Утреннее" и "Вечернее" размышления написаны в 1743 г. Это лирика, созданная убежденным христианином, поэтом-ученым; поразительный сплав научной пронизательности и поэтической образности (об этих стихотворениях см. также в первой главе книги). Здесь нуждаются в пояснении слова "Зиждитель" — создатель, "тварь" — творение, "натура", "естество" — природа.

Печ. по кн.: Ломоносов М. В. Сочинения. Л., 1957.

Г. Р. Державин. Властителям и судиям. Бог.

Два публикуемых здесь стихотворения Гаврилы Романовича Державина (1743 — 1816) относятся к числу самых известных его произведений, имевших важное значение в развитии русской поэзии. Это классика, отличающаяся глубиной, масштабностью, многогранностью содержания и мощной образительной силой. Ода "Бог" явилась и первым русским стихотворением, получившим еще при жизни автора мировую известность (см. об этом в первой части книги). Стихотворения наследуют и развивают ломоносовскую поэтическую традицию, прежде всего — идущий от Библии пафос справедливости и милосердия, неутолимую жажду познания, раздумья о сущности бытия, о месте человека в мире, о его отношении к Творцу.

"Властителям и судиям" (1780) — переложение псалма 81-го, принадлежащего, как указано в Псалтыри, Асафу, известному певцу, поэту, прорицателю при Давиде, царе Израильско-Иудейского государства (конец XI — X в. до н.э.). Переложение очень близко передает великолепный по содержательному лако-

низму, силе и звучности оригинал (насколько можно судить о нем по славянскому и русскому переводам) и одновременно вносит дух державинской лирики, столь характерное для поэта единство величавой торжественности и разящей иронии. Вот одно из сопоставлений:

Псалом Асафа: "Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются."

Державин: Не внемлют! видят и не знают!

Покрыты мздою очеса:

Злодействы землю потрясают,

Неправда зыблет небеса.

История восприятия стихотворения — убедительнейшее подтверждение того, что Библия — неиссякающий источник свободолюбия. Из журнала "Санкт-Петербургский вестник" ода была вырезана по велению цензуры (1780); к печатанию в собрании сочинений поэта не была разрешена (1795), вызвала крайнее недовольство императрицы, испуг и злоречие придворных; Державину едва удалось доказать, что "царь Давид не был якобинцем".

Ода "Бог" (1784) — художественное обобщение размышлений поэта о библейских истинах, о Боге и человеке — Его творении. Ей не найти прямых соответствий в Библии, но по смелости и масштабности мысли она идет вослед за такими Книгами Библии, как Псалтирь и Екклесиаст. История создания стихотворения рассказана самим поэтом (см. первую часть книги). Из комментариев автора к стихотворению важно иметь в виду следующее пояснение к стиху "Без лиц, в трех лицах Божества!" — "Автор, кроме богословского православной нашей веры понятия, разумел тут три лица метафизические, то есть: бесконечное пространство, непрерывную жизнь в движении вещества и неокончаемое течение времени, которое Бог в себе совмещает".

Печ. по кн.: Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957.

Стр. 168

Очеса — двойственное число от "очи" (форма архаичная уже во времена Державина, применявшаяся в стилистических целях).

Стр. 169

"...прежде век..." — прежде веков, до начала времени.

Стр. 170

Создавший — создавший (старинная форма причастия, сохранившаяся в других словах доньше: величавый, лукавый и др.).

Содержишь — в значении "поддерживаешь".

Мразный — морозный (старинная неполногласная форма, сохранившаяся в словах "бравый", "здравый" и т.п.).

"...рдяных кристалей..." — красных кристаллов.

Стр. 171

"Несытым некаким летаю..." — неким ненасытимым существом, вечно жаждущим "паренья в высоты".

"...природы чин вещает..." — говорит закон природы.

И. А. Крылов. Оды

Иван Андреевич Крылов (1769 — 1844), знакомый каждому как баснописец, менее всего известен читателю как автор од, большая часть которых представляет собою переложения псалмов, лирические размышления по мотивам "Песни песней" царя Соломона и Книги Екклесиаста. Все произведения на библейские темы написаны Крыловым в 1794 — 1795 гг., когда он, к тому времени известный журналист и драматург, покинул столицу из-за угрозы политических преследований и вынужден был менять места пребывания и занятия. Эти произведения интересны и сами по себе: в них одическая и элегическая традиции XVIII в. находят великолепное завершение; вместе с тем они отражают духовный кризис, который в итоге привел Крылова к главному делу жизни — басенному творчеству.

Печ. по кн.: И. А. Крылов. Стихотворения. Л., 1954.

"Ода шестая, выбранная из псалма 93-го" — вольное переложение, глубоко и точно передающее дух псалма, но содержащее настроения и мысли автора, рожденные событиями его времени. Сопоставим 16, 22 и 23 стихи псалма в русском переводе и соответствующие им два последних пятистишия крыловской оды.

Псалом: "Кто восстанет за меня против злодеев? кто станет за меня против делающих беззаконие? (...).

"Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего. И обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш"

Ода:

Кто? Кто с мечом? Со мною рядом?
Кто мне поборник на убийц?
Кто на гонителей вдовиц?
Никто — всех взоры пали ниц,
И всех сердца страх облил хладом.

Никто — но Бог, сам Бог со мной;
Сам Бог приемлет грозны стрелы,
Вселенной двигнет он пределы,
Разрушит замыслы их смелы
И с тверди их сопхнет земной.

Обращает на себя внимание перемены в позиции героя того и другого произведения: из гонимого и ждущего защиты он становится воителем, одиноким, но отважным и верящим в помощь Бога.

"Ода восьмая, выбранная из псалма 87-го". Псалом принадлежит "сынам Кореевым" — Асафу и Эману из рода Кореева, известным певцам-поэтам при дворе Давида. Из первого стиха можно заключить, что псалом был создан "по учению" (видимо, по идее) Емана Езрахита, одного из двух братьев-мудрецов во времена Соломона. Это свидетельствует, что Библии присущ интерес к поэти-

ческой традиции, к сохранению авторства входящих в нее произведений. Как и в предыдущем переложении, здесь отчетливы мотивы, внесенные русским поэтом. Особенно это заметно в финале оды, имеющем несомненные связи с биографическими обстоятельствами Крылова.

"Господи Боже спасения моего." Эпиграф взят из второго стиха псалма.

Отреваешь — отвергаешь (стринный глагол "отрывать" сохранился в форме "отринуть").

XIX в.

Исаакий Далматский.
Фрагмент барельефа
Исаакиевского собора
1842—1845 гг.



Н. М. КАРАМЗИН

История государства Российского.

Том IX. Царствование Иоанна IV.

Из главы седьмой

Болезнь и кончина Иоаннова. — Сравнение Иоанна с другими мучителями. — Польза истории. — Смесь добра и зла в Иоанне. — Иоанн — образователь государственный и законодатель... — Строение городов. — Состояние Москвы. — Торговля. — Роскошь и пышность. — Слава Иоаннова.

Приступаем к описанию часа торжественного, великого... Мы видели жизнь Иоаннову: увидим конец ее, равно удивительный, желанный для человечества, но страшный для воображения: ибо тиран умер, как жил, — губя людей, хотя в современных преданиях и не именуются его последние жертвы. Можно ли верить бессмертию и не ужаснуться *такой* смерти?.. Сей грозный час, давно предсказанный Иоанну и совестию и невинными мучениками, тихо близился к нему, еще не достигшему глубокой старости, еще бодрому в духе, пылкому в вожделениях сердца. Крепкий сложением, Иоанн надеялся на долголетие; но какая телесная крепость может устоять против свирепого волнения

страстей, бушевающих мрачную жизнь тирана? Всегдашний трепет гнева и боязни, угрызения совести без раскаяния, гнусные восторги сластолюбия мерзостного, мука стыда, злоба бессильная в неудачах оружия, наконец, адская казнь сыноубийства истощили меру сил Иоанновых: он чувствовал иногда болезненную томность, предтечу удара и разрушения, но боролся с нею и не слабел заметно до зимы 1584 года. В сие время явилась комета с крестообразным небесным знаменiem между церковию Иоанна Великого и Благовещения: любопытный царь вышел на красное крыльцо, смотрел долго, изменился в лице и сказал окружающим: "Вот знамение моей смерти!" Тревожимый сею мыслию, он искал, как пишут, астрологов, мнимых волхвов, в России и в Лапландии, собрал их до шестидесяти, отвел им дом в Москве, ежедневно посылал любимца своего, Бельского, толковать с ними о комете и скоро занемог опасно: вся внутренность его начала гнить, а тело — пухнуть. Уверяют, что астрологи предсказали ему неминуемую смерть через несколько дней, именно 18 марта, но что Иоанн велел им молчать, с угрозою сжечь их всех на костре, если будут нескромны. В течение февраля месяца он еще занимался делами; но 10 марта велено было остановить посла литовского на пути в Москву, *ради недуга государева*. Еще сам Иоанн дал сей приказ; еще надеялся на выздоровление, однако ж созвал бояр и велел писать завещание; объявил царевича Феодора наследником престола и монархом; избрал знаменитых мужей, князя Ивана Петровича Шуйского (славного защитою Пскова), Ивана Федоровича Мстиславского (сына родной племянницы великого князя Василия), Никиту Романовича Юрьева (брата первой царицы, добродетельной Анастасии), Бориса Годунова и Бельского в советники и блюстители державы, да облегчают юному Феодору (слабому телом и душою) бремя забот государственных; младенцу Дмит-

рию с матерью назначил в удел город Углич и вверил его воспитание одному Бельскому; изъявил благодарность всем боярам и воеводам: называл их своими друзьями и сподвижниками в завоевании царств неверных, в победах, одержанных над ливонскими рыцарями, над ханом и султаном; убеждал Феодора царствовать *благочестиво, с любовью и милостию*; советовал ему и пяти главным вельможам удаляться от войны с христианскими державами; говорил о несчастных следствиях войны литовской и шведской; жалел об истощении России; предписал уменьшить налоги, освободить всех узников, даже пленников литовских и немецких. Казалось, что он, готовясь оставить трон и свет, хотел примириться с совестью, с человечеством, с Богом — отрезвился душою, быв дотоле в упоении зла, и желал спасти юного сына от своих губительных заблуждений; казалось, что луч святой истины в преддверии могилы осветил наконец сие мрачное, хладное сердце; что раскаяние и в нем подействовало, когда ангел смерти невидимо предстал ему с вестью о вечности...

Но в то время, когда безмолвствовал двор в печали (ибо о всяком умирающем венценосце искренно и лицемерно двор печалится); когда любовь христианская умиляла сердце народа; когда, забыв свирепость Иоаннову, граждане столицы молились в храмах о выздоровлении царя; когда молились о нем самые опальные семейства, вдовы и сироты людей, невинно избиенных... что делал он, касаясь гроба?

В минуты облегчения приказывал носить себя на креслах в палату, где лежали его сокровища дивные; рассматривал камни драгоценные и 15 марта показывал их с удовольствием англичанину Горсею, ученым языком знатока описывая достоинство алмазов и яхонтов. Верить ли еще сказанию ужаснейшему? Невестка, супруга Феодорова, пришла к болящему с не-

жными утешениями и бежала с омерзением от его любострастного бесстыдства!.. Каялся ли грешник? Думал ли о близком грозном суде Всевышнего?

Уже силы недужного исчезали; мысли омрачались: лежа на одре в беспамятстве, Иоанн громко звал к себе убитого сына, видел его в воображении, говорил с ним ласково... 17 марта ему стало лучше от действия теплой ванны, так что велел послу литовскому немедленно ехать из Можайска в столицу и на другой день (если верить Горсею) сказал Бельскому: "Объяви казнь лжецам астрологам: ныне, по их басням, мне должно умереть, а я чувствую себя гораздо бодрее." — "Но день еще не миновал", — ответствовали ему астрологи. Для больного снова изготовили ванну: он пробыл в ней около трех часов, лег на кровать, спросил шахматную доску и, сидя в халате на постеле, сам расставил шашки; хотел играть с Бельским... вдруг упал и закрыл глаза навеки, между тем как врачи терли его крепительными жидкостями, а митрополит — исполняя, вероятно, давно известную волю Иоаннову — читал молитвы пострижения над издыхающим, названным в монашестве Ионою... В сии минуты царствовала глубокая тишина во дворце и в столице: ждали, что будет, не дерзая спрашивать. Иоанн лежал уже мертвый, но еще страшный для предстоящих царедворцев, которые долго не верили глазам своим и не объявляли его смерти. Когда же решительное слово: "Не стало государя!" — раздалось в Кремле, народ завопил громогласно... оттого ли, как пишут, что знал слабость Феодорову и боялся худых ее следствий для государства, или платя христианский долг жалости усопшему монарху, хотя и жестокому?.. На третий день совершилось погребение великолепное в храме св. Михаила Архангела; текли слезы; на лицах изображалась горечь, и земля тихо приняла в свои недра труп Иоаннов! Безмолвствовал суд человеческий пред божествен-

ным — и для современников опустилась на феатр завеса: память и гробы остались для потомства!

Между иными тяжкими опытами судьбы, сверх бедствий удельной системы, сверх ига моголов, Россия должна была испытать и грозу самодержца-мучителя: устояла с любовью к самодержавию, ибо верила, что Бог посылает и язву, и землетрясение, и тиранов; не преломила железного скиптра в руках Иоанновых и двадцать четыре года сносила губителя, вооружаясь единственно молитвою и терпением, чтобы, в лучшие времена, иметь Петра Великого, Екатерину Вторую (история не любит именовать живых). В смирении великодушном страдальцы умирали на лобном месте, как греки в Термопилах, за отечество, за веру и верность, не имея и мысли о бунте. Напрасно некоторые чужеземные историки, извиняя жестокость Иоаннову, писали о заговорах, будто бы уничтоженных ею: сии заговоры существовали единственно в смутном уме царя, по всем свидетельствам наших летописей и бумаг государственных. Духовенство, бояре, граждане знаменитые не вызвали бы зверя из вертепа слободы Александровской, если бы замыслили измену, взводимую на них столь же нелепо, как и чародейство. Нет, тигр упивался кровию агнцев — и жертвы, издыхая в невинности, последним взором на бедственную землю требовали справедливости, умирительного воспоминания от современников и потомства!

Несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна, героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, есть для ума загадка, и мы усомнились бы в истине самых достоверных о нем известий, если бы летописи других народов не являли нам столь же удивительных примеров; если бы Калигула, *образец государей и чудовище*, если бы Нерон, питомец мудрого Сенеки, *предмет любви, предмет омерзения*, не царствовали в Риме. Они были

язычники; но Людовик XI был христианин, не уступая Иоанну ни в свирепости, ни в наружном благочестии, коим они хотели загладить свои беззакония: оба набожные от страха, оба кровожадные и женолюбивые, подобно азиатским и римским мучителям. Изверги вне законов, вне правил и вероятностей рассудка: сии ужасные метеоры, сии блудящие огни страстей необузданных озаряют для нас, в пространстве веков, бездну возможного человеческого разврата, да видя содрогаемся! Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели — и слава времени, когда вооруженный истинною дееспособностью может, в правлении самодержавном, выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправдывать свои исступления.

Так, Иоанн имел разум превосходный, не чуждый образования и сведений, соединенный с необыкновенным даром слова, чтобы бесстыдно раболепствовать гнуснейшим похотям. Имея редкую память, знал наизусть Библию, историю греческую, римскую, нашего отечества, чтобы нелепо толковать их в пользу тиранства; хвалился твердостью и властью над собою, умея громко смеяться в часы страха и беспокойства внутреннего; хвалился милостью и щедростью, обогащая любимцев достоянием опальных бояр и граждан; хвалился правосудием, карая вместе, с равным удовольствием, и заслуги и преступления; хвалился *духом царским, соблюдением державной чести*, велел изрубить присланного из Персии в Москву слона, не хотевшего

стать перед ним на колена, и жестоко наказывая бедных царедворцев, которые смели играть лучше Державного в шашки или в карты; хвалился, наконец, глубокою мудростию государственною, по системе, по эпохам, с каким-то хладнокровным размером истребляя знаменитые роды, будто бы опасные для царской власти, — возводя на их степень роды новые, подлые, губительною рукою касаясь самых будущих времен: ибо туча доносителей, клеветников, кромешников, им образованных, как туча гладоносных насекомых, исчезнув, оставила злое семя в народе; и если иго Батыево унизило дух россиян, то, без сомнения, не возвысило его и царствование Иоанново.

Но отдадим справедливость и тирану: Иоанн в самых крайностях зла является как бы призракoм великого монарха, ревностный, неутомимый, часто проникающий в государственной деятельности; хотя, любив всегда равнять себя в доблести с Александром Македонским, не имел ни тени мужества в душе, но остался завоевателем; в политике внешней неуклонно следовал великим намерениям своего деда; любил правду в судах, сам нередко разбирал тяжбы, выслушивал жалобы, читал всякую бумагу, решал немедленно; казнил утеснителей народа, сановников бессовестных, лихоимцев, телесно и стыдом (рядил их в великолепную одежду, сажал на колесницу и приказывал живодерам возить из улицы в улицу); не терпел гнусного пьянства (только на святой неделе и в рождество Христово дозволялось народу веселиться в кабаках; пьяных во всякое иное время отсылали в темницу). Не любя смелой укоризны, Иоанн не любил иногда и грубой лести: представим доказательство. Воеводы, князя Иосиф Щербатый и Юрий Борятинский, выкупленные царем из литовского плена, удостоились его милости, даров и чести с ним обедать. Он расспрашивал их о Литве: Щербатый говорил истину; Борятинский лгал

бессовестно, уверяя, что король не имеет ни войска, ни крепостей и трепещет Иоаннова имени.

"Бедный король! — сказал тихо царь, кивая головою. — Как ты мне жалок!" — и вдруг, схватив посох, изломал его в мелкие щепы о Борятинского, приговаривая: "Вот тебе, бесстыдному, за грубую ложь!" — Иоанн славился благоразумною терпимостию вер (за исключением одной иудейской); хотя, дозволив лютеранам и кальвинистам иметь в Москве церковь, лет через пять велел сжечь ту и другую (опасаясь ли соблазна, слыша ли о неудовольствии народа?): однако ж не мешал им собираться для богослужения в домах у пасторов; любил спорить с учеными немцами о законе и сносил противоречия: так (в 1570 году) имел он в Кремлевском дворце торжественное прение с лютеранским богословом Роцитою, уличая его в ереси: Роцита сидел пред ним на возвышенном месте, устланном богатыми коврами; говорил смело, оправдывал догматы аугсбургского исповедания, удостоился знаков царского благоволения и написал книгу о сей любопытной беседе. Немецкий проповедник Каспар, желая угодить Иоанну, крестился в Москве по обрядам нашей церкви, вместе с ним, к досаде своих единоплеменников, шутил над Лютером; но никто из них не жаловался на притеснение. Они жили спокойно в Москве, в новой Немецкой слободе на берегу Яузы, обогащаясь ремеслами и искусствами. Иоанн изъявлял уважение к искусствам и наукам, лаская иностранцев просвещенных: не основал академий, но способствовал народному образованию размножением школ церковных, где и миряне учились грамоте, закону, даже истории, особенно готовясь быть людьми приказными, к стыду бояр, которые еще не все умели тогда писать. — Наконец, Иоанн знаменит в истории как законодавец и государственный образователь.

Нет сомнения, что истинно великий Иоанн III, издав

"Гражданское уложение", устроил и разные правительства для лучшего действия самодержавной власти: кроме древней боярской думы, в делах сего времени упоминается о Казенном дворе, о приказах; но более ничего не знаем, имея уже ясные, достоверные известия о многих расправах и судебных местах, которые существовали в Москве при Иоанне IV. Главные приказы, или *чети*, именовались посольским, разрядным, поместным, казанским: первый особенно ведал дела внешние, или дипломатические, второй — воинские, третий — земли, розданные чиновникам и детям боярским за их службу, четвертый — дела царства Казанского, Астраханского, Сибирского и всех городов волжских; первые три приказа, сверх означенных должностей, также занимались и расправою областных городов: смешение странное! Жалобы, тяжбы, следствия поступали в чети из областей, где судили и рядили наместники с своими тиунами и старостами, коим помогали сотские и десятские в уездах; из чети же, где заседали знаменитейшие государственные сановники, всякое важное дело уголовное, самое гражданское шло в боярскую думу, так что без царского утверждения никого не казнили, никого не лишали достоинства. Только наместники смоленские, псковские, новгородские и казанские, почти ежегодно сменяемые, могли в случаях чрезвычайных наказывать преступников. Новые законы, учреждения, налоги объявлялись всегда чрез приказы. Собственность, или вотчина, царская, в коей заключались многие города, имела свою расправу. Сверх того, именуются еще *избы* (или приказы): стрелецкая, ямская, дворцовая, казенная, разбойная, земский двор, или московская управа, большой приход, или государственное казначейство, бронный, или оружейный, приказ, житный, или запасный, и холопий суд, где решались тяжбы о крепостных людях. Как в сих, так и в областных правительствах или судах

главными действующими лицами были дьяки-грамотеи, употребляемые и в делах посольских, ратных, в осадах, для письма и для совета, к зависти и неудовольствию дворянства воинского. Умея не только читать и писать лучше других, но зная твердо и законы, предания, обряды, дьяки или приказные люди составляли особенный род слуг государственных, степению ниже дворян и выше жильцов или нарочитых детей боярских, гостей или купцов именитых; а дьяки *думные* уступали в достоинстве только советникам государственным: боярам, окольниковым и новым *думным дворянам*, учрежденным Иоанном в 1572 году для введения в думу сановников, отличных умом, хотя и не знатных родом: ибо, несмотря на все злоупотребления власти неограниченной, он уважал иногда древние обычаи: например, не хотел дать боярства любимцу души своей Малюте Скуратову, опасаясь унижить сей верховный сан таким скорым возвышением человека *худородного*. Умножив число людей приказных и дав им более важности в государственном устройстве, Иоанн, как искусный властитель, образовал еще новые степени знаменитости для дворян и князей, разделив первых на *две статьи*, на дворян *сверстных* и *младших*, а вторых — на князей *простых* и *служилых*; к числу же царедворцев прибавил *стольников*, которые, служа за столом государевым, отправляли и воинские должности, будучи сановитее дворян младших. — Мы писали о ратных учреждениях сего деятельного царствования: своим малодушием срамя наши знамена в поле, Иоанн оставил России войско, какого она не имела дотол: лучше устроенное и многочисленнейшее прежнего; истребил воевод славнейших, но не истребил доблести в воинах, которые всего более оказывали ее в несчастиях, так что бессмертный враг наш Баторий с удивлением рассказывал Поссевину, как они в защите городов не думают о жизни: хладнокровно становятся на места

убитых или взорванных действием подкопа и заграждают проломы грудью; день и ночь сражаясь, едят один хлеб; умирают от голода, но не сдаются, *чтобы не изменить царю-государю*; как самые жены мужествуют с ними, или гася огонь, или с высоты стен пуская бревна и камни в неприятелей. В поле же сии верные отечеству ратники отличались если не искусством, то хотя чудесным терпением, снося морозы, вьюги и ненастье под легкими наметами и в шалашах сквозящих.

— В древнейших разрядах именовались единственно воеводы: в разрядах сего времени именуются обыкновенно и *головы*, или частные предводители, которые вместе с первыми ответствовали царю за всякое дело.

Иоанн, как мы сказали, дополнил в судебнике "Гражданское уложение" своего деда, включив в него новые законы, но не переменяв системы или духа старых <...>

К достохвальным деяниям сего царствования принадлежит еще строение многих новых городов для безопасности наших пределов. Кроме Лаишева, Чебоксар, Козмодемьянска, Болхова, Орла и других крепостей, о коих мы упоминали, Иоанн основал Донков, Епифань, Верев, Чернь, Кокшажск, Тетюши, Алатырь, Арзамас. Но, воздвигая красивые твердыни в лесах и в степях, он с прискорбием видел до конца жизни своей развалины и пустыри в Москве, сожженной ханом в 1571 году, так что в ней, если верить Поссевинову исчислению, около 1581 года считалось не более тридцати тысяч жителей, в шесть раз менее прежнего, как говорит другой иноземный писатель, слышав то от московских старожилов в начале XVII века. Стены новых крепостей были деревянные, насыпанные внутри землею с песком или крепко сплетенные из хвороста; а каменные единственно в столице, Александровской слободе, Туле, Коломне, Зарайске, Старице, Ярослав-

лавле, Нижнем, Белозерске, Порхове, Новгороде, Пскове.

Размножение городов благоприятствовало и чрезвычайным успехам торговли, более и более умножавшей доходы царские (которые в 1588 году простирались до шести миллионов нынешних рублей серебряных). Не только на ввоз чужеземных изделий или на выпуск наших произведений, но даже и на съестное, привозимое в города, была значительная пошлина, иногда откупаемая жителями. В Новгородском таможенном уставе 1571 года сказано, что со всех товаров, ввозимых иноземными гостями и ценимых людьми присяжными, казна берет семь денег на рубль: купцы же российские платили 4, а новгородские — 1½ деньги: с мяса, скота, рыбы, икры, меду, соли (немецкой и *морянки*), луку, орехов, яблок, кроме особенного сбора с телег, судов, саней. За ввозимые металлы драгоценные платили, как и за все иное; а вывоз их считался преступлением. Достойно замечания, что и государевы товары не освобождались от пошлины. Утайка наказывалась тяжкою пенею. — В сие время древняя столица Рюрикова, хотя и среди развалин, начинала было снова оживляться торговою деятельностью, пользуясь близостью Нарвы, где мы с целою Европою купечествовали; но скоро погрузилась в мертвую тишину, когда Россия в бедствиях Литовской и Шведской войны утратила сию важную пристань. Тем более цвела наша двинская торговля, в коей англичане должны были делиться выгодами с купцами нидерландскими, немецкими, французскими, привозя к нам сахар, вина, соль, ягоды, олово, сукна, кружева и выменивая на них меха, пеньку, лен, канаты, шерсть, воск, мед, соль, кожи, железо, лес. Французским купцам, привезшим к Иоанну дружественное письмо Генрика III, дозволялось торговать в Коле, а испанским или нидерландским — в пудожерском устье: знаменитейший из сих

гостей назывался Иваном Девахом Белобородом, доставлял царю драгоценные камни и пользовался особым его благоволением, к неудовольствию англичан. В разговоре с Елисаветиним послом, Баусом, Иоанн жаловался, что лондонские купцы не вывозят к нам ничего хорошего; снял с руки перстень, указал на изумруд *колпака* своего и хвалился, что Девах уступил ему первый за 60 рублей, а второй — за тысячу: чему дивился Баус, оценив перстень в 300 рублей, а изумруд — в 40000. В Швецию и в Данию отпускали мы знатное количество хлеба. "Сия благословенная земля (пишет Кобенцель о России) изобилует всем необходимым для жизни человеческой, не имея действительной нужды ни в каких иноземных произведениях". — Завоевание Казани и Астрахани усилило нашу мену азиатскую.

Обогадив казну торговыми, городскими и земскими налогами, также и присвоением церковного имения, чтобы умножить войско, завести арсеналы (где находилось всегда в готовности не менее двух тысяч осадных и полевых орудий), строить крепости, палаты, храмы, Иоанн любил употреблять избыток доходов и на роскошь: мы говорили об удивлении иноземцев, видевших в казне московской груды жемчугу, горы золота и серебра во дворце, блестящие собрания, обеды, за которыми в течение пяти, шести часов *пресыщалось* 600 или 700 гостей не только изобильными, но и дорогими яствами, плодами и винами жарких, отдаленных климатов: однажды, сверх людей именитых, в кремлевских палатах обедало у царя 2000 ногайских союзников, шедших на войну ливонскую. В торжественных выездах и выездах государевых все также представляло образ азиатского великолепия: дружины телохранителей, облитых золотом, богатство их оружия, убранство коней. Так, Иоанн 12 декабря обыкновенно выезжал верхом за город видеть действие снаряда огнестрельно-

го: пред ним несколько сот князей, воевод, сановников, по три в ряд; пред сановниками — 5000 отборных стрельцов по пяти в ряд. Среди обширной снежной равнины, на высоком помосте, длиною саженой в 200 или более, стояли пушки и воины, стреляли в цель, разбивали укрепления — деревянные, осыпанные землею, и ледяные. В торжествах церковных, как мы видели, Иоанн также являлся народу с пышностью разительною, умея видом искусственного смирения придавать себе еще более величия и с блеском мирским соединяя наружность христианских добродетелей: угощая вельмож и послов в светлые праздники, сыпал богатую милостыню на бедных.

В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в *народной памяти*: стелания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими; но имя Иоанново блистало на судебнике и напоминало приобретение трех царств могольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя; чтит в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название *мучителя*, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой донине именует его только *грозным*, не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее народа!

И. А. КРЫЛОВ

Лань и дервиш

Младая Лань, своих лишась любезных чад,
Еще сосцы млеко имея отягченны,
Нашла в лесу двух малых волченят
И стала выполнять долг матери священный,
Своим питая их млеко.
В лесу живущий с ней одним,
Дервиш, ее поступком изумленный:
"О безрассудная! — сказал, — к кому любовь,
Кому свое млеко ты расточаешь?
Иль благодарности от их ты роду чаешь?
Быть может, некогда (иль злости их не знаешь?)
Они прольют твою же кровь". —
"Быть может, — Лань на это отвечала, —
Но я о том не помышляла
И не желаю помышлять:
Мне чувство матери одно теперь лишь мило,
И молоко мое меня бы тяготило,
Когда б не стала я питать".

Так, истинная благодать
Без всякой мзды добро творит:
Кто добр, тому избытки в тягость,
Коль он их с ближним не делит.

1814

Добрая лисица

Стрелок весной малиновку убил.
Уж пусть бы кончилось на ней несчастье злое,
Но нет; за ней должны еще погибнуть трое:

Он бедных трех ее птенцов осиротил.

Едва из скорлупы, без смыслу и без сил,

Малютки терпят голод

И холод,

И писком жалобным зовут напрасно мать.

"Как можно не страдать,

Малюток этих видя;

И сердце чье об них не заболит? —

Лисица птицам говорит,

На камушке против гнезда сироток сидя. —

• Не киньте, милые, без помощи детей;

Хотя по зернышку бедняжкам вы снесите,

Хоть по соломинке к их гнездышку приткните.

Вы этим жизнь их сохраните;

Что дела доброго святей!

Кукушка, посмотри, ведь ты и так линияешь:

Не лучше ль дать себя немножко ощипать

И перьем бы твоим постельку их устлать,

Ведь попусту ж его ты растеряешь.

Ты, жавронок, чем по верхам

Тебе кувыраться, кружиться,

Ты б корму поискал по нивам, по лугам,

Чтоб с сиротами поделиться.

Ты, горлинка, твои птенцы уж подросли,

Промыслить корм они и сами бы могли:

Так ты бы с своего гнезда слетела

Да вместо матери к малюткам села,

А деток бы твоих пусть Бог

Берег.

Ты б, ласточка, ловила мошек,

Полакомить безродных крошек.

А ты бы, милый соловей, —

Ты знаешь, как всех голос твой прельщает, —

Меж тем, пока зефир их с гнездышком качает,

Ты б убаюкивал их песенкой своей.

Такою нежностью, я твердо верю,

Вы б заменили им их горькую потерю.
Послушайте меня: докажем, что в лесах
Есть добрые сердца, и что..." При сих словах
Малютки бедные все трое,
Не могли с голоду сидеть в покое,
Попадали к Лисе на низ.
Что ж кумушка? — Тотчас их съела
И поученья не допела.

Читатель, не дивись!
Кто добр поистине, не распложая слова,
В молчанье тот добро творит;
А кто про доброту лишь в уши всем жужжит,
Тот часто только добр на счет другого,
Затем, что в этом нет убытка никакого.
На деле же почти такие люди все —
Сродни моей Лисе.

1814

В. А. ЖУКОВСКИЙ

Лалла Рук

Милый сон, души пленитель,
Гость прекрасный с вышины,
Благодатный посетитель
Поднебесной стороны,
Я тобою наслаждался
На минуто, но вполне:
Добрый вестником явился
Здесь небесного ты мне.

Мнил я быть в обетованной
Той земле, где вечный мир;

Мнил я зреть благоуханный
Безмятежный Кашемир;
Видел я: торжествовали
Праздник розы и весны
И пришелицу встречали
Из далекой стороны.

И блистая и пленяя —
Словно ангел неземной —
Непорочность молодая
Появилась предо мной;
Светлый завес покрывала
Отенял ее черты,
И застенчиво склоняла
Взор умильный с высоты.

Все — и робкая стыдливость
Под сиянием венца,
И младенческая живость,
И величие лица,
И в чертах глубокость чувства
С безмятежной тишиной —
Все в ней было без искусства
Неописанной красой!

Я смотрел — а призрак мимо
(Увлекая душу вслед)
Пролетал невозвратно;
Я за ним — его уж нет!
Посетил, как упоенье;
Жизнь минуту озарил;
И оставил лишь преданье,
Что когда-то в жизни был!

Ах! не с нами обитает
Гений чистый красоты;

Лишь порой он навещает
Нас с небесной высоты;
Он поспешен, как мечтанье,
Как воздушный утра сон;
Но в святом воспоминанье
Неразлучен с сердцем он!

Он лишь в чистые мгновенья
Бытия бывает к нам
И приносит откровенья,
Благотворные сердцам;
Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он дает взглянуть порой;

И во всем, что *здесь* прекрасно,
Что наш мир животворит,
Убедительно и ясно
Он с душою говорит;
А когда нас покидает,
В дар любви у нас в виду
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.

1821 .

19 марта 1823

Ты предо мною
Стояла тихо.
Твой взор унылый
Был полон чувства.
Он мне напомнил
О милом прошлом...

Он был последний
На здешнем свете.

Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай, спокойна!
Там все земные
Воспоминанья,
Там все святые
О небе мысли.

Звезды небес,
Тихая ночь!..

1823

Суд Божий над епископом

Были и лето и осень дождливы;
Были потоплены пажити, нивы;
Хлеб на полях не созрел и пропал;
Сделался голод, народ умирал.

Но у епископа, милостью Неба,
Полны амбары огромные хлеба;
Жито сберег прошлогоднее он:
Был осторожен епископ Гаттон.

Рвутся толпой и голодный и нищий
В двери епископа, требуя пищи;
Скуп и жесток был епископ Гаттон:
Общей бедою не тронулся он.

Слушать их вопли ему надоело;
Вот он решился на страшное дело:
Бедных из ближних и дальних сторон,
Слышно, скликает епископ Гаттон.

"Дожили мы до неожиданного чуда:
Вынул епископ добро из-под спуда;
Бедных к себе на пирушку зовет", —
Так говорил изумленный народ.

К сроку собрались званные гости,
Бледные, чахлые, кожа да кости;
Старый огромный сарай отворен,
В нем угостит их епископ Гаттон.

Вот уж столпились под кровлей сарая
Все пришлецы из окружного края...
Как же их принял епископ Гаттон?
Был им сарай и с гостями сожжен.

Глядя епископ на пепел пожарный,
Думает: "Будут мне все благодарны;
Разом избавил я шуткой моей
Край наш голодный от жадных мышей".

В замок епископ к себе возвратился,
Ужинать сел, пировал, веселился,
Спал, как невинный, и снов не видал...
Правда! но боле с тех пор он не спал.

Утром он входит в покой, где висели
Предков портреты, и видит, что съели
Мыши его живописный портрет,
Так, что ходистины и признака нет.

Он обомлел; он от страха чуть дышит...
Вдруг он чудесную весть слышит:
"Наша округа мышами полна,
В житницах съеден весь хлеб до зерна".

Вот и другое в ушах загремело:
"Бог на тебя за вчерашнее дело!
Крепкий твой замок, епископ Гаттон,
Мыши со всех осаждают сторон".

Ход был до Рейна от замка подземной;
В страхе епископ дорогою темной
К берегу выйти из замка спешит:
"В Рейнской башне спасусь", — говорит.

Башня из реинских вод подымалась;
Издали острым утесом казалась,
Грозно из пены торчащим, она;
Стены кругом ограждала волна.

В легкую лодку епископ садится;
К башне причалил, дверь запер и мчится
Вверх по гранитным крутым ступеням;
В страхе один затворился он там.

Стены из стали казались слиты,
Были решетками окна забиты,
Ставни чугунные, каменный свод,
Дверью железною запертый вход.

Узник не знает, куда приютиться;
На пол, зажмурив глаза, он ложится...
Вдруг он испуган стенаньем глухим:
Вспыхнули ярко два глаза над ним.

Смотрит он... кошка сидит и мяучит;
Голос тот грешника давит и мучит;
Мечется кошка; невесело ей:
Чует она приближенье мышей.

Пал на колени епископ и криком
Бога зовет в исступлении диком.
Воет преступник... а мыши плывут...
Ближе и ближе... доплыли... ползут.

Вот уж ему в расстоянии близком
Слышно, как лезут с роптаньем и писком;
Слышно, как стену их лапки скребут;
Слышно, как камень их зубы грызут.

Вдруг ворвались неизбежные звери;
Сыплются градом сквозь окна, сквозь двери,
Спереди, сзади, с боков, с высоты...
Что тут, епископ, почувствовал ты?

Зубы об камни они наострили,
Грешнику в кости их жадно впустили,
Весь по суставам раздернут был он...
Так был наказан епископ Гаттон.

1831

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

Палестина

Свод безоблачно синий
Иудейских небес,
Беспредельность пустыни,

Одиноких деревьев,
Пальмы, маслины скудной
Бесприютная тень,
Позолотою чудной
Ярко блещущий день.

По степи речки ясной
Не бежит полоса,
По дороге безгласной
Не слышать колеса.
Только с ношей своею
(Что ему зной и труд),
Длинно вытянув шею,
Выступает верблюду.

Ладия и телега
Беспромышленных стран,
Он идет до ночлега,
Вслед за ним караван
Иль, бурнусом обвитый,
На верблюде верхом
Бедуин сановитый,
Знойно-смуглый лицом.

Словно зыбью качаясь,
Он торчит и плывет,
На ходу подаваясь
То назад, то вперед:
Иль промчит кобылица
Шейха с длинным ружьем,
Иль кружится, как птица,
Под лихим седоком.

Помянув Магомета,
Всадник, встретясь с тобой,
К сердцу знаком привета

Прикоснется рукой.
Полдень жаркий пылает,
Воздух — словно огонь;
Путник жаждой сгорает
И томящийся конь.

У гробницы с чалмою
Кто-то вырыл родник;
Путник жадной душою
К хладной влаге приник.
Благодетель смиренный!
Он тебя от души
Помянул, освеженный,
В опаленной глуши.

Вот под сенью палаток
Быт пустынных племен;
Женский склад — отпечаток
Первобытных времен.
Вот библейского века
Верный сколок: точь-в-точь
Молодая Ревекка,
Вафуилова дочь.

Голубой пеленою
Стан красивый сокрыт;
Взор восточной звездой
Под ресницей блестит.
Величаво-спокойно
Дева сходит к ключу,
Водонос держит стройно,
Прижимая к плечу.

В поле кактус, иглистый
Распускает свой цвет.
В дальней тьме — каменистый

Аравийский хребет.
На вершинах суровых
Гаснет день средь зыбей
То золотых, то лиловых,
То зеленых огней.

Чудно блещут картины
Ярких красок игрой.
Светлый край Палестины!
Упоенный тобой,
Пред рассветом, пустыней
Я несусь на коне
Богомольцем к святыне,
С детства родственной мне.

Шейх с летучим отрядом —
Мой дозор боевой;
Впереди, сзади, рядом
Вьется пестрый их рой.
Недоверчиво взгляды
Озирают вокруг:
Хищный враг из засады
Не нагрянет ли вдруг?

На пути, чуть пробитом
Средь разорванных скал,
Конь мой чутким копытом
По обломкам ступал.
Сон под звездным наметом;
Запылали костры;
Сон тревожит налетом
Вой шакалов с горы.

Эпопеи священной
Древний мир здесь разверст:
Свиток сей неизменный

Начертал Божий перст.
На Израиль с Заветом
Здесь сошла Божья сень;
Воссиял здесь рассветом
Человечества день.

Край святой Палестины,
Край чудес искони!
Горы, дебри, равнины,
Дни и ночи Твои,
Внешний мир, мир подспудный,
Все, что было, что есть, —
Все поэзии чудной
Благодатная весть.

И, в ответ на призыванье
Жизнь, горе возлетев,
Жизнь — одно созерцанье
И молитвы напев.
Отблеск светлых видений
На душе не угас;
Дни святых впечатлений,
Позабуду ли вас?

1850

А. С. ПУШКИН

* * *

Изыде сеятель сеяти семена своя

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной

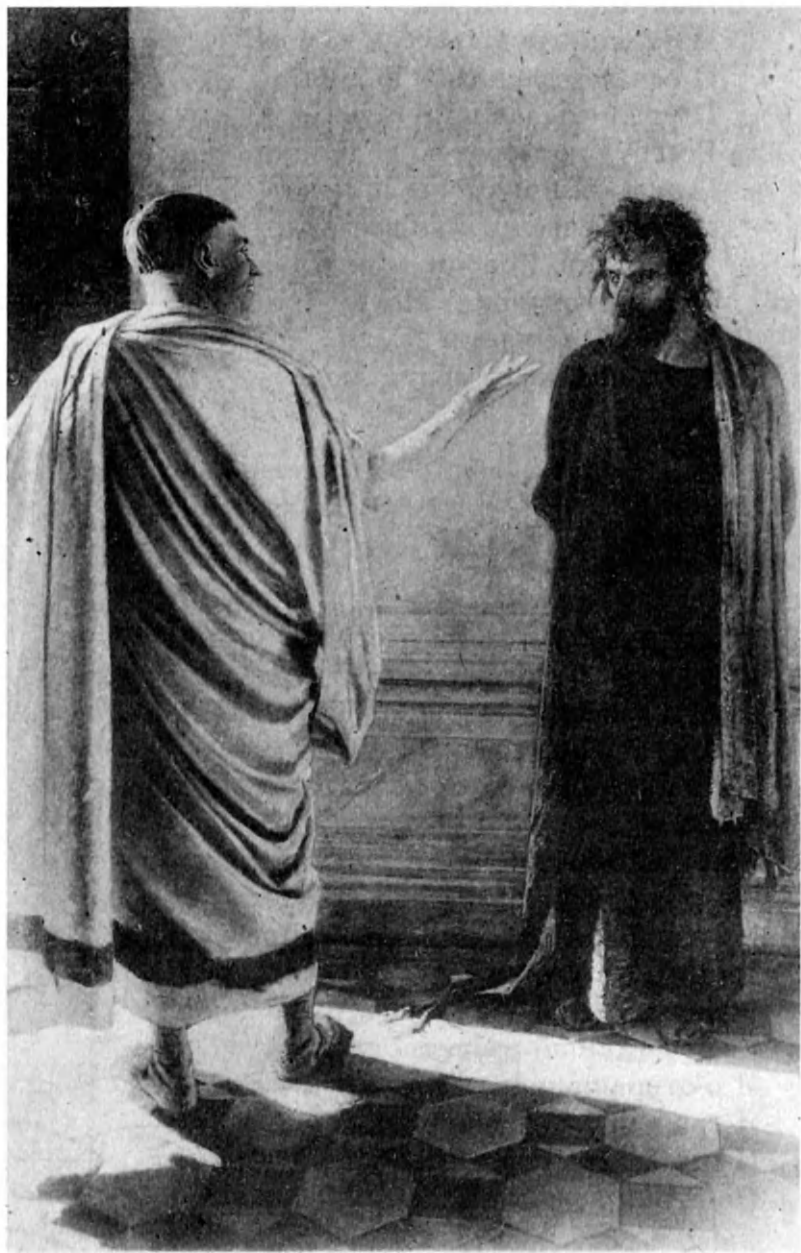
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

1823

Пророк

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Мои зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Мои ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои



Н. Н. Ге. Что есть истина. 1890.

Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
"Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей".

1826

Воспоминание

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда, —
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

1828

* * *

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатление
В сердце врезалось ему.

Путешествуя в Женеву,
На дороге у креста
Видел он Марию Деву,
Матерь Господа Христа.

С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел,
И до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.

С той поры стальной решетки
Он с лица не подымал
И себе на шею четки
Вместо шарфа привязал.

Несть мольбы Отцу, ни Сыну,
Ни Святому Духу век
Не случилось паладину,
Станный был он человек.

Проводил он целы ночи
Перед ликом Пресвятой,
Устремив к ней скорбны очи,
Тихо слезы лья рекой.

Полон верой и любовью,
Верен набожной мечте,
Ave, Mater Dei* кровью
Написал он на щите.

Между тем как паладины
Встречу трепетным врагам
По равнинам Палестины
Мчались, именуя дам,

Lumen coelum, Sancta Rosa**!
Восклидал всех громче он,
И гнала его угроза
Мусульман со всех сторон.

Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он строго заключен,
Все влюбленный, все печальный,
Без причастья умер он;
Между тем, как он кончался,
Дух лукавый подоспел,
Душу рыцаря собирался
Бес тащить уж в свой предел:

Он-де Богу не молился,
Он не ведал-де поста,
Не путем-де волочился
Он за Матушкой Христа.

Но Пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в Царство вечно
Паладина своего.

1829

* Радуйся, Божия Матерь (лат.).

** Свет небесный, Святая Роза (лат.).

Мадонна

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному суждению знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и Наш Божественный Спаситель —

Она с величием, Он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желанья. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

1830

* * *

Отцы пустынноики и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

1836

* * *

Напрасно я бегу к Сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

1836

* * *

*Exegi monumentum**

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

* "Я памятник воздвиг..." (лат.) — начало оды Горация.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

1836

Н. В. ГОГОЛЬ

Шинель.

Фрагмент

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его проносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершен-

но в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем *одним департаментом*. Итак, в *одном департаменте* служил *один чиновник*; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным... Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмакин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмакины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как: родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась как следует окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор

любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздзата. "Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие". Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахисий. "Вот это наказание, — проговорила старуха, — какие все имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахисий". Еще переверотили страницу — вышли: Павсикакий и Вахтисий. "Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий". Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, при чем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменилось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже "перепишите", или "вот интересное, хорошенькое дельце", или что-нибудь при-

ятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острялись над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: "Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?" И что-то странное заключалось в его словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменялось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: "Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?" — и в этих проникающих словах звенели другие слова: "Я брат твой". И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в

том человеке, которого свет признает благородным и честным...

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясицу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: "Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь". С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжеватого-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длиною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на го-

ловах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, попевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того пронизательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталоны стремешка, — что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случилось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, — когда все уже

отдохнуло после департаментского скрипенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек, — когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенек; кто на вечер — истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещичей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, — словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, — словом, даже тогда, когда всё стремится развлечься, — Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог пошлет переписывать завтра? Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титуляр-

ным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Смерть поэта

*Отмщенье, государь, отмщенье!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству
возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней
пример.*

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыдания,
Пустых похвал ненужный хор,
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?

Что ж? веселитесь... — он мучений
— Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
— Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалика,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог падить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок, — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;

Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный Судия: Он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела Он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

1837

Молитва

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастьем душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

1837

* * *

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

3

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленя
Темный дуб склонялся и шумел.

1841

Ф. И. ТЮТЧЕВ

Наш век

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...

И сознает свою погибель он,
И жаждет веры — но о ней не просит...

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
"Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..

10 июня 1851г.

* * *

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

1855

* * *

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Так, ты — жилица двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески неясный,
Как откровение духов...

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

1855

* * *

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,

Растление душ и пустота,
Что гложет ум и сердце поет, —
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...

1857

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

Гроза.

Фрагмент

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

К а т е р и н а и В а р в а р а.

К а т е р и н а. Так ты, Варя, жалеешь меня?

В а р в а р а (*глядя в сторону*). Разумеется, жалко.К а т е р и н а. Так ты, стало быть, любишь меня?
(*Крепко целует.*)

В а р в а р а. За чтож мне тебя не любить-то!

К а т е р и н а. Ну, спасибо тебе! Ты милая такая, я сама тебя люблю до смерти.

Молчание.

Знаешь, мне что в голову пришло?

В а р в а р а. Что?

К а т е р и н а. Отчего люди не летают!

В а р в а р а. Я не понимаю, что ты говоришь.

К а т е р и н а. Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь? (*Хочет бежать.*)

В а р в а р а. Что ты выдумываешь-то?

К а т е р и н а (*вздыхая*). Какая я была резвая! Я у вас завяла совсем.

В а р в а р а. Ты думаешь, я не вижу?

К а т е р и н а. Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать

не принуждала; что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на ключок, умоюсь, принесу с собою водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много-много. Потом пойдем с маменькой в церковь, все и странницы — у нас полон дом был странниц да богомолков. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут рассказывать: где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково хорошо было!

В а р в а р а. Да ведь и у нас то же самое.

К а т е р и н а. Да здесь все как будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно как все это в одну секунду было. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается! А знаешь: в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану — у нас тоже везде лампадки горели — да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила — не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились. Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то будто я летаю,

так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и не то.

В а р в а р а. А что же?

К а т е р и н а (*помолчав*). Я умру скоро.

В а р в а р а. Полно, что ты!

К а т е р и н а. Нет, я знаю, что умру. Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается, чудо какое-то. Никогда со мной этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю, или... уж и не знаю.

В а р в а р а. Что же с тобой такое?

К а т е р и н а (*берет ее за руку*). А вот что, Варя, быть греху какому-нибудь! Такой на меня страх, такой-то на меня страх! Точно я стою над пропастью и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не за что. (*Хватается за голову рукой*.)

В а р в а р а. Что с тобой? Здорова ли ты?

К а т е р и н а. Здорова... Лучше бы я больна была, а то нехорошо. Лезет мне в голову мечта какая-то. И никуда я от нее не уйду. Думать стану — мыслей никак не соберу, молиться — не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, а на уме совсем не то: точно мне лукавый в уши шепчет, да все про такие дела нехорошие. И то мне представляется, что мне самое себя совестно делается. Что со мной? Перед бедой перед какой-нибудь это! Ночью, Варя, не спится мне, все мерещится шепот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно голубит меня, точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы; а точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо, и ведет меня куда-то, и я иду за ним, иду...

В а р в а р а. Ну?

К а т е р и н а. Да что же это я говорю тебе: ты — девушка.

В а р в а р а (*оглядываясь*). Говори! Я хуже тебя.

К а т е р и н а. Ну, что ж мне говорить? Стыдно мне.

В а р в а р а. Говори, нужды нет!

К а т е р и н а. Сделается мне так душно, так душно дома, что бежала бы. И такая мысль придет на меня, что, кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке, с песнями, либо на тройке на хорошей, обнявшись...

В а р в а р а. Только не с мужем.

К а т е р и н а. А ты почему знаешь?

В а р в а р а. Еще бы не знать!..

К а т е р и н а. Ах, Варя, грех у меня на уме! Сколько я, бедная, плакала, чего уж я над собой не делала! Не уйти мне от этого греха. Никуда не уйти. Ведь это нехорошо, ведь это страшный грех, Варенька, что я другого люблю?

В а р в а р а. Что мне тебя судить! У меня свои грехи есть.

К а т е р и н а. Что же мне делать! Сил моих не хватает. Куда мне деваться; я от тоски что-нибудь сделаю над собой!

В а р в а р а. Что ты! Что с тобой! Вот погоди, завтра братец уедет, подумаем; может быть, и видеться можно будет.

К а т е р и н а. Нет, нет, не надо! Что ты! Что ты! Сохрани Господи!

В а р в а р а. Чего ты так испугалась?

К а т е р и н а. Если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дому, я уж не пойду домой ни за что на свете.

В а р в а р а. А вот погоди, там увидим.

К а т е р и н а. Нет, нет, и не говори мне, я и слушать не хочу!

В а р в а р а. А что за охота сохнуть-то! Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ль тебя! Как же, дожидайся. Так какая ж неволя себя мучить-то!

Входит б а р ы н я с палкой и два лакея в треугольных шляпах сзади.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же и барыня.

Б а р ы н я. Что, красавицы? Что тут делаете? Молодцов поджидаете, кавалеров? Вам весело? Весело? Красота-то ваша вас радует? Вот красота-то куда ведет. (*Показывает на Волгу.*) Вот, вот, в самый омут!

Варвара улыбается.

Что смеетесь! Не радуйтесь! (*Стучит палкой.*) Все в огне гореть будете неугасимом. Все в смоле будете кипеть неуголимой! (*Уходя.*) Вон, вон куда красота-то ведет! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

К а т е р и н а и В а р в а р а.

К а т е р и н а. Ах, как она меня испугала! я дрожу вся, точно она пророчит мне что-нибудь.

В а р в а р а. На свою бы тебе голову, старая карга!

К а т е р и н а. Что она сказала такое, а? Что она сказала?

В а р в а р а. Вздор все. Очень нужно слушать, что она говорит. Она всем так пророчит. Всю жизнь смолodu-то грешила. Спроси-ка, что об ней порасскажут! Вот умирать-то и боится. Чего сама-то боится, тем и других пугает. Даже все мальчишки в городе от нее прячутся, — грозит на них палкой да кричит (*передразнивая*): "Все гореть в огне будете!"

К а т е р и н а (*зажмуриваясь*). Ах, ах, перестань! У меня сердце упало.

В а р в а р а. Есть чего бояться! Дура старая...

К а т е р и н а. Боюсь, до смерти боюсь! Все она мне в глазах мерещится.

Молчание.

В а р в а р а (*оглядываясь*). Что это братец нейдет, вон, никак, гроза заходит.

К а т е р и н а (*с ужасом*). Гроза! Побежим домой! Поскорее!

В а р в а р а. Что ты, с ума, что ли, сошла! Как же ты без братца-то домой покажешься?

К а т е р и н а. Нет, домой, домой! Бог с ним!

В а р в а р а. Да что ты уж очень боишься: еще далеко гроза-то.

К а т е р и н а. А коли далеко, так, пожалуй, подождем немного: а право бы, лучше идти. Пойдем лучше!

В а р в а р а. Да ведь уж коли чему быть, так и дома не спрячешься.

К а т е р и н а. Да все-таки лучше, все покойнее; дома-то я к образам да Богу молиться!

В а р в а р а. Я и не знала, что ты так грозы боишься. Я вот не боюсь.

К а т е р и н а. Как, девушка, не бояться! Всякий должен бояться. Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми. Мне умереть не страшно, а как я подумаю, что вот вдруг явлюсь перед Богом такая, какая я здесь с тобой, после этого разговору-то, вот что страшно. Что у меня на уме-то! Какой грех-то! страшно вымолвить!

Гром.

Ах!

К а б а н о в входит

В а р в а р а. Вот братец идет. (*Кабанову.*) Беги скорей!

Гром.

К а т е р и н а. Ах! Скорей, скорей!

Н. А. НЕКРАСОВ

Рыцарь на час

Если пасмурен день, если ночь не светла,
Если ветер осенний бушует,
Над душой воцаряется мгла,
Ум, бездействуя, вяло тоскует.
Только сном и возможно помочь,
Но, к несчастью, не всякому спится...

Славу Богу! морозная ночь —
Я сегодня не буду томиться.
По широкому полю иду,
Раздаются шаги мои звонко,
Разбудил я гусей на пруду,
Я со стога спугнул ястребенка,
Как он вздрогнул! как крылья развил!
Как взмахнул ими сильно и плавно!
Долго, долго за ним я следил,
Я невольно сказал ему: славно!
Чу! стучит проезжающий воз,
Деготьком потянуло с дороги...
Обоняние тонко в мороз,
Мысли свежи, выносливы ноги.
Отдаешься невольно во власть

Окружающей бодрой природы;
Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняет ожившую грудь;
Жаждой дела душа закипает,
Вспоминается пройденный путь,
Совесть песню свою запекает...
Я советую гнать ее прочь —
Будет время еще сосчитаться!
В эту тихую, лунную ночь
Созерцанию должно предаться.
Даль глубоко прозрачна, чиста,
Месяц полный плывет над дубровой,
И господствуют в небе цвета
Голубой, беловатый, лиловый.
Воды ярко блестят средь полей,
А земля прихотливо одета
В волны белого лунного света
И узорчатых, странных теней.
От больших очертаний картины
До тончайших сетей паутины,
Что, как иней, к земле прилегли, —
Все отчетливо видно: далече
Протянулись полосы гречи,
Красной лентой по скату прошли;
Замыкающий сонные нивы,
Лес сквозит, весь усыпан листвою;
Чудны красок его переливы
Под играющей, ясной луной;
Дуб ли пасмурный, клен ли веселый —
В нем легко отличишь издали;
Грудью к северу, ворон тяжелый —
Видишь — дремлет на старой ели!
Все, чем может порадовать сына
Поздней осенью родина-мать:
Зеленеющей озими гладь,

Подо льном — золотая долина,
Посреди освещенных лугов
Величавое войско стогов,
Все доступно довольному взору...
Не сожмется мучительно грудь,
Если б даже пришлось в эту пору
На родную деревню взглянуть:
Не видна ее бедность нагая!
Запаслася скирдами, родная,
Окружилася ими она
И стоит, словно полная чаша,
Пожелай ей покойного сна —
Утомилась, кормилица наша!..

Спи, кто может, — я спать не могу,
Я стою потихоньку, без шуму,
На покрытом стогами лугу
И невольную думаю думу.
Не умел я с тобой совладать.
Не осилил я думы жестокой...

В эту ночь я хотел бы рыдать
На могиле далекой,
Где лежит моя бедная мать...
В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой.
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне,
И на белой церковной стене
Отражается крест одинокий.
Да! я вижу тебя, Божий дом!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла с мечом,
Облаченного в светлую ризу:
Поднимается сторож-старик

На свою колокольню-руину,
На тени он громадно велик:
Пополам пересек всю равнину.
Поднимись! — и медлительно бей,
Чтобы слышалось долго гуденье!
В тишине деревенских ночей
Этих звуков властительно пенье:
Если есть в околотке больной,
Он при них встрепенется душой
И, считая внимательно звуки,
Позабудет на миг свои муки;
Одинокий ли путник ночной
Их заслышит — бодрее шагает;
Их заботливый пахарь считает
И, крестом осенясь в полусне,
Просит Бога о ведреном дне.
Звук за звуком, гудя, прокатился,
Насчитал я двенадцать часов.
С колокольни старик возвратился,
Слышу шум его звонких шагов,
Вижу тень его; сел на ступени,
Дремлет, голову свесив в колени.
Он в мохнатую шапку одет,
В балахоне убогом и темном...
Все, чего не видал столько лет,
От чего я пространством огромным
Отделен, — все живет предо мной.
Все так ярко рисуется взору,
Что не верится мне в эту пору,
Чтоб не мог увидеть я и той,
Чья душа здесь незрима витает,
Кто под этим крестом почивает...

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,

Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла ты, — грудью своей
Защищая любимых детей.
И гроза над тобой разразилась!
Ты, не дрогнув, удар приняла,
За врагов, умирая, молилася,
На детей милость Бога звала.
Неужели за годы страдания
Тот, кто столько тобою был чтим,
Не пошлет тебе радость свидания
С погибающим сыном твоим?..

Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
О прости! То не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну — и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что в мою заложила ты грудь,
Укрепила ты волею твердою
И на правый поставила путь...

Треволненья мирского далекая,
С неземным выраженьем в очах,
Русокудрая, голубоокая,
С тихой грустью на бледных устах,
Под грозой величаво-безгласная —

Молода умерла ты, прекрасная,
И такой же явилась ты мне
При волшебнo светящей луне.
Да! я вижу тебя, бледнолицую,
И на суд твой себя отдаю.
Не робеть перед правдой-царицею
Научила ты Музу мою:
Мне не страшны друзей сожаления,
Не обидно врагов торжество,
Изреки только слово прощения,
Ты, чистейшей любви божество!
Что враги? пусть клеветуют язвительней,
Я пощады у них не прошу.
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!
Что друзья? Наши силы неровные,
Я ни в чем середины не знал,
Что обходят они, хладнокровные,
Я на все безрассудно дерзал,
Я не думал, что молодость шумная,
Что надменная сила пройдет —
И влекла меня жажда безумная,
Жажда жизни — вперед и вперед!
Увлекаем бесславною битвою,
Сколько раз я над бездной стоял,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падал — и вовсе упал!..
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Тот, чья жизнь бесполезно разбилась,

Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце не робкое билось,
Что умел он любить...

(Утром, в постели)

О мечты! о волшебная власть
Возвышающей душу природы!
Пламя юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы —
Всё в душе угнетенной моей
Пробудилось... но где же ты, сила?
Я проснулся ребенка слабей.
Знаю: день проваляюсь уныло,
Ночью буду микстуру глотать,
И пугать меня будет могила,
Где лежит моя бедная мать.
Всё, что в сердце кипело, боролось,
Всё луч бледного утра спугнул,
И насмешливый внутренний голос
Злую песню свою затянул:
"Покорись — о, ничтожное племя!
Неизбежной и горькой судьбе,
Захватило вас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано..."

Пророк

Не говори: "Забыл он осторожность!
Он будет сам судьбы своей виной!..."
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенной и шире,
В его душе нет помыслов мирских.
"Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других!"

Так мыслит он — и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь его нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна...

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал Бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.

Кому на Руси жить хорошо.

Фрагмент

Зимой, перед лучиною
Сидит семья, работает,
А странничек гласит.
Уж в баньке он попарился,
Ушицы ложкой собственной,
С рукой благословляющей,
Досыта похлебал.
По жилам ходит чарочка,
Рекою льется речь.
В избе все словно замерло:
Старик, чинивший лапотки,
К ногам их уронил;
Челнок давно не чикает,
Заслушалась работница
У ткацкого станка;
Застыл уж на уколоте
Мизинце у Евгеньюшки,
Хозяйской старшей дочери,

Высокий бугорок,
А девка и не слышала,
Как укололась до крови;
Шитье к ногам спустилося,
Сидит, — зрачки расширены, —
Руками развела...
Ребята, свесив головы
С полатей, не шелохнутся:
Как тюленята сонные
На льдинах за Архангельском,
Лежат на животе.
Лиц не видать, завешены
Спустившимися прядями
Волос — не нужно сказывать,
Что желтые они.
Постой! уж скоро странничек
Доскажет былль афонскую,
Как турка взбунтовавшихся
Монахов в море гнал,
Как шли покорно иноки
И погибали сотнями...
Услышишь шепот ужаса,
Увидишь ряд испуганных,
Слезами полных глаз!
Пришла минута страшная —
И у самой хозяйшки
Веретено пузатое
Скатилось с колен.
Кот Васька насторожился —
И прыг к веретену!
В другую пору то-то бы
Досталось Ваське шустрому,
А тут и не заметили,
Как он проворной лапкою
Веретено потрогивал,
Как прыгал на него,

И как оно каталось,
Пока не размоталась
Напряденная нить!
Кто видывал, как слушает
Своих захожих странников
Крестьянская семья,
Поймет, что ни работою,
Ни вечною заботою,
Ни игом рабства долгого,
Ни кабаком самим
Ещё народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь!
Когда изменят пахарю
Поля старозапашные,
Клочки в лесных окраинах
Он пробует пахать.
Работы тут достаточно,
Зато полоски новые
Дают без удобрения
Обильный урожай.
Такая почва добрая —
Душа народа русского...
О сеятель! приди!..

И. С. ТУРГЕНЕВ

Из "Записок охотника"

Живые Мощи

Край родной долготерпенья —
Край ты русского народа!

Ф. Тютчев

Французская поговорка гласит: "Сухой рыбак и мокрый охотник являют вид печальный". Не имев никогда пристрастия к рыбной ловле, я не могу судить о том, что испытывает рыбак в хорошую, ясную погоду и насколько в ненастное время удовольствие, доставляемое ему обильной добычей, перевешивает неприятность быть мокрым. Но для охотника дождь — сущее бедствие. Именно такому бедствию подверглись мы с Ермолаем в одну из наших поездок за тетеревами в Белевский уезд. С самой утренней зари дождь не переставал. Уж чего-чего мы не делали, чтобы от него избавиться! И резиновые плащи чуть не на самую голову надевали, и под деревья становились, чтобы поменьше капало... Непромокаемые плащи, не говоря уже о том, что мешали стрелять, пропускали воду самым бесстыдным образом; а под деревьями точно, на первых порах, как будто и не капало, но потом вдруг накопившаяся в листве влага прорывалась, каждая ветка обдавала нас, как из дождевой трубы, холодная струйка забиралась под галстух и текла вдоль спинного хребта... А уж это последнее дело, как выражался Ермолай.

— Нет, Петр Петрович, — воскликнул он наконец. — Этак нельзя... Нельзя сегодня охотиться. Собакам чучье заливает; ружья осекаются.. Тьфу! Задача!

— Что же делать? — спросил я.

— А вот что. Поедьте в Алексеевку. Вы, может, не знаете — хуторок такой есть, матушке вашей принадлежит; отсюда верст восемь. Переночуем там, а завтра...

— Сюда вернемся?

— Нет, не сюда... Мне за Алексеевкой места известны... многим лучше здешних для тетеревов!

Я не стал расспрашивать моего верного спутника, зачем он не повез меня прямо в те места, и в тот же день мы добрались до матушкина хуторка, существования которого я, признаться сказать, и не подозревал до тех пор. При этом хуторке оказался флигелек, очень ветхий, но нежилой и потому чистый; я провел в нем довольно спокойную ночь.

На следующий день я проснулся ранехонько. Солнце только что встало; на небе не было ни одного облачка; все кругом блестело сильным двойным блеском: блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня. Пока мне закладывали таратайку, я пошел побродить по небольшому, некогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелек своей пахучей, сочной глушью. Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов! На крыльях своих они, наверно, унесли капли росы, и песни их казались орошенными росой. Я даже шапку снял с головы и дышал радостно — всею грудью. На склоне неглубокого оврага, возле самого плетня, виднелась пасека; узенькая тропинка вела к ней, извиваясь змейкой между сплошными стенами бурьяна и крапивы, над которыми высились, Бог ведает откуда занесенные, остроконечные стебли темнозеленой конопли.

Я отправился по этой тропинке; дошел до пасеки. Рядом с нею стоял плетеный сарайчик, так называе-

мый амшаник, куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмости, и на них, прикрытая одеялом, какая-то маленькая фигура... Я пошел было прочь...

— Барин, а барин! Петр Петрович! — слышался мне голос, слабый, медленный и сиплый, как шелест болотной осоки.

Я остановился.

— Петр Петрович! Подойдите, пожалуйста! — повторил голос. Он доносился до меня из угла, с тех, замеченных мною, подмостков.

Я приблизился — и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое?

Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать, только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое, — но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу — силится... силится и не может расплыться улыбка.

— Вы меня не узнаете, барин? — прошептал опять голос; он словно испарялся из едва шевелившихся губ. — Да и где узнать! Я Лукерья... Помните, что хороводы у матушки у вашей в Спасском водила... помните, я еще запевадой была?

— Лукерья! — воскликнул я. — Ты ли это? Возможно ли?

— Я, да, барин, — я. Я — Лукерья.

Я не знал, что сказать, и как ошеломленный глядел

на это темное, неподвижное лицо с устремленными на меня светлыми и мертвенными глазами. Возможно ли? Эта мумия — Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница Лукерья, за которую ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам вздыхал, я — шестнадцатилетний мальчик!

— Помилуй, Лукерья, — проговорил я наконец, — что это с тобой случилось?

— А беда такая стряслась! Да вы не побрезгуйте, барин, не погнушайтесь несчастьем моим, — сядьте вон на кадучечку, поближе, а то вам меня не слышно будет... вишь, я какая голосистая стала!.. Ну, уж и рада же я, что увидала вас! Как это вы в Алексеевку попали?

Лукерья говорила очень тихо и слабо, но без остановки.

— Меня Ермолай-охотник сюда завез. Но Расскажи же ты мне...

— Про беду-то мою рассказать? Извольте, барин. Случилось это со мной уже давно, лет шесть или семь. Меня тогда только что помолвили за Василья Полякова — помните, такой из себя статный был, кудрявый, еще буфетчиком у матушки у вашей служил? Да вас же тогда в деревне не было; в Москву уехали учиться. Очень мы с Василием слюбились; из головы он у меня не выходил; а дело было весною. Вот раз ночью... уж и до зари недалеко... а мне не спится: соловей в саду таково удивительно поет сладко!.. Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается... и вдруг мне почудилось: зовет меня кто-то Васиным голосом, тихо так: "Луша!.." Я глядь в сторону, да, зная, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз — да о землю хлоп! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому — скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри — в утробе — порвалось... Дайте дух

перевести... с минуточку... барин.

Лукерья умолкла; а я с изумлением глядел на нее. Изумляло меня, собственно, то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие.

— С самого того случая, — продолжала Лукерья, — стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже — полно и ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: все хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Однако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Что они со мной только не делали: железом раскаленным спину жгли, в колотый лед сажали — и все ничего. Совсем я окостенела под конец... Вот и порешили господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать калек неспособно... ну, и переслали меня сюда — потому тут у меня родственники есть. Вот я и живу, как видите.

Лукерья опять умолкла и опять усилилась улыбнуться.

— Это, однако же, ужасно, твое положение! — воскликнул я... и, не зная, что прибавить, спросил: — А что же Поляков Василий? — Очень глуп был этот вопрос.

Лукерья отвела глаза немного в сторону.

— Что Поляков? Потужил, потужил — да и женился на другой, на девушке из Глинного. Знаете Глинное? От нас недалече. Аграфеной ее звали. Очень он меня любил, да ведь человек молодой — не оставаться же ему холостым. И какая уж я ему могла быть подруга? А жену он нашел себе хорошую, добрую, и детки у них есть. Он тут у соседа в приказчиках живет: матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава

Богу, хорошо.

— И так ты все лежишь да лежишь? — спросил я опять.

— Вот так и лежу, барин, седьмой годок. Летом-то я здесь лежу, в этой плетушке, а как холодно станет — меня в предбанник перенесут. Там лежу.

— Кто же за тобой ходит? Присматривает кто?

— А добрые люди здесь есть тоже. Меня не оставляют. Да и ходьбы за мной немного. Есть-то почитай что не ем ничего, а вода — вон она в кружке-то: всегда стоит припасенная, чистая, ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу: одна рука у меня еще действовать может. Ну, девочка тут есть, сиротка; нет, нет — да наведается, спасибо ей. Сейчас тут была... Вы ее не встретили? Хорошенькая такая, беленькая. Она цветы мне носит; большая я до них охотница, до цветов-то. Садовых у нас нет, — были, да перевелись. Но ведь и полевые цветы хороши, пахнут еще лучше садовых. Вот хоть бы ландыш... на что приятнее!

— И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья?

— А что будешь делать? Лгать не хочу — сперва очень томно было; а потом привыкла, обтерпелась — ничего; иным еще хуже бывает.

— Это каким же образом?

— А у иного и пристанища нет! А иной — слепой или глухой! А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Крот под землею роется — я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет или липа в саду — мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что Бога гневить? — многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошел. Намеднись отец Алексей, священник, стал меня причащать, да и говорит: "Тебя, мол, исповедовать нечего: разве ты в твоём

состоянии согрешить можешь?" Но я ему ответила: "А мысленный грех, батюшка?" — "Ну, — говорит, а сам смеется, — это грех не великий".

— Да я, должно быть, и этим самым мысленным грехом не больно грешна, — продолжала Лукерья, — потому я так себя приучила: не думать, а пуще того — не вспоминать. Время скорей проходит.

Я, признаюсь, удивился.

— Ты все одна да одна, Лукерья; как же ты можешь помешать, чтобы мысли тебе в голову не шли? Или ты все спишь?

— Ой, нет, барин! Спать-то я не всегда могу. Хоть и больших болей у меня нет, а ноет у меня там, в самом нутре, и в костях тоже; не дает спать как следует. Нет... а так лежу я себе, лежу-полеживаю — и не думаю; чую, что жива, дышу — и вся я тут. Смотрю, слушаю. Пчелы на пасеке жужжат да гудят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка — мне очень приятно. В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занято! Одна влетит, к гнездышку припадет, деток накормит — и вон. Глядишь — уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки тотчас — ну пищать да клювы разевать... Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какие вы, господа охотники, злые!

— Я ласточек не стреляю, — поспешил я заметить.

— А то раз, — начала опять Лукерья, — вот смеху-то было! Заяц забежал, право! Собаки, что ли, за ним гнались, только он прямо в дверь как прикатит!.. Сел близехонько и долго-таки сидел, все носом водил и усами дергал — настоящий офицер! И на меня смотрел.

Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся — да и был таков! Смешной такой!

Лукерья взглянула на меня... аль, мол, не забавно? Я, в угоду ей, посмеялся. Она покусала пересохшие губы.

— Ну, зимою, конечно, мне хуже: потому — темно; свечку зажечь жалко, да и к чему? Я хоть грамоте знаю и читать завсегда охоча была, но что читать? Книг здесь никаких, да хоть бы и были, как я буду держать ее, книгу-то? Отец Алексей мне, для рассеянности, принес календарь, да видит, что пользы нет, взял да унес опять. Однако хоть и темно, а все слушать есть что: сверчок затрещит али мышь где скрестись станет. Вот тут-то хорошо: не думать!

— А то я молитвы читаю, — продолжала, отдохнув немного, Лукерья. — Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест — значит, меня он любит. Так нам велено это понимать. Прочту Отче наш, Богородицу, акафист всем скорбящим — да и опять полеживаю себе безо всякой думочки. И ничего!

Прошло минуты две. Я не нарушал молчанья и не шевелился на узенькой кадушке, служившей мне сиденьем. Жестокая, каменная неподвижность лежавшего передо мною живого, несчастного существа сообщила и мне: я тоже словно оцепенел.

— Послушай, Лукерья, — начал я наконец. — Послушай, какое я тебе предложение сделаю. Хочешь, я распоряджусь: тебя в больницу перевезут, в хорошую городскую больницу? Кто знает, быть может тебя еще вылечат? Во всяком случае ты одна не будешь...

Лукерья чуть-чуть двинула бровями.

— Ох, нет, барин, — промолвила она озабоченным

шепотом, — не переводите меня в больницу, не трогайте меня. Я там только больше муки приму. Уж куда меня лечить! Вот так-то раз доктор сюда приезжал; осматривать меня захотел. Я его прошу: "Не тревожьте вы меня, Христа ради". Куда! переворачивать меня стал, руки, ноги разминал, разгибал; говорит: "Это я для учености делаю; на то я служащий человек, ученый! И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за труды орден на шею дан, и я для вас же, дураков, стараюсь". Потормошил, потормошил меня, назвал мне мою болезнь — мудрено таково — да с тем и уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли. Вы говорите: я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ко мне ходят. Я смирная — не мешаю. Девушки крестьянские зайдут, погуторят; странница забредет, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города. Да мне и не страшно одной быть. Даже лучше, ей-ей!.. Барин, не трогайте меня, не возите в больницу... Спасибо вам, вы добрый, только не трогайте меня, голубчик.

— Ну, как хочешь, как хочешь, Лукерья. Я ведь для твоей же пользы полагал...

— Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай! Вы вот не поверите — а лежу я иногда так-то одна... и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я — живая! И чудится мне, будто что меня осенит... Возьмет меня размышление — даже удивительно!

— О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья?

— Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было — не поймешь! Только думается мне: будь около меня люди — ничего бы этого не было, ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья.

Лукерья вздохнула с трудом. Грудь ей не повиновалась — так же, как и остальные члены.

— Как погляжу я, барин, на вас, — начала она снова, — очень вам меня жалко. А вы меня не слишком жалейте, право! Я вам, например, что скажу: я иногда и теперь... Вы ведь помните, какая я была в свое время веселая? Бой-девка!.. так знаете что? Я и теперь песни пою.

— Песни?.. Ты?

— Да, песни, старые песни, хороводные, подблюдные, святочные, всякие! Много я их ведь знала и не забыва. Только вот плясовых не пою. В теперешнем моем звании оно не годится.

— Как же ты поешь их... про себя?

— И про себя и голосом. Громко-то не могу, а все — понять можно. Вот я вам сказала — девочка ко мне ходит. Сиротка, значит, понятливая. Так вот я ее выучила; четыре песни она уже у меня переняла. Аль не верите? Пойдите, я вам сейчас...

Лукерья собралась с духом... Мысль, что это полумертвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде чем я мог промолвить слово — в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук... за ним последовал другой, третий. "Во лузях" пела Лукерья. Она пела, не изменив выражения своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, усиленный, как струйка дыма колебавшийся голосок, так хотелось ей всю душу вылить... Уже не ужас чувствовал я: жалость несказанная стиснула мне сердце.

— Ох, не могу! — проговорила она вдруг, — силушки не хватает... Очень уж я вам обрадовалась.

Она закрыла глаза.

Я положил руку на ее крошечные холодные пальчики... Она взглянула на меня — и ее темные веки,

опушенные золотистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова. Спустя мгновение они заблестали в полутьме... Слеза их смочила.

Я не шевелился по-прежнему.

— Экая я! — проговорила вдруг Лукерья с неожиданной силой и, раскрыв широко глаза, постаралась смигнуть с них слезу. — Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случилось... с самого того дня, как Поляков Вася у меня был прошлой весной. Пока он со мной сидел да разговаривал — ну, ничего; а как ушел он — поплакала я-таки в одиночку! Откуда бралось!.. Да ведь у нашей сестры слезы некупленные. Барин, — прибавила Лукерья, — чай, у вас платочек есть... Не побрезгуйте, утрите мне глаза.

Я поспешил исполнить ее желание — и платок ей оставил. Она сперва отказывалась... на что мне такой подарок? Платок был очень простой, но чистый и белый. Потом она схватила его своими слабыми пальцами и уже не разжала их более. Привыкнув к темноте, в которой мы оба находились, я мог ясно различить ее черты, мог даже заметить тонкий румянец, проступивший сквозь бронзу ее лица, мог открыть в этом лице — так по крайней мере мне казалось — следы его бывалой красоты.

— Вот вы, барин, спрашивали меня, — заговорила опять Лукерья, — сплю ли я? Сплю я точно редко, но всякий раз сны вижу, хорошие сны! Никогда я больной себя не вижу: такая я всегда во сне здоровая да молодая... Одно горе: проснусь я, потянуться хочу хорошенько — ан я вся как скованная. Раз мне такой чудный сон приснился! Хотите, расскажу вам? — Ну, слушайте. — Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая — все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот когда он на

серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочиста. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: нарву я этих васильков; Вася прийти обещался — так вот я себе венок сперва совью; жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе венок свить. А между тем я слышу — кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: Луша! Луша!.. Ай, думаю, беда — не успела! Все равно, надену я себе на голову этот месяц заместо васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь — по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько — только не Вася, а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, — таким его не пишут, а только он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом, — только пояс золотой, — и ручку мне протягивает. "Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские". И я к его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги... но тут мы взвились! Он впереди... Крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, — и я за ним! И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя и что в царстве небесном ей уже места не будет.

Лукерья умолкла на минуту.

— А то еще видела я сон, — начала она снова, — а быть может, это было мне видение — я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и

матушка, мне кланяетесь? А затем, говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила; теперь наши грехи побеждаешь. И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало их видно: одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мною было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видения бывают одному духовному чину.

— А то вот еще какой мне был сон, — продолжала Лукерья. — Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под раkitой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана — как есть странница! И идти мне куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходят мимо меня все странники; идут они тихо, словно нехотя, все в одну сторону; лица у всех унылые и друг на дружку все очень похожи. И вижу я: вьется, мечется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от нее сторонятся; а она вдруг верть — да прямо ко мне. Остановилась и смотрит; а глаза у ней, как у сокола, желтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я ее: "Кто ты?" А она мне говорит: "Я смерть твоя". Мне чтобы испугаться, а я напротив — рада-радехонька, крещусь! И говорит мне та женщина, смерть моя: "Жаль мне тебя, Лукерья, но взять я тебя с собой не могу. Прощай!" Господи! как мне тут грустно стало!.. "Возьми меня, говорю, матушка, голубушка, возьми!" И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать... Понимаю я, назначает она мне мой час, да непонятно так, неясвенно... После, мол, петровок... С этим я проснулась. Такие-то у меня бывают сны

удивительные!

Лукерья подняла глаза кверху... задумалась...

— Только вот беда моя: случается, целая неделя пройдет, а я не засну ни разу. В прошлом году барыня одна приезжала, увидела меня, да и дала мне стекляночку с лекарством против бессонницы; по десяти капель приказала принимать. Очень мне помогало, и я спала; только теперь давно та стекляночка выпита... Не знаете ли, что это было за лекарство и как его получить?

Проезжавшая барыня, очевидно, дала Лукерье опиума. Я обещался доставить ей такую стекляночку и опять-таки не мог не подивиться вслух ее терпенью.

— Эх, барин! — возразила она. — Что вы это? Какое такое терпение? Вот Симеона Столпника терпение было точно великое: тридцать лет на столбу простоял! А другой угодник себя в землю зарыть велел по самую грудь, и муравьи ему лицо ели... А то вот еще мне сказывал один начетчик: была некая страна, и ту страну агаряне завоевали, и всех жителей они мучили и убивали; и что ни делали жители, освободить себя никак не могли. И проявись тут между теми жителями святая девственница; взяла она меч великий, латы на себя возложила двухпудовые, пошла на агарян и всех их прогнала за море. А только прогнавши их, говорит им: "Теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обещание, чтобы мне огненной смертью за свой народ помереть". И агаряне ее взяли и сожгли, а народ с той поры навсегда освободился! Вот это подвиг! А я что!

Подивился я тут про себя, куда и в каком виде зашла легенда об Иоанне д'Арк, и, помолчав немного, спросил Лукерью: сколько ей лет?

— Двадцать восемь... али девять... Тридцати не будет. Да что их считать, года-то! Я вам еще вот что доложу...

Лукерья вдруг как-то глухо кашлянула, охнула...

— Ты много говоришь, — заметил я ей, — это может тебе повредить.

— Правда, — прошептала она едва слышно, — разговорке нашей конец; да куда ни шло! Теперь, как вы уедете, намолчусь я вволю. По крайности душу отвела...

Я стал прощаться с нею, повторил ей мое обещание прислать ей лекарство, попросил ее еще раз хорошенько подумать и сказать мне — не нужно ли ей чего?

— Ничего мне не нужно; всем довольна, слава Богу, — с величайшим усилием, но умиленно произнесла она. — Дай Бог всем здоровья! А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить — крестьяне здешние бедные, хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет... Они бы за вас Богу помолились... А мне ничего не нужно, всем довольна.

Я дал Лукерье слово исполнить ее просьбу и подходил уже к дверям... она подозвала меня опять.

— Помните, барин, — сказала она, и чудное что-то мелькнуло в ее глазах и на губах, — какая у меня была коса? Помните — до самых колен! Я долго не решалась... Этакие волосы!.. Но где же их было расчесывать? В моем-то положении!.. Так уж я их и обрезала... Да... Ну, простите, барин! Больше не могу...

В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хуторским десятским. Я узнал от него, что ее в деревне прозвали "Живые Мощи", что, впрочем, от нее никакого не видать беспокойства; ни ропота от нее не слышать, ни жалоб. "Сама ничего не требует, а напротив — за все благодарна; тихоня, как есть тихоня, так сказать надо. Богом убитая, — так заключил десятский, — стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее — нет, мы ее не осуждаем. Пуцай ее!"

Несколько недель спустя я узнал, что Лукерья скончалась. Смерть пришла-таки за ней... "после петровок". Рассказывали, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают пять верст с лишком и день был будничным. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а "сверху". Вероятно, она не посмела сказать: с неба.

1874

Из "Стихотворений в прозе"

Два богача

Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых — я хвалю и умиляюсь.

Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко.

— Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут, — не на что будет соли добыть, похлебку посолить...

— А мы ее... и не соленую, — ответил мужик, ее муж.

Далеко Ротшильду до этого мужика!

Июль, 1878

Христос

Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие

свечи.

Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви... Но народу стояло передо мною много.

Все русые крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер.

Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною рядом.

Я не обернулся к нему — но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос.

Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собою усилие... и посмотрел на своего соседа.

Лицо, как у всех, — лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты: верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем как на всех.

"Какой же это Христос! — подумалось мне. — Такой простой, простой человек! Быть не может!"

Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоял со мной рядом.

Я опять сделал над собою усилие... И опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, те же обычные, хотя и незнакомые черты.

И мне вдруг стало жутко — и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо — лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Братья Карамазовы. Часть вторая

Книга пятая. Pro и contra

Глава V. Великий инквизитор

Ведь вот и тут без предисловия невозможно, — то есть без литературного предисловия, тьфу! — засмеялся Иван, — а какой уж я сочинитель! Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, — тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, — тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого Бога. Тогда все это было очень простодушно. В "Notre Dame de Paris"* у Виктора Гюго в честь рождения французского дофина, в Париже, при Людовике XI, в зале ратуши дается назидательное и даровое представление народу под названием "Le bon jugement de la tres sainte et graciuse Vierge Marie"**, где и является она сама лично и произносит свой bon jugement***.

У нас, в Москве, в допетровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого завета особенно, тоже совершались по временам; но, кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и "стихов", в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами,

* "Соборе Парижской богородицы" (франц.).

** "Праведный суд Пресвятой и Всемилоливой Девы Марии" (франц.).

*** праведный суд.

списыванием и даже сочинением таких поэм, да еще когда — в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого): "Хождение Богородицы по мукам", с картинками и со смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посещает ад и руководит ее "по мукам" архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один презанятийный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, то "тех уже забывает Бог" — выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот, пораженная и плачущая Богоматерь падает пред престолом Божиим и просит всем во аде помилования, всем, которых она видела там, без различия. Разговор ее с Богом колоссально интересен. Она умоляет, она не отходит, и когда Бог указывает ей на пригвожденные руки и ноги ее сына и спрашивает: как я прощу его мучителей, — то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год, от великой пятницы до троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят Господа и вопиют к нему: "Прав ты, Господи, что так судил". Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является Он; правда, Он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому как Он дал обетование прийти во царствии своем, пятнадцать веков, как пророк Егo написал: "Се гряду скоро". "О дне же сем и часе не знает даже и Сын, токмо лишь Отец мой небесный", как изрек Он и сам еще на земле. Но человечество ждет Егo с прежней верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо пятнадцать

веков уже минуло с тех пор, как прекратились залогов с небес человеку:

Верь тому, что сердце скажет,
Нет залогов от небес.

И только одна лишь вера в сказанное сердцем! Правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама Царица Небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда, "подобная светильнику" (то есть церкви), "пала на источники вод, и стали они горьки". Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к Нему по-прежнему, ждут Его, любят его, надеются на Него, жаждут пострадать и умереть за Него, как и прежде... И вот сколько веков молило человечество с верой и пламенем: "Бо Господи, явися нам", столько веков взывало к нему, что Он, в неизмеримом сострадании своем, возжелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал Он и до этого иных праведников, мучеников и всяких отшельников еще на земле, как и записано в их "житиях". У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил благословляя.

Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот Он возжелал появиться хоть на мгновение к народу — к мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но младенчески любящему его народу. Действие у меня в

Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и

В великолепных автодафе
Сжигали злых еретиков.

О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится Он, по обещанию своему, в конце времен во всей славе небесной и которое будет внезапно, "как молния, блистающая от востока до запада". Нет, Он возжелал хоть на мгновение посетить детей своих и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию своему, Он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он снисходит на "стогны жаркие" южного города, как раз в котором всего лишь накануне в "великолепном автодафе", в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена кардиналом великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков *ad maiorem gloriam Dei**.

Он появился тихо, незаметно, и вот все — странно это — узнают Его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают Его. Народ непобедимо силой стремится к Нему, окружает Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди них с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною

* к вящей славе Господней (лат.).

любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, от прикосновения к Нему, даже лишь к одеждам Его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: "Господи, исцели меня, да и я Тебя узрю", — и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой Его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет Он. Дети бросают пред Ним цветы, поют и вопиют Ему: "Осанна!" "Это Он, это сам Он, — повторяют все, — это должен быть Он, это никто как Он". Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. "Он воскресит твое дитя", — кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный пater смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам Его: "Если это Ты, то воскреси дитя мое!" — восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам Его. Он глядит с состраданием, и уста Его тихо и еще раз произносят: "Талифа куми" — "и восста девица". Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов

римской веры, — нет, в эту минуту он лишь в старой грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и "священная" стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел, он видел, как поставили гроб у ног Его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять Его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на Него руки и уводят Его. Толпа моментально, вся как один человек, склоняется головами до земли пред старцем инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и "бездыханная" севильская ночь. Воздух "лавром и лимоном пахнет". Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо Его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему:

— Это Ты? Ты? — Но, не получая ответа, быстро прибавляет: — Не отвечай, молчи. Да и что бы Ты мог сказать? Я слишком знаю, что Ты скажешь. Да Ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано Тобой прежде. Зачем же Ты пришел нам мешать? Ибо Ты пришел нам мешать и сам это знаешь.

Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: Ты ли это или только подобие Его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь Ты это? Да, Ты, может быть, это знаешь, — прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника.

— Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? — улыбнулся все время молча слушавший Алеша, — прямо ли безбрежная фантазия, или какая-нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное *qui pro quo*?*

— Прими хоть последнее, — рассмеялся Иван, — если уж тебя так разбаловал современный реализм и ты не можешь вынести ничего фантастического — хочешь *qui pro quo*, то пусть так и будет. Оно правда, — рассмеялся он опять, — старику девяносто лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его своею наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во сто сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что *qui pro quo*, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что, наконец, за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал.

— А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?

— Да так и должно быть во всех даже случаях, —

* "одно вместо другого", путаница, недоразумение (*лат.*).

опять засмеялся Иван. — Сам старик замечает Ему, что Он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению по крайней мере: "всё, дескать, передано тобою папе и всё, стало быть, теперь у папы, а ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени по крайней мере". В этом смысле они не только говорят, но и пишут, иезуиты по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. "Имеешь ли Ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого Ты пришел? — спрашивает его мой старик и сам отвечает ему за него, — нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, чтобы не отнять у людей свободы, за которую Ты так стоял, когда был на земле. Все, что Ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры Тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не Ты ли так часто тогда говорил: "Хочу сделать вас свободными". Но вот Ты теперь видел этих "свободных" людей, — прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. — Да, это дело нам дорого стоило, — продолжает он, строго смотря на него, — но мы докончили наконец это дело во имя Твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостоиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль Ты желал, такой ли свободы?"

— Я опять не понимаю, — прервал Алеша, — он иронизирует, смеется?

— Нимало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они победили свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. "Ибо теперь только (то есть он, конечно, говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, — говорит он Ему, — Ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но Ты не послушал предупреждений, Ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, Ты передал дело нам. Ты обещал, Ты утвердил своим словом, Ты дал нам право связывать и развязывать, и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же Ты пришел нам мешать?"

— А что значит: не имел недостатка в предупреждении и указании? — спросил Алеша.

— А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать.

"Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, — продолжает старик, — великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы "искушал" тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил Тебе в трех вопросах, и что Ты отверг, и что в книгах названо "искушениями"? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершенно настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтоб внести

опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных — правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, — то думаешь ли Ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены Тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековым и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более.

Реши же Сам, кто был прав: Ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос: хоть и не буквально, но смысл его тот: "Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, — ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и пос-

лушное, хотя и вечно трепещущее, что отымешь руку Свою и прекратятся им хлебы Твои". Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит Тебя, и все пойдут за ним, восклицая: "Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!" Знаешь ли Ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть; нет и греха, а есть лишь только голодные. "Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!" — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же Ты бы мог избежать той новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: "Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали". И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя Твое, и солжем, что во имя Твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя! Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: "Лучше поработите нас, но накормите нас". Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделить между собою! Убедятся тоже, что не могут

быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? И если за Тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль Тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих Тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны, бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать — так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны Тебе и господствуем во имя Твое. Мы их обманем опять, ибо Тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что Ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв "хлебы", ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоголичного существа, так и целого человечества вместе — это: "пред кем преклониться?" Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому

преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно *все вместе*. Вот эта потребность *общности* преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг к другу: "Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!" И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред идолами. Ты знал, Ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось Тебе, чтобы заставить всех преклониться пред Тобою бесспорно, — знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал Ты далее. И все опять во имя свободы! Говорю Тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоил их совесть. С хлебом Тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо Тебя — о, тогда он даже бросит хлеб Твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом Ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы. Это так, но что же вышло: вместо того чтоб овладеть свободой людей, Ты увеличил им ее еще больше! Или Ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольсти-

тельное для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда — Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял всё, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, — и это кто же: Тот, который пришел отдать за них жизнь свою! Вместо того чтоб овладеть людскою свободой, Ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за Тобою, прельщенный и плененный Тобою. Вместо твердого древнего закона — свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред собою, — но неужели Ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и Твой образ и Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в Тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал Ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам Ты и положил основание к разрушению Своего же царства и не вина никого в этом более. А между тем то ли предлагалось Тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья, — эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье и Сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил Тебя на вершине храма и сказал Тебе: "Если хочешь узнать, Сын ли Ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про Того, что ангелы подхватят и понесут Его, и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, Сын ли Ты Божий, и докажешь тогда, какова вера Твоя в Отца Твоего". Но Ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз.

О, конечно, Ты поступил тут гордо и великолепно как Бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это — они-то боги ли? О, Ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, Ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в Него всю потерял и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как Ты? И неужели Ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтоб отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, Ты знал, что подвиг Твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя Тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали Тебе, издеваясь и дразня Тебя: "Сойди со креста и уверуем, что это Ты." Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого Ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем Ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и Ты?



Н. Н. Ге. Голгофа. Неоконченная картина. 1892.

Столь уважая его, Ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал, — и это кто же, Тот, который возлюбил его более самого себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства и в конце концов сама же всегда и отмстит за него. Итак, беспокойство, смятение и несчастье — вот теперешний удел людей после того, как Ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк Твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест Твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, — и уж, конечно, Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя Твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем вино-

вата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил Ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг Твой и основали его на *чуде, тайне и авторитете*. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь пришел нам мешать? И что Ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви Твоей, потому что сам не люблю Тебя. И что мне скрывать от Тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать Тебе, все уже известно, 'я читаю это в глазах Твоих. И я ли скрою от Тебя тайну нашу? Может быть, Ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с Тобой, а с *ним*, вот наша тайна! Мы давно уже не с Тобою, а с *ним*, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от *него* то, что Ты с негодованием отверг, тот последний дар, который *он* предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные: мы взяли от *него* Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доньше не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А между

тем Ты бы мог еще и тогда взять меч кесаря. Зачем Ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, Ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть и третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингис-ханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли Тебя и пошли за *ним*. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь и будет лизать ноги наши и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: "Тайна!" Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у Тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали наконец, ожидая Тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на Тебе же и воздвигнут

свободное знамя свое. Но Ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе Твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: "Да, вы были правы, вы одни владели тайной Его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих". Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится и уже раз и навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо Ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они

только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же мы грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей — все судя по их послушанию — и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести — всё, всё понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое

и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Говорят и пророчествуют, что Ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих *тайну*, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее "гадкое" тело. Но я тогда встану и укажу Тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред Тобой и скажем: "Суди нас, если можешь и смеешь". Знай, что я не боюсь Тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою Ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников Твоих, в число могучих и сильных с жаждой "восполнить число". Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые *исправили подвиг Твой*. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю Тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю Тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это Ты. Завтра сожгу Тебя. *Dixi*".*

Иван остановился. Он разгорячился говоря и говорил с увлечением; когда же кончил, то вдруг улыбнулся.

* Я сказал (*лат.*).

Алеша, все слушавший его молча, под конец же в чрезвычайном волнении много раз пытавшийся перебить речь брата, но видимо себя сдерживавший, вдруг заговорил, точно сорвался с места.

— Но... это нелепость! — вскричал он, краснея. — Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула... как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать! То ли понятие в православии... Это Рим, да и Рим не весь, это неправда — это худшие из католичества, инквизиторы, иезуиты!.. Да и совсем не может быть такого фантастического лица, как твой инквизитор. Какие это грехи людей, взятые на себя? Какие это носители тайны, взявшие не себя какое-то проклятие для счастья людей? Когда они виданы? Мы знаем иезуитов, про них говорят дурно, но то ли они, что у тебя? Совсем они не то, вовсе не то... Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства, с императором — римским первосвященником во главе... вот их идеал, но безо всяких тайн и возвышенной грусти... Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения... вроде будущего крепостного права, с тем, что они станут помещиками... вот и все у них. Они и в Бога не веруют, может быть. Твой страдающий инквизитор одна фантазия...

— Да стой, стой, — смеялся Иван, — как ты разгорячился. Фантазия, говоришь ты, пусть! Конечно, фантазия. Но позволь, однако: неужели ты в самом деле думаешь, что все это католическое движение последних веков есть и в самом деле одно лишь желание власти для одних только грязных благ. Уж не отец ли Паисий так тебя учит?

— Нет, нет, напротив, отец Паисий говорил однажды что-то вроде даже твоего... но, конечно, не то, совсем не то, — спохватился вдруг Алеша.

— Драгоценное, однако же, сведение, несмотря на твое: "совсем не то". Я именно спрашиваю тебя, почему

твои иезуиты и инквизиторы совокупились для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться ни одного страдальца, мучимого великою скорбью и любящего человечество? Видишь: предположи, что нашелся хотя один из всех этих желающих одних только материальных и грязных благ — хоть один только такой, как мой старик инквизитор, который сам ел коренья в пустыне и бесновался, побеждая плоть свою, чтобы сделать себя свободным и совершенным, но, однако же, всю жизнь свою любивший человечество и вдруг прозревший и увидавший, что невелико нравственное блаженство достигнуть совершенства воли с тем, чтобы в то же время убедиться, что миллионы остальных существ Божиих остались устроенными лишь в насмешку, что никогда не в силах они будут справиться со своею свободой, что из жалких бунтовщиков никогда не выйдет великанов для завершения башни, что не для таких гусей Великий идеалист мечтал о своей гармонии. Поняв все это, он воротился и примкнул... к умным людям. Неужели этого не могло случиться?

— К кому примкнул, к каким умным людям? — почти в азарте воскликнул Алеша. — Никакого у них нет такого ума и никаких таких тайн и секретов... Одно только разве безбожие, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет

— Хотя бы и так! Наконец-то ты догадался. И действительно так, действительно только в этом и весь секрет, но разве это не страдание, хотя бы для такого, как он, человека, который всю жизнь свою убил на подвиг в пустыне и не излечился от любви к человечеству? На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, "недоделанные пробные существа, созданные в насмешку". И вот, убедясь в этом он видит,

что надо идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению и притом обманывать их всю дорогу, чтобы они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми. И заметь себе, обман во имя того, в идеал которого столь страстно веровал старик во всю свою жизнь! Разве это не несчастье? И если бы хоть один такой очутился во главе всей этой армии, "жаждущей власти для одних только грязных благ", то неужели же не довольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедия? Мало того: довольно и одного такого, стоящего во главе, чтобы нашлась наконец настоящая руководящая идея всего римского дела со всеми его армиями и иезуитами, высшая идея этого дела. Я тебе прямо говорю, что я твердо верую, что этот единый человек и не оскудевал никогда между стоящими во главе движения. Кто знает, может быть, случались и между римскими первосвященниками эти единые. Кто знает, может быть, этот проклятый старик, столь упорно и столь по-своему любящий человечество, существует и теперь в виде целого сонма многих таковых единых стариков и не случайно вовсе, а существует как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей, с тем чтобы сделать их счастливыми. Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны в основе их и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов, раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и один пастырь... Впрочем, защищая мою мысль, я имею вид сочинителя, не выдержавшего твоей критики. Довольно об этом.

— Ты, может быть, сам масон! — вырвалось вдруг у

Алеши. — Ты не веришь в Бога, — прибавил он, но уже с чрезвычайною скорбью. Ему показалось к тому же, что брат смотрит на него с насмешкой. — Чем же кончается твоя поэма? — спросил он вдруг, смотря в землю, — или уж она кончена?

— Я хотел ее кончить так: когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: "Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!" И выпускает его на "темные стогна града". Пленник уходит.

— А старик?

— Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее.

— И ты вместе с ним, и ты? — горестно воскликнул Алеша. Иван засмеялся.

— Да ведь это же вздор, Алеша, ведь это только бестолковая поэма бестолкового студента, который никогда двух стихов не написал. К чему ты в такой серьез берешь? Уж не думаешь ли ты, что я прямо поеду теперь туда, к иезуитам, чтобы стать в сонме людей, поправляющих его подвиг? О Господи, какое мне дело! Я ведь тебе сказал: мне бы только до тридцати лет дотянуть, а там — кубок об пол!

— А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем ты любить-то их будешь, — горестно восклицал Алеша. — С таким адом в груди и в голове разве это

возможно? Нет, именно ты едешь, чтобы к ним примкнуть... а если нет, то убьешь себя сам, а не выдержишь!

— Есть такая сила, что все выдержит! — с холодной уже усмешкой проговорил Иван.

— Какая сила?

— Карамазовская... сила низости карамазовской.

— Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да, да?

— Пожалуй, и это... только до тридцати лет, может быть, и избегну, а там...

— Как же избежешь? Чем избежешь? Это невозможно с твоими мыслями.

— Опять-таки по-карамазовски.

— Это чтобы "все позволено"? Все позволено, так ли, так ли?

Иван нахмурился и вдруг странно как-то побледнел.

— А, это ты подхватил вчерашнее словцо, которым так обиделся Миусов... и что так наивно выскочил и переговорил брат Дмитрий? — криво усмехнулся он. — Да, пожалуй: "все позволено", если уж слово произнесено. Не отрекаюсь. Да и редакция Митенькина недурна.

Алеша молча глядел на него.

— Я, брат, уезжая, думал, что имею на всем свете хоть тебя, — с неожиданным чувством проговорил вдруг Иван, — а теперь вижу, что и в твоём сердце мне нет места, мой милый отшельник. От формулы "все позволено" я не отрекусь, ну и что же, за это ты от меня отречешься, да, да?

Алеша встал, подошел к нему и молча тихо поцеловал его в губы.

— Литературное воровство! — вскричал Иван, переходя вдруг в какой-то восторг, — это ты украл из моей поэмы! Спасибо, однако. Вставай, Алеша, идем, пора и мне и тебе.

Они вышли, но остановились у крыльца трактира.

— Вот что, Алеша, — проговорил Иван твердым голосом, — если в самом деле хватит меня на клейкие листочки, то любить их буду, лишь тебя вспоминая. Довольно мне того, что ты тут где-то есть, и жить еще не расхочу. Довольно этого тебе? Если хочешь, прими хоть за объяснение в любви. А теперь ты направо, я налево — и довольно, слышишь, довольно. То есть, если я бы завтра и не уехал (кажется, уеду наверно) и мы бы еще опять как-нибудь встретились, то уже на все эти темы ты больше со мной ни слова. Настоятельно прошу. И насчет брата Дмитрия тоже, особенно прошу тебя, даже и не заговаривай со мной никогда больше, — прибавил он вдруг раздражительно, — все исчерпано, все переговорено, так ли? А я тебе с своей стороны за это тоже одно обещание дам, когда к тридцати годам я захочу "бросить кубок об пол", то, где б ты ни был, я-таки приду еще раз переговорить с тобою... хотя бы даже из Америки, это ты знай. Нарочно приеду. Очень интересно будет и на тебя поглядеть к тому времени: каков-то ты тогда будешь? Видишь, довольно торжественное обещание. А в самом деле мы, может быть, лет на семь, на десять прощаемся. Ну иди теперь к твоему Pater Seraphicus, ведь он умирает; умрет без тебя, так еще, пожалуй, на меня рассердишься, что я тебя задержал. До свидания, целуй меня еще раз, вот так, и ступай...

Иван вдруг повернулся и пошел своею дорогой, уже не оборачиваясь. Похоже было на то, как вчера ушел от Алеши брат Дмитрий, хотя вчера было совсем в другом роде. Странное это замечаньице промелькнуло, как стрелка, в печальном уме Алеши, печальном и скорбном в эту минуту. Он немного подождал, глядя вслед брату. Почему-то заприметил вдруг, что брат Иван идет как-то раскачиваясь и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого. Никогда он этого не замечал прежде. Но вдруг он тоже

повернулся и почти побежал к монастырю. Уже сильно смеркалось, и ему было почти страшно; что-то нарастало в нем новое, на что он не мог бы дать ответа. Поднялся опять, как вчера, ветер, и вековые сосны мрачно зашумели кругом него, когда он вошел в скитский лесок. Он почти бежал. "Pater Seraphicus" — это имя он откуда-то взял — откуда? — промелькнуло у Алеши. Иван, бедный Иван, и когда же я теперь тебя увижу. Вот и скит, Господи! Да, да, это он, это Pater Seraphicus, он спасет меня... от него и навеки!"

Потом он с великим недоумением припоминал несколько раз в своей жизни, как мог он вдруг, после того как расстался с Иваном, так совсем забыть о брате Дмитрие, которого утром, всего только несколько часов назад, положил непременно разыскать и не уходить без того, хотя бы пришлось даже не воротиться на эту ночь в монастырь.

Н. С. ЛЕСКОВ

Однодум

Глава первая

В царствование Екатерины II у некоторых приказного рода супругов, по фамилии Рыжовых, родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарю К. Гагарина, значится семь каменных церквей, два духовные и одно светское училище, семь фабрик и заводов, тридцать семь лавок, три трактира, два питейные дома и 3665 жителей обоего пола. В

городе бывают две годовые ярмарки и еженедельные базары; кроме того, значится "довольно деятельная торговля известью и дегтем". В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы.

Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравчатый герой нашего рассказа Алексашка, или, впоследствии, Александр Афанасьевич Рыжов, по уличному прозвищу "Однодум".

Родители Алексашки имели собственный дом — один из тех домиков, которые в здешней лесной местности *ничего не стоят*, но, однако, дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или, по крайней мере, о них мне ничего не сказано.

Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, "ничего на стоил". Но вдова-приказничиха сама дорого стоила: она была из тех русских женщин, которая "в беде не сробеет, спасет; коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет", — простая, здравая, трезвомысленная русская женщина, с силою в теле, с отвагой в душе и с нежною способностью любить горячо и верно.

Когда она овдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода и к ней кое-кто засылал свях, но она отклонила новое супружество и стала заниматься печением пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и печенкою, а по постным — с кашею и горохом; вдова выносила их в ночвах на площадь и продавала по медному пятаку за штуку. От прибыли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку "мастерице"; мастерица научила Алексашку тому, что сама знала. Дальнейшую же, более серьезную науку преподавал ему дьяк с косою и с кожаным карманом, в

кчем у него без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления.

Дьяк, "отучив" Алексашку, взял горшок каши за выучку, и в этом вдовин сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира.

Алексашке тогда было четырнадцать лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать читателю.

Молодой Рыжов порою удался в мать: он был рослый плечистый, — почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отроческие годы он был уже первый силач и так удачно предводительствовал *стеною* на кулачных боях, что на которой стороне был Алексашка Рыжов, — та считалась непобедимою. Он был досуж и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он написал старухам множество заупокойных поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, умерен во всем и никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи.

В четырнадцать лет он уже считал грехом есть материн хлеб; поминания приносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен; к торговле Рыжов питал врожденное отвращение, а оставить Солигалич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А потому надо было здесь же промыслить себе занятие, и он его промыслил.

В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения: между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые *носили* суму с пакетами. Это называлась пешая почта. Плата за эту службу назначалась не великая: рубля полтора в месяц "на своих харчах и при своей обуви". Но для кого и

такое содержание было заманчиво, те колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным: не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству?

Всякий, кому довелось о том слышать, — раздумывал, как бы не истравить этим душу и за мзду временную не потерять жизнь вечную. И тут-то вот общее сердоболіе устроило Рыжовкина Алексашку.

— Он, — говорили, — сирота: ему больше Господь простит, — особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогою медведь или волк задерет и он на Суд предстанет, одно отвечать: "не разумел, Господи", да и только. И в ту пору взять с него нечего. А если да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все прелотлично отмолить, да еще не за своей свечкой и при чужом ладане. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего?

Сам Алексашка, которого это касалось всех более, был от мира не прочь и на мир не челобитчик: он смелою рукою взял почтовую суму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича в Чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре: он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка, — не поэтическая, а философская, и из него вышел только замечательный чудак "Однодум". Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали; почтовая сума до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой сумы, всегда носил с собою еще другую, серую холщовую сумку, в

которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние.

Книга эта была Библия.

Глава вторая

Мне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская суму и Библию, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конною, а Рыжову "вышел чин". После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом: охочий ходок с почтою, он уже не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места, — опять непременно там же, в Солигаличе, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, притупев зрением, стала хуже печь свои пироги.

Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень не скоро, например лет за двенадцать, — надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет двадцать шесть или даже немножко более, и во все это время он только ходил взад и вперед из Солигалича в Чухлому и на ходу и на отдыхе читал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он начитался ее вволю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения.

Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исаию, широкое богословие которого отвечало его душевной настроенности и составляло весь его катехизис и все богословие.

Старый человек, знавший во время своей юности восьмидесятипятiletнего Рыжова, когда он уже про-

славился и заслужил имя "Однодума", говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то "дуб на болоте", где он особенно любил отдыхать и "кричать ветру".

— Стану, — говорит, — бывало, и воплю встречъ воздуху:

"Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего, а людие мои неразумеша. Семя лукавое; сыны беззакония! Что еще уязвляетесь, прилагая неправды! Всякая глава в болезнь, — всякое сердце в плач. Что ми множество жертв ваших: тука агнцов и крови юниц и козлов не хочу. Не приходите явиться ми. И аще принесете ми семидал — всеу; кадило мерзость ми есть. Новомесячий ваших, и суббот, и дне великого не потерплю: поста, и праздности, и новомесячий ваших, и праздников ненавидит душа моя. Егда прострете руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас, и аще умножите моления, — не услышу вас. Измыйтесь, отымите лукавство от душ ваших. Научитесь добро творити, и приидите истяжемся, и аще будут грехи ваши яко багряное — убелю их яко снег. Но князи не покорятся, — общницы татем любяще дары, гоняще воздаяние — сего ради глаголет Саваоф: горе крепким, — престанет бо ярость моя на противных".

И выкрикивал сирота-мальчуган это "горе, горе крепким" над пустынным болотом, и мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии и отнесет туда, где виденные Иезекиилем "сухие кости" лежат, не шевелятся; не нарастает на них живая плоть, и не оживает в груди истлевшее сердце.

Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе, — по его словам: "дышал любовью и дерзновением".

Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступает время деятельнос-

ти, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте.

Под тем же дубом, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал словами Исаии "горе крепким"; он дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое.

Впереди нас ожидает довольно образцов его задохнувшейся в тесноте удивительной силы и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его, как рыцаря, рыцарскою наградой.

Глава третья

В ту отдаленную пору, к которой восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что, по понятию многих русских людей, каждый городничий был "третье лицо в государстве". Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего — монарха разветвлялась так: первое лицо в государстве — государь, правящий всем государством; за ним второе — губернатор, который правит губерниею, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье — городничий, "сидящий на городе". Исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждения не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии: исправник был человек разъездной, и он сек только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии и, кто их ни сек, — одинаково ногами перебирали.

Введение новых судебных учреждений, ограничив-

шее прежнюю теократическую полноправность сельских администраторов, попортило это, особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городнического, а даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно, — по крайней мере, для городничих, высокий уряд которых заменен новшеством.

Но тогда, когда обдумывал и решал свою судьбу "Однодум", — все это было еще в своем благоустроенном порядке. Губернаторы сидели в своих центрах, как царьки: доступ к ним был труден, и предстояние им "сопряжено со страхом"; они всем норовили говорить "ты", все им кланялись в пояс, а иные, по усердию, даже земно; протопопы их "сретали" с крестами и святою водою у входа во храмы, а подрукавная знать чествовала их выражением низменного искательства и едва дерзала, в лице немногих избранных своих представителей, просить их "в восприемники к купели". И они, даже когда соглашались снизойти до такой милости, держали себя царственно: они не ездили крестить сами, а посылали вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов, которые отвозили "ризки" и принимали почет "в лице пославшего". Все тогда было величественно, степенно и серьезно, под стать тому доброму и серьезному времени, часто противопоставляемому нынешнему времени, не доброму и не серьезно-му.

Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу градской власти и, не расставаясь с родным Солигаличем, стать на четвертую ступень в государстве: в Солигаличе умер старый квартальный, и Рыжов задумал проситься на его место.

Глава четвертая

Квартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничего, было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полено дров, пару бураков или кочан капусты; но если он не умел этого, то ему было бы плохо, так как казенного жалованья по этой четвертой в государстве должности полагалось десять рублей ассигнациями в месяц, то есть около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по нынешнему счету. На то четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью, а как это невозможно, то каждый квартальный "донимал" с тех, которые обращались к нему за чем-нибудь "по касающемуся делу". Без этого "донимания" невозможно было обходиться, и даже сами вольтерьянцы против этого не восставали. О "неберущем" квартальном никто и не думал, и потому если все квартальные брали, то должен был брать и Рыжов. Само начальство не могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения, и не могло быть о том никакой речи.

Городничий, к которому Рыжов обратился за квартальничьим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как все другие, и потому у них особого договора на этот счет не было. Городничий принял в соображение только его громадный рост, осанистую фигуру и пользовавшуюся большою известностью силу и неутомимость в ходьбе, которую Рыжов доказал своим пешим ношением почты. Все это были качества, очень подходящие для полицейской службы, которой добивался Рыжов, — и он был сделан солигалическим квартальным, а мать его про-

должала печь и продавать свои пироги на том самом базаре, где сын ее должен был установить и держать добрые порядки: блюсти вес верный и меру полную и утрясенную.

Городничий сделал ему только одно внушение:

— Бей без повреждения и по касающему моего не захватывай.

Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать, но вскоре же начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить третью особу в государстве, а самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьевича, доводить до весьма тягостных испытаний.

Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен: придя на базар, он разместил там возы; рассадил иначе баб с пирогами, поместя притом свою мать не на лучшее место. Пьяных мужиков частью урезонил, а частью поучил рукою властною, но с приятностью, так хорошо, как будто им этим большое одолжение сделал, и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон по касающему, и еще объявил, что ему по касающему ни от кого ничего и не следует, потому что за все его касающее ему "царь жалует, а мзду брать Бог запрещает".

День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше: обошел весь город, и кого застал на ходу в поздний час, расспросил: откуда, куда и по какой надобности? С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал, а одному-другому пьяному ухо надрал, да будошникову жену, которая под коров колдовать ходила, в кутузку запер, а наутро явился к городничему с докладом, что видит себе в деле одну помеху в будошниках.

— Проводят, — говорит, — они время в праздности и спросонья ходят без надобности, — людям по касаю-

щему надоедают и сами портятся. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огород гряды полоть, а я один все управлю.

Городничему это было не вопреки, а домовитой городничихе совсем по сердцу: одним будошникам могло не нравиться, да закону не соответствовало: но будошников кто думал спрашивать, а закон... городничий судил о нем русским судом: "закон — что конь: куда надо — туда и вороти его". Александр же Афанасьевич выше всего ставил закон: "в поте лица твоего ешь хлеб твой", и по тому закону выходило, что всякие лишние "приставники" — бремя ненужное, которое надо отставить и приставить к какому бы то ни было другому настоящему делу, — "потному".

И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителя и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один ночью, и мало-помалу везде стал чувствоваться его добрый хозяйский досмотр, и опять было это приятно в очах всех. Словом, все шло хорошо и обещало покой невозмутимый, но тут-то и беда: не свáрился народ — не кормил воевод, — ниоткуда ничто не касалось, и, кроме уборки огорода, не было правителю прибылей ни больших, ни средних, ни малых.

Городничий возмутился духом, вник в дело, увидал, что этак невозможно, и воздвиг на Рыжова едкое гонение.

Он попросил протопопа разузнать, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия, но протопоп отвечал, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает, а замечает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет.

— Пресечь советую оный торг, ей ныне по сыну не подобающий, и уничтожится тогда ему оная его непо-

мерная гордыня, и он прикоснется.

— Пресеку, — отвечал городничий и сказал Рыжову: — Твоей матери на торгу сидеть не годится.

— Хорошо, — отвечал Рыжов и взял мать с ночвами с базара, а в укоризненном поведении остался по-прежнему, — не прикасался.

Тогда протопоп указал, что Рыжов не справлял себе форменного платья, и в пасхальный день, скупно похристосовавшись с одними ближними, не явился с поздравлением ни к кому из именитых граждан, на что те, впрочем, претензии не изъявляли.

Это находилось в зависимости одно от другого. Рыжов не ходил за праздничными, и потому ему не на что было обмундироваться, но обмундировка требовалась, и она была у прежнего квартального. Все видели у него и мундир с воротом, и ретузы, и сапоги с кисточкой, а этот как ходил с почтою, так и оставался в полосатом тиковом бешмете с крючками, в желтых нанковых штанах и в простой крестьянской шапке, а на зиму имел овчинный нагольный тулуп и ничего иного не заводил, да и не мог завести на 2 руб. 87 коп. месячного жалованья, на которое жил, служа верою и правдою.

К тому же произошел случай, потребовавший денег: умерла мать Рыжова, которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги.

Александр Афанасьевич схоронил ее, по общему отзыву, "скаречно", чем и доказал свою нелюбовь. Он заплатил за нее причту по малости, но по самой-то пирожнице даже пирога не спек и сорокоуста не заказал.

Еретик! И это было тем достовернее, что хотя городничий ему не доверял и протопоп в нем сомневался, но и городничиха и протопопица за него горой стояли, — первая за пригон на ее огород бударей, а вторая по

какой-то тайной причине, лежавшей в ее "характере сопротивления".

В этих особах Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного две меры картофеля, но он, не развязывая мешков, принес картофель назад на своих плечах и коротко сказал:

— За усердие благодарю, а даров не приемлю.

Тогда протопопица, дама мнительная, поднесла ему две коленкоровые манишки своего древнего рукоделья от тех пор, когда еще протопоп был ставленником, но чудак и этого не взял.

— Нельзя, — говорит, — дары брать, да и, одеваясь по простоте, я никакой в сем щегольстве пользы не найду.

Тут и сказала протопопица мужу в злости задорное слово.

— Вот бы, — говорит, — кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным.

Протопоп осердился, — велел жене молчать, а сам все лежал да думал:

"Это новость масонская, и если я ее услежу и открою, то могу быть в большом отличии и даже могу в Петербург переехать".

Так он этим забредил и с бреда составил план, как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом.

Глава пятая

Подходил великий пост, и протопоп, как на ладонке, видел, каким образом он обнажит душу Рыжова до разделения и тогда будет знать, как поступить с ним по злобе его уклонения от истин православия.

С этою целью он прямо присоветовал городничему прислать к нему на дух полосатого квартального на

первой же неделе. А на духу он обещал его хорошенько пронять и, гневом Божиим припугнув, все от него выведать, что в нем есть тайного и сокровенного и за что он всего касающегося чуждается и даров не приемлет. А затем сказал.

— Увидим по открытому страхом виду его совести, чему он подлежать будет, и тому его и подвергнем, да спасется дух.

Помянув слова Павла, протопоп стал ждать покойно, зная, что в них кийждо своя отыскать может.

Городничий тоже сделал свое дело.

— Нам с тобой, Александр Афанасьевич, как видным лицам в городе, — сказал он, — надо в народе религии пример показать и к церкви сделать почтение.

Рыжов отвечал, что он согласен.

— Изволь же, братец, говеть и исповедаться.

— Согласен, — отвечал Рыжов.

— И как оба мы люди на виду у всех, то и на виду все это должны сделать, а не как-нибудь прячучись. Я к протопопу на дух хожу, — он всех в духовенстве опытнее, — и ты к нему иди.

— Пойду к протопопу.

— Да; и иди ты на первой неделе, а я на последне́й пойду, — так и разделимся.

— И на это согласен.

Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти.

— Каялся, — говорит, — в одном, другом, в третьем, — во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит и ни на вас, ни на меня "по касающему" доносить не думает. А что "даров не приемлет", — то это по одной вредной фантазии.

— Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается?

- Библии начитался.
- Ишь его, дурака, угораздило!
- Да; начитался от скуки и позабыть не может.
- Экий дурак! Что же теперь с ним сделать?
- Ничего не сделаешь: он уже очень далеко начитан.
- Неужели до самого до "Христа" дошел?
- Всю, всю прочитал.
- Ну, значит, шабаш.

Пожалели и стали к Рыжову милостивее. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и "до Христа дочитался", с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато этакие люди что юродивые, — они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся. Впрочем, чтобы быть еще обеспеченнее насчет странного исправления Рыжова "по касающему", отец протопоп преподавал городничему мудрый, но жестокий совет, — чтобы женить Александра Афанасьевича.

— Женатый человек, — развивал протопоп, — хотя и "до Христа дочитается", но ему свою честность соблюсти трудно: жена его начнет нажигать и не тем, так другим манером так дойдет, что он ей уступит и всю Библию из головы выпустит, а станет к дарам приимчив и начальству предан.

Городничему совет пришел по мыслям, и он заказал Александру Афанасьевичу, чтобы тот как знает, а непременно женился, потому что холостые люди на политических должностях ненадежны.

— Как хочешь, — говорит, — брат, а ты мне в рассуждении всего хорош, но в рассуждении одного не годишься.

- Почему?
- Холостой.
- Что же в том за укоризна?

— В том укоризна, что можешь что-нибудь вероломное сделать и сбежать в чужую губернию. Тебе ведь

теперь что? схватил свою бибель да и весь тут.

— Весь тут.

— Вот это и неблагонадежно.

— А разве женатый благонадежнее?

— И сравненья нет; из женатого, — говорит, — хоть веревку вей, он все стерпит, потому что он птенцов заведет, да и бабу пожалеет, а холостой сам что птица, — ему доверять нельзя. Так вот — либо уходи, либо женись.

Загадочный чудак, выслушав такое рассуждение, нимало не смутился и отвечал:

— Что же, — и женитьба вещь добрая, она от Бога показана: если требуется — я женюсь.

— Но только ты руби дерево по себе.

— По себе вырублю.

— И выбирай поскорее.

— Да у меня уже выбрана: надо только сходить посмотреть, не взяли ли ее другие.

Городничий над ним посмеялся:

— Ишь ты, — говорит, — греховодник, — будто за ним и греха никогда не водится, а он себе уже и жену высмотрел.

— Где грехам водиться! — отвечал Александр Афанасьевич, — полон сосуд мерзости, а только невесту я еще не сватал, но действительно на примете имею и прошу позволения сходить на нее взглянуть.

— А где она у тебя, — не здешняя, верно, — дальняя?

— Да так, и не здешняя и не дальняя, — у ручья при болотце живет.

Городничий еще посмеялся, отпустил Рыжова и, заинтересованный, ждет: когда его чудак вернется и что скажет?

Глава шестая

Рыжов действительно срубил дерево по себе: через неделю он привел в город жену — ражую, белую, румяную, с добрыми карими глазами и с покорностью в каждом шаге и движении. Одета она была по-крестьянски, и шли оба супруга друг за другом, неся на плечах коромысло, на котором висела подвязанная холщовым концом расписная лубочная коробья с приданным.

Бывалые торговые люди сразу узнали в этой особе дочь старой бабы Козлихи, что жила в одинокой избушке у ручья над болотом и слыла злою колдуньей. Все думали, что Рыжов взял себе колдунью деву в работницы.

Это отчасти так и было, но только Рыжов, прежде чем привести эту работницу домой, — перевенчался с нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой; напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, тотчас же отпустил батрачку, которой много ли, мало ли, а все-таки платил рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане, а хозяйство пошло лучше; здоровые руки его жены никогда не были праздны: она себе и пряла и ткала, да еще оказалась мастерицею валять чулки и огородничать. Словом, жена его была простая досужая крестьянская женщина, верная и покорная, с которою библейский чудак мог жить по-библейски, и рассказать о ней, кроме сказанного, нечего.

Обращение с женою у Александра Афанасьевича было самое простое, но своеобразное: он ей говорил "ты", а она ему "вы"; он звал ее "баба", а она его Александр Афанасьевич; она ему служила, а он был ее господин; когда он с нею заговаривал, она отвечала, — когда он молчал, она не смела спрашивать. За столом

он сидел, а она подавала, но ложе у них было общее, и, вероятно, это было причиною, что у них появился плод супружества. Плод был один-единственный сын, которого "баба" выкормила, а в воспитание его не вмешивалась.

Любила ли "баба" своего библейского мужа или не любила — это в их отношениях ничем не проявлялось, но что она была верна своему мужу — это было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленного над нею законом Божеским и имеющего на нее Божественное право. Мирному житию ее это не мешало. Грамоте она не знала, и Александр Афанасьевич не желал пополнять этого пробела в ее воспитании. Жили они, разумеется, спартански, в самой строгой умеренности, но не считали это несчастием; этому, может быть, много помогало, что и многие другие жили вокруг не в большем довольстве. Чаю они не пили и не содержали его в заводе, а мясо ели только по большим праздникам — в остальное же время питались хлебом и овощами, квасными или свежими с своего огорода, а всего более грибами, которых росло в изобилии в их лесной стороне. Грибы эти "баба" летнею порою сама собирала по лесам и сама готовила впрок, но, к сожалению ее, заготавливала их только одним способом сушения. Солить было нечем. Расход на соль в потребном количестве для всего запаса не входил в расчет Рыжова, а когда "баба" однажды насолила кадочку груздей солью, которую ей подарил в мешочке откупщик, то Александр Афанасьевич, дознавшись об этом, "бабу" патриархально побил и свел к протопопу для наложения на нее епитимии заслушание против заветов мужа, а грибы целою кадкою собственноручно прикатил к откупщикову двору и велел взять "куда хотят", а откупщику сделал выговор.

Таков был этот чудака, про которого из долготы его дней тоже рассказывать много нечего; сидел он на

своем месте, делал свое маленькое дело, не пользующееся ничьим особенным сочувствием, и ничьего особенного сочувствия не искал: солигалические верховоды считали его "поврежденным от Библии", а простецы судили о нем просто, что он "такой-некий-этакой".

Довольно неясное определение это для них имело значение ясное и понятное.

Рыжов нимало не заботился, что о нем думают: он честно служил всем и особенно не угождал никому; в мыслях же своих отчитывался Единому, в кого неизменно и крепко верил, именуя его Учредителем и Хозяином всего сущего. Удовольствие Рыжова состояло в исполнении своего долга, а высший духовный комфорт — философствование о высших вопросах мира духовного и об отражении законов того мира в явлениях и в судьбах отдельных людей и целых царств. Не имел ли Рыжов общей многим самоучкам слабости считать себя всех умнее — это неизвестно, но он был горд, и своих верований и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только вписывал в большие тетради синей бумаги, которые подшивал в одну обложку с многозначительною надписью: "Однодум".

Что было написано во всей этой громаднейшей рукописи полицейского философа — осталось сокрытым, потому что со смертью Александра Афанасьевича его "Однодум" пропал, да и по памяти о нем много никто рассказать не может. Едва только два-три места из всего "Однодума" были показаны Рыжовым одному важному лицу при одном необычайном случае его жизни, к которому мы теперь приближаемся. Остальные же листы "Однодума", о существовании которого знал почти весь Солигалич, изведены на оклейку стен или, может быть, и сожжены, во избежание неприятностей, так как это сочинение заключало в себе много несообразного бреда и религиозных фантазий, за кото-

рые тогда и автора и чтецов посылали молиться в Соловецкий монастырь.

Дух же этой рукописи стал известен с наступающего достопамятного в хрониках Солигалича происшествия.

Глава седьмая

Не могу с точностью вспомнить и не знаю, где справится, в котором именно году в Кострому был назначен губернатором Сергей Степанович Ланской, впоследствии граф и известный министр внутренних дел. Сановник этот, по меткому замечанию одного его современника, "имел сильный ум и надменную фигуру", и такая краткая характеристика верна и вполне достаточна для представления, какое нужно иметь о нем нашему читателю.

Можно, кажется, добавить только, что Ланской уважал в людях честность и справедливость и сам был добр, а также любил Россию и русского человека, но понимал его барственно, как аристократ, имевший на все чужеземный взгляд и западную мерку.

Назначение Ланского губернатором в Кострому случилось во время чудаческого служения Александра Афанасьевича Рыжова солигаличским квартальным, и притом еще при некоторых особенных обстоятельствах.

По вступлении Сергея Степановича в должность губернатора он, по примеру многих деятелей, прежде всего "размел губернию", то есть выгнал со службы великое множество нерадивых и злоупотреблявших своею должностью чиновников, в числе коих был и солигаличский городничий, при котором состоял квартальным Рыжов.

По изгнании со службы негодных лиц новый губернатор не спешил замещать их другими, чтобы не

попасть на таких же, а может быть, еще и на худших. Чтобы избрать людей достойных, он хотел оглядеться, или, как нынче по-русски говорят, "ориентироваться".

С этою целью должности удаленных лиц были поручены временным заместителям из младших чиновников, а губернатор вскоре же предпринял объезд всей губернии, затрепетавшей странным трепетом от одних слухов о его "надменной фигуре".

Александр Афанасьевич исправлял должность городничего. Что он делал на этом заместительстве отменного от прежних "сталых" порядков, — этого не знаю; но, разумеется, он не брал взяток на городничестве, как не брал их на своем кварталничестве. Образа жизни своей и отношений к людям Рыжов тоже не менял, — даже не садился на городнический стул перед зеркало, а подписывался "за городничего", сидя за своим изъеденным чернилами столиком у входной двери. Этому последнему упорству Рыжов имел объяснение, находящееся в связи с апофеозом его жизни. У Александра Афанасьевича и после многих лет его службы точно так же, как и в первые дни его кварталничества, *не было форменного платья*, и он правил "за городничего" все в том же просаленном и перештопанном бешмете. А потому на представления письмоводителя пересесть на место он отвечал:

— Не могу, хитон обличает мя, яко несть брачен.

Все это так и было записано им собственною рукою в его "Однодуме", с добавлением, что письмоводитель предлагал ему "пересесть в бешмете, но снять орла на зеркале", однако Александр Афанасьевич "оставил сию непристойность" и продолжал сидеть на прежнем месте в бешмете.

Делу полицейской расправы в городе эта неформенность не мешала, но вопрос становился совершенно иным, когда пришла весть о приезде "надменной фигуры". Александр Афанасьевич в качестве градоначальника

чальника должен был встретить губернатора, принять и рапортовать ему о благосостоянии Солигалича, а также отвечать на все вопросы, какие Ланской ему предложит, и репрезентовать ему все достопримечательности города, начиная от собора до тюрьмы, пустырей, оврагов, с которыми никто не знал, что делать.

Рыжов действительно имел задачу: как ему отбыть все это в своем бешмете? Но он об этом нимало не заботился, зато много забот причиняло это всем другим, потому что Рыжов своим безобразием мог на первом же шагу прогнѣвить "надменную фигуру". Никому и в голову не приходило, что именно Александру-то Афанасьевичу и предстояло удивить и даже *обрадовать* всех пугавшую "надменную фигуру" и даже напропорчить ему повышение.

Вообще заботливый Александр Афанасьевич нимало не смущался, как он явится, и совсем не разделял общей чиновничьей робости, через что подвергся осуждению и даже ненависти и пал во мнении своих сограждан, но пал с тем, чтобы потом встать всех выше и оставить по себе память героическую и почти баснословную.

Глава восьмая

Не излишне еще раз напомнить, что в те недавние, но глубоко провалившиеся времена, к которым относится рассказ о Рыжове, губернаторы были совсем не то, что в нынешние лукавые дни, когда величие этих сановников значительно пало или, по выражению некоего духовного летописца, "жестоко подвалишася". Тогда губернаторы ездили "страшно", а встречали их "притрепетно". Течение их совершалось в грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь и четвероногие скоты.

Города к приезду губернаторов воспринимали помазание мелом, сажей и охрою; на шлагбаумы заново наводилась национальная пестрядь казенной трехцветки; бударям и инвалидам внушали "голова и усы наваксить", — из больниц шла усиленная выписка в "оздоровку". Во всеобщем оживлении участвовало все до конец земли; из деревень на тракты сгоняли баб и мужиков, которые по месяцам кочевали, чиня дорожные топи, гати и мосты; на станциях замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по бесчисленным казенным надобностям. Станционные смотрители в эту пору отмещивали беспокойному люду свои нестерпимые обиды и с непоколебимою душевною твердостью заставляли плестись на каких попало клячах, потому что хорошие лошади "выстаивались" под губернатора. Словом, не было никому ни проходу, ни проезду без того, чтобы он не осязал каким-нибудь из своих чувств, что в природе всех вещей происходит нечто чрезвычайное. Благодаря этому тогда без всякого пустозвонства болтливой прессы всяк, стар и млад, знали, что едет тот, кого нет на всю губернию больше, и все, кто как умел, выражали по этому случаю искреннему своему разнообразным своим чувствам. Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства — в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной и скучной отметки регистров, а кончалось веселою операциею обметания стен и мытья полов. Поломойство — это было что-то вроде классических оргий в дни сбирания винограда, когда все напряженно ликовало, имея одну заботу: пожить, пока наступит час смертный. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли из острога смертную скукою соскучившихся арестанток, которые, ловя краткий миг счастья, пользовались здесь пленительными правами своего пола — услаждать долю

смертных. Декольте и маншкурт, с которыми они приступали к работе, столь возбуждительно действовали на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствием этого, как известно, в острогах нередко появлялись на свет так называемые "поломойные дети" — не признанного, но несомненно благородного происхождения.

В эти же дни в домах чернили парадные сапоги, белили ретузы и приготавливали слежавшиеся и поточенные молью мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала *провешивали* в жаркий день на солнышке, раскидывая их на протянутых через двор веревках, что к всяким воротам привлекало множество любопытных; потом мундиры *выбивали* прутьями, на подушке или на войлочке; затем их *трясли*, еще позже их *штопали*, *утюжили* и, наконец, *раскидывали* на кресле в зале или другой парадной комнате, в заключение всего — в конце концов их втихомолку кропили из священных бутылочек богоявленскою водой, которая, если ее держать у образа в заткнутой воском посудине, не портится от одного крещеньева дня до другого и нимало не утрачивает чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения креста с пением "Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое".

Исходя в сретение особ, чиновники облекались в окропленные мундиры и в качестве прочего Божия достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний, но при нынешнем всеобщем маловерии и особенно при оффенбаховском настроении, царящем в чиновном мире, все это уже уронено в общем мнении и в числе многих других освященных временем вещей легкомысленно подвергается сомнению: отцам же нашим, имевшим настоящую, крепкую веру, давалось по их вере.

Ожидание губернатора в те времена длилось долго и

мучительно. Железных дорог тогда еще не было, и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подвозя губернатора вместе со всеми прочими смертными, а особо заготовлялся тракт, и затем никто не знал с точностью ни дня, ни часа, когда сановник пожалует. Поэтому истома ожидания была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, на самом зените которой находился очередной будочник, обязанный наблюдать тракт с самой высшей в городе колокольни. Он должен был не задремать, охраняя город от внезапного наезда; но, конечно, случилось, что он дремал и даже спал, и тогда в таких несчастных случаях бывали разные неприятности. Иногда нерадивый страж ударял в малый колокол, подпустив губернатора уже на слишком близкую дистанцию, так что не все чиновники успевали примундириться и выскочить, протопоп облачиться и стать со крестом на сходах, а иногда даже городничий не успевал выехать, стоя в телеге, к заставе. Во избежание этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольни и у каждого пролета делать поклон в соответственную сторону.

Это служило сторожу развлечением, а обществу ручательством, что бдящий над ним не спит и не дремлет. Но и эта предосторожность не всегда помогала; случилось, что сторож обладал способностью альбатроса: он спал, ходя и кланяясь, а спросонья бил ложный всполох, приняв за губернатора помещичью карету, и тогда в городе поднималось напрасное смятение, оканчивавшееся тем, что чиновники снова размундировались и городническая тройка откладывалась, а неосмотрительного стража слегка или не слегка секли.

Подобные трудности встречались часто и преодолевались нелегко, и притом всею своею тягостью главным образом лежали на городничем, который вперед всех выносился вскачь навстречу, первый принимал на себя

начальственные взоры и взрывы и потом опять, стоя же, скакал впереди губернаторской кареты к собору, где у крыльца ожидал протопоп во всем облачении с крестом и кропилом в чаше священной воды. Здесь городничий непременно собственноручно откидывал губернаторскую подножку и этим приемом, так сказать, собственноручно выпускал прибывшую высокую особу на родимую землю из путешественного ковчега. Теперь все это уже не так, все это попорчено, и притом едва ли даже без участия самих губернаторов, в числе коих были охотники "играть на понижение". Нынче они, может быть, и каются, но что уплыло, того не воротят: подножек им никто не откидывает, кроме лакеев и жандармов.

Но исправлявший эту обязанность прежний городничий этим не стеснялся и служил для всех первым пробным камнем; он первый изведывал: лют или благостен прибывший губернатор. И, надо правду сказать, от городничего многое зависело: он мог испортить дело вначале, потому что одною какою-нибудь своею неловкостью мог разгневать губернатора и заставить его рвать и метать; а мог также одним ловким прыжком, или иным соответственным вывертом привести его превосходительство в благорасположение.

Теперь каждый, даже не знавший этих патриархальных порядков, читатель может судить, как естественна была тревога солигаличской чиновной знати, которой пришлось иметь своим представителем такого своеобразного, неуклюжего и упрямого городничего, как Рыжов, у которого, вдобавок ко всем его личным неудобным качествам, весь убор состоял в полосатом тиковом бешмете и кошлатой мужичьей шапке.

Вот что первое должно было ударить прямо в очи "надменной фигуре", о которой уже досужие языки довели до Солигалича самые страшные вести... Чего было ожидать доброго?

Глава девятая

Александр Афанасьевич действительно мог привести кого хотите в отчаяние; он ни о чем не беспокоился и в ожидании губернатора держал себя так, как будто предстоявшее страшное событие его совсем не касалось. Он не сломал ни у одного жителя ни одного забора, ничего не перемазал ни мелом, ни охрою и вообще не предпринимал никаких средств не только к украшению города, но и к изменению своего несообразного костюма, а продолжал прохаживаться в бешмете. На все предлагаемые ему прожекты он отвечал:

— Не должно вводить народ в убытки: разве губернатор изнуритель края? он пусть проедет, а забор пусть останется. — Требования же насчет мундира Рыжов отражал тем, что у него на то нет достатков и что, говорит, имею, — в том и являюсь: Богу совсем нагишом предстану. Дело не в платье, а в рассудке и в совести, — по платью встречают — по уму провожают.

Переупрямить Рыжова никто не надеялся, а между тем это было очень важно не столько для упрямца Рыжова, которому, может быть, и ничего, с его библейской точки зрения, если его второе лицо в государстве сгонит с глаз долой в его бешмете; но это было важно для всех других, потому что губернатор, конечно, разгневается, увидя такую невидаль, как городничий в бешмете.

Дорожа первым впечатлением ожидаемого гостя, солигаличские чины добивались только двух вещей: 1) чтобы был перекрашен шлагбаум, у которого Александр Афанасьевич должен встретить губернатора, и 2) чтобы сам Александр Афанасьевич был на этот случай не в полосатом бешмете, а в приличной его званию форме. Но как этого достигнуть?

Мнения были различные, и более склонялись все к тому, чтобы и шлагбаум перекрасить, и городничего

одеть в складчину. В отношении плагбаума это было, конечно, удобно, но по отношению к обмундировке Рыжова никуда не годилось.

Он сказал: "Это дар, а я даров не приемлю". Тогда восторжествовало над всеми предложение, которое подал зрелый в суждение отец протопоп. Он не видал нужды ни в какой складчине ни на окраску заставы, ни на форму градоправителя, а сказал, что все должно лечь на того, кто всех провиннее, а всех провиннее, по его мнению, был откупщик. На него все должно и пасть. Он один обязан на свой собственный счет не по неволе какой, а из усердия окрасить заставу, за что протопоп обещал, сретая губернатора, упомянуть об этом в кратком слове и, кроме того, помолиться о жертвователе в тайноглаголемой запрестольной молитве. Кроме того, отец протопоп рассудил, что откупщик должен дать заседателю, сверх ординарии, тройную порцию рому, французской водки и кизлярки, до которых заседатель охоч. И пусть заседатель за то отрапортуется больным и пьет себе дома эту добавочную ординарию и на улицу не выходит, а свой мундир, одной с полицейским формы, отпустит Рыжову, от чего сей последний вероятно, не найдет причины отказаться, и будут тогда и овцы целы, и волки сыты.

План этот тем более был удачен, что непременный заседатель ростом-дородством несколько походил на Рыжова, и притом, женись недавно на купеческой дочери, имел мундирную пару в полном порядке. Следовательно, оставалось только упросить его, чтобы он для общего блага к приезду начальства слег в постель под видом тяжелой болезни и сдал свою амуницию на этот случай Рыжову, которого отец протопоп, надеясь на свой духовный авторитет, тоже взялся убедить — и убедил. Не видя в этом ни даров, ни мзды, справедливый Александр Афанасьевич, для общего счастья, согласился надеть мундир. Произведена была примерка

и пригонка форменной пары заседателя на Рыжова, и после некоторого выпуска со всех сторон всех запасов в мундире и в ретузах дело было приведено к удовлетворительному результату. Александр Афанасьевич хотя чувствовал в мундире весьма стеснительную связанность, но мог, однако, двигаться и все-таки был теперь сносным представителем власти. Небольшой же белый карниз между мундиром и канифасовыми ретузами положено было закрыть соответственную же канифасовую надшивкою, которою этот карниз был удачно замаскирован. Словом, Александр Афанасьевич был снаряжен так, что губернатор мог повернуть его на все стороны и полюбоваться им так и иначе. Но злему року угодно было все это осмеять и оставить Александру Афанасьевичу надлежащую представительность только с одной стороны, а другую совсем испортить, и притом таким двусмысленным образом, что могло дать повод к самым произвольным толкованиям его и без того загадочного политического образа мыслей.

Глава десятая

Шлагбаум был окрашен во все цвета национальной пестряди, состоящей из черных и белых полос с красными отводами, и еще не успел запылиться, как пронеслась весть, что губернатор уже выехал из соседнего города и держит путь прямо на Солигалич. Тотчас же везде были поставлены махальные солдаты, а у забора бедной хибары Рыжова глодала землю резвая почтовая тройка с телегою, в которую Александр Афанасьевич должен был вспрыгнуть при первом сигнале и скакать навстречу "надменной фигуре".

В последнем условии было чрезвычайно много неудобной сложности, исполнявшей все вокруг беспокойной тревогой, которую очень не любил самообладаю-

щий Рыжов. Он решил "быть всегда на своем месте": перевел тройку от своего забора к заставе и сам в полном наряде — в мундире и белых ретузах, с рапортом за бортом, сел тут же на раскрашенную перекладину шлагбаума и водворился здесь, как столпник, а вокруг него собрались любопытные, которых он не прогонял, а напротив, вел с ними беседу и среди этой беседы сподобился увидеть, как на тракте закружилось пыльное облако, из которого стала вырезаться пара выносных с фореитором, украшенным медными бляхами. Это катил губернатор.

Рыжов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать, как вдруг был поражен общим стоном и вздохом толпы, крикнувшей ему:

— Батюшка, сбрось штанцы!

— Что такое? — переспросил Рыжов.

— Штанцы сбрось, батюшка, штанцы, — отвечали люди. — Погляди-ка, на каком месте сидел, так к белому весь планбов припечатал.

Рыжов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы национальных цветов шлагбаума действительно с удивительной отчетливостью отпечатались на его ретузах.

Он поморщился, но сейчас же вздохнул и сказал: "Сюда начальству глядеть нечего" и пустил вскачь тройку навстречу "надменной особе".

Люди только руками махнули:

— Отчаянный! что-то ему теперь будет?

Глава одиннадцатая

Скороходы из этой же толпы быстро успели дать знать в собор духовенству и набольшим, в каком двусмысленном виде встретит губернатора Рыжов, но теперь уже всем было самому до себя.

Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причет, из коего вырезались две фигуры: приземистый дьякон с большой головой и длинноногий дьячок в стихаре с священной водою в "апликовой" чаше, которая ходунном ходила в его оробевших руках. Но вот трепет страха сменился окаменением: на площади показалась борзо скачущая тройкою почтовая телега, в которой с замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура Рыжова. Он был в шляпе, в мундире с красным воротом и в белых ретузах с надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным, и действительно таким и должен был казаться. Твердо стоя на скачущей телеге, на облучке которой подпрыгивал ямщик, Александр Афанасьевич не колебался ни направо, ни налево, а плыл точно на колеснице как триумфатор, сложив на груди свои богатырские руки и обдавая целым облаком пыли следовавшую за ними шестериком коляску и легкий тарантасик. В этом тарантасе ехали чиновники. Ланской помещался один в карете и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Рыжовым, который летел впереди его, стоя, в кургузом мундире, нимало не закрывавшем разводы национальных цветов на его белых ретузах. Очень возможно, что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этою странностию, значение которой не так легко было понять и определить.

Телега в свое время своротила в сторону, и Александр Афанасьевич в свое время соскочил и открыл дверцу у губернаторской кареты.

Ланской вышел, имея, как всегда, неизменно "надменную фигуру", в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, осенив его крестом,

сказал: "Благословен грядый во имя Господне", и затем покропил его легонько священной водою.

Сановник приложился ко кресту, отер батистовым платком попавшие ему на надменное чело капли и вступил *первый* в церковь. Все это происходило на самом виду у Александра Афанасьевича и чрезвычайно ему не понравилось, — все было "надменно". Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, что вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не поклонился — ни алтарю, ни народу, и шел как шест, не сгибая головы, к амвону.

Это было против всех правил Рыжова по отношению к богопочитанию и к обязанностям высшего быть примером для низших, — и благочестивый дух его всколебался и поднялся на высоту невероятную.

Рыжов все шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской приближался к солее, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собою и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес:

— Раб Божий Сергей! входи во храм Господень не надменно, а смиренно, представляя себя самым большим грешником, — вот как!

С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и стал навтыяжку.

Глава двенадцатая

Очевидец передававший эту анекдотическую историю о солигаличском антике, ничего не говорил, как принял это бывший в храме народ и начальство. Известно только, что никто не имел отваги, чтобы заступиться за нагнутого губернатора и остановить бестрепетную руку Рыжова, но о Ланском сообщают

нечто подробнее. Сергей Степанович не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка, а, напротив, "сменил свою горделивую надменность умным самообладанием". Он не оборвал Александра Афанасьевича и даже не сказал ему ни слова, но перекрестился и, оборотясь, поклонился всему народу, а затем скоро вышел и отправился на приготовленную ему квартиру.

Здесь Ланской принял чиновников — коронных и выборных и тех из них, которые ему показались достойными большего доверия, расспросил о Рыжове: что это за человек и каким образом он терпится в обществе.

— Это наш квартальный Рыжов, — отвечал ему голова.

— Что же он... вероятно, в помешательстве?

— Никак нет: просто всегда *такой*.

— Так зачем же держать *такого* на службе?

— Он по службе хорош.

— Дерзок.

— Самый смирный: на шею ему старший сядь, — рассудит: "поэтому везть надо" — и повезет, но только он много в Библии начитавшись и через то расстроен.

— Вы говорите несообразное: Библия книга Божественная.

— Это точно так, только ее не всякому честь пристойно: в иночестве от нее страсть мечется, а у мирских людей ум мешается.

— Какие пустяки! — возразил Ланской и продолжал расспрашивать:

— А как он насчет взяток: умерен ли?

— Помилуйте, — говорит голова, — он совсем ничего не берет...

Губернатор еще больше не поверил.

— Этому, — говорит, — я уже ни за что не поверю.

— Нет; действительно не берет.

— А как же, — говорит, — он какими средствами живет?

— Живет на жалованье.

— Вы вздор мне рассказываете: такого человека во всей России нет.

— Точно, — отвечает, — нет; но у нас такой объявился.

— А сколько ему жалованья положено?

— В месяц десять рублей.

— Ведь на это, — говорит, — овцу прокормить нельзя.

— Действительно, — говорит, — мудрено жить — только он живет.

— Отчего же так всем нельзя, а он обходится?

— Библии начитался.

— Хорошо, "Библии начитался", а что же он ест?

— Хлеб да воду.

И тут голова и рассказал о Рыжове, каков он во всех делах своих.

— Так это совсем удивительный человек! — воскликнул Ланской и велел позвать к себе Рыжова.

Александр Афанасьевич явился и стал у притолки, иже по подчинению.

— Откуда вы родом? — спросил его Ланской.

— Здесь, на Нижней улице родился, — отвечал Рыжов.

— А где воспитывались?

— Не имел воспитания... у матери рос, а матушка пироги пекла.

— Учились где-нибудь?

— У дьячка.

— Исповедания какого?

— Христианин.

— У вас очень странные поступки.

— Не замечаю: всякому то кажется странно, что самому не свойственно.

Ланской подумал, что это вызывающий, дерзкий намек, и, строго взглянув на Рыжова, резко спросил:

— Не держитесь ли вы какой-нибудь секты?

— Здесь нет секты: я в собор хожу.

— Исповедуетесь?

— Богу при протопопе каюсь.

— Семья у вас есть?

— Есть жена с сыном.

— Жалованье малое получаете?

Никогда не смеявшийся Рыжов улыбнулся.

— Беру, — говорит, — в месяц десять рублей, а не знаю: как это — много или мало.

— Это не много.

— Доложите государю, что для лукавого раба это мало.

— А для верного?

— Достаточно.

— Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь?

Рыжов посмотрел и промолчал.

— Скажите по совести: быть ли это может так?

— А отчего же не может быть?

— Очень малые средства.

— Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись можно.

— Но зачем вы не просились на другую должность?

— А кто же эту занимать станет?

— Кто-нибудь другой.

— Разве он лучше меня справит?

Теперь Ланской улыбнулся: квартальный совсем заинтересовал его не чуждую теплоты душу.

— Послушайте, — сказал он, — вы чудак; я вас прошу сесть.

Рыжов сел vis-a-vis с "надменным".

— Вы, говорят, знаток Библии?

— Читаю, сколько время позволяет, и вам советую.

— Хорошо; но... могу ли я вас уверить, что вы можете со мною говорить совсем откровенно и по справедливости?

— Ложь заповедью запрещена — я лгать не стану.

— Хорошо. Уважаете ли вы власти?

— Не уважаю.

— За что?

— Ленивы, алчны и пред престолом криводушны, — отвечал Рыжов.

— Да, вы откровенны. Благодарю. Вы тоже пророчествуете?

— Нет; а по Библии вывожу, что ясно следует.

— Можете ли вы мне показать хоть один ваш вывод?

Рыжов отвечал, что может, — и сейчас же принес целый оберток бумаги с надписью "Однодум".

— Что тут есть пророчественного о прошлом и сбывшемся? — спросил Ланской.

Квартальный перемахнул знакомые страницы и прочитал: "Государыня в переписке с Вольтером назвала его вторым Златоустом. За сие несообразное сравнение жизнь нашей монархии не будет иметь спокойного конца".

На отлинеенном поле против этого места отмечено: "Исполнилось при огорчительном сватовстве Павла Петровича".

— Покажите еще что-нибудь.

Рыжов опять заметал страницы и указал новое место, которое все заключалось в следующем: "Издан указ о попенном сборе. Отныне хлад бедных хижин усилится. Надо ожидать особенного наказания". И на поле опять отметка: "Исполнилось, — зри страницу такую-то, а на той странице запись о кончине юной дочери императора Александра Первого с отметкою: "Сие последовало за назначение налога на лес".

— Но позвольте, однако, — спросил Ланской, — ведь леса составляют собственность?

— Да; а греть воздух в жилье составляет потребность.

— Вы против собственности?

— Нет; я только чтобы всем тепло было в стужу. Не надо давать лесов тем, кому и без того тепло.

— А как вы судите о податях: следует ли облагать людей податью?

— Надо наложить, и еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы богатый платил казне за бедного.

— Гм, гм! вы ниоткуда это учение не почерпаете?

— Из Священного писания и моей совести.

— Не руководят ли вас к сему иные источники нового времени?

— Все другие источники не чисты и полны суемудрия.

— Теперь скажите в последнее: как вы не боитесь ни того, что пишете, ни того, что со мною в церкви сделали?

— Что пишу, то про себя пишу, а что в храме сделал, то должен был учинить, цареву власть оберегаючи.

— Почему цареву?

— Дабы видели все его слуг к вере народной почтительными.

— Но ведь я мог с вами обойтись совсем не так, как обхожусь.

Рыжов посмотрел на него *"с сожалением"* и отвечал:

— А какое же зло можно сделать тому, кто на десять рублей в месяц умеет с семьей жить?

— Я мог велеть вас арестовать.

— В остроге сытей едят.

— Вас сослали бы за эту дерзость.

— Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже и где бы Бог мой оставил меня? Он везде со мною, а кроме его, никого не страшно.

Надменная шея склонилась, и левая рука Ланского простерлась к Рыжову.

— Характер ваш почтенен, — сказал он и велел ему выйти.

Но, по-видимому, он еще не совсем доверял этому

библейскому социалисту и спросил о нем лично сам несколько простолюдинов.

Те, покрутя рукой в воздухе, в одно слово отвечали: — Он у нас такой-некий-этакой.

Более положительного из них о нем никто не знал.

Прощаясь, Ланской сказал Рыжову:

— Я о вас не забуду и совет ваш исполню — прочту Библию.

— Да только этого мало, а вы и на десять рублей в месяц жить поучитесь, — добавил Рыжов.

Но этого совета Ланской уже не обещал исполнить, а только засмеялся, опять подал ему руку и сказал:

— Чудак, чудак!

Сергей Степанович уехал, а Рыжов унес к себе домой своего "Однодума" и продолжал писать в нем, что изливали его наблюдательность и пророческое вдохновение.

Глава тринадцатая

Со времени проезда Ланского прошло довольно времени, и события, сопровождавшие этот проезд через Солигалич, уже значительно позабылись и затерлись ежедневною сутолокою, как вдруг неожиданно-негаданно, на дивное диво не только Солигаличу, а всей просвещенной России, в обревизованный город пришло известие совершенно невероятное и даже в стройном порядке правления невозможное: квартальному Рыжову был прислан дарующий дворянство владимирский крест — первый владимирский крест, пожалованный квартальному.

Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению. И крест и грамота были вручены Александру Афанасьевичу с объявлением, что удостоен он сия чести и сего пожалования по

представлению Сергея Степановича Ланского.

Рыжов принял орден, посмотрел на него и проговорил вслух:

— Чудак, чудак! — А в "Однодуме" против имени Ланского отметил: "Быть ему графом", — что, как известно, и исполнилось. Носить же ордена Рыжову было *не на чем*.

Кавалер Рыжов жил почти девяносто лет, аккуратно и своеобразно отмечая все в своем "Однодуме", который, вероятно, издержан при какой-нибудь уездной реставрации на оклейку стен. Умер он, исполнив все христианские требы по установлению православной церкви, хотя православие его, по общим замечаниям, было "сомнительно". Рыжов и в вере был человек такой-некий-этакой, но при всем том, мне кажется, в нем можно видеть кое-что кроме "одной дряни", — чем и да будет он помянут в самом начале розыска о "трех праведниках".

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Божеское и человеческое

I

Это было в 70-х годах в России, в самый разгар борьбы революционеров с правительством.

Генерал-губернатор Южного края, здоровый немец с опущенными книзу усами, холодным взглядом и невыразительным лицом, в военном сюртуке, с белым крестом на шее, сидел вечером в кабинете за столом с четырьмя свечами в зеленых абажурах и пересматривал и подписывал бумаги, оставленные ему правителем

дел. "Генерал-адъютант такой-то", — выводил он с длинным росчерком и откладывал.

В числе бумаг был и приговор к смертной казни через повешение кандидата Новороссийского университета Анатолия Светлогуба за участие в заговоре, имеющем целью низвержение существующего правительства. Генерал, особенно нахмурившись, подписал и эту. Белыми, сморщенными от старости и мыла, выхоленными пальцами он аккуратно сравнял края листов и отложил в сторону. Следующая бумага касалась назначения сумм на перевозку провианта. Он внимательно читал эту бумагу, думая о том, верно или неверно высчитаны суммы, как вдруг ему вспомнился его разговор с своим помощником о деле Светлогуба. Генерал полагал, что найденный у Светлогуба динамит еще не доказывает его преступного намерения. Помощник же его настаивал на том, что, кроме динамита, было много улик, доказывающих то, что Светлогуб был главой пайки. И, вспомнив это, генерал задумался, и под его сюртуком с ватой на груди и крепкими, как картон, лацканами неровно забилося сердце, и он стал так тяжело дышать, что большой белый крест, предмет его радости и гордости, зашевелился на его груди. Можно еще воротить правителя дел и если не отменить, то отложить приговор.

"Воротить? Не воротить?"

Сердце еще неровнее забилося. Он позвонил. Скорым неслышным шагом вошел курьер.

— Иван Матвеевич уехал?

— Никак нет-с, ваше высокопревосходительство, в канцелярию изволили пройти.

Сердце генерала то останавливалось, то давало быстрые толчки. Он вспомнил предупреждение слушавшего на днях его сердца врача.

"Главное, — сказал врач, — как только почувствуете, что есть сердце, кончайте занятия, развлекайтесь.

Хуже всего — волнения. Ни в каком случае не допускайте себя до этого”.

— Прикажете позвать?

— Нет, не надо, — сказал генерал. “Да, — сказал он сам себе, — нерешительность хуже всего волнует. Подписано — и кончено. Ein jeder macht sich sein Bett und muss d’rauf schlafen*, — сказал он сам себе любимую пословицу. — Да и это меня не касается. Я исполнитель высшей воли и должен стоять выше таких соображений”, — прибавил он, сдвигая брови, чтобы вызвать в себе жестокость, которой не было в его сердце.

И тут же ему вспомнилось его последнее свидание с государем, как государь, сделав строгое лицо и устремив на него свой стеклянный взгляд, сказал: “Надеюсь на тебя: как ты не жалел себя на войне, ты так же решительно будешь поступать в борьбе с красными — не дашь ни обмануть, ни испугать себя. Прощай!” И государь, обняв его, подставил ему свое плечо для поцелуя. Генерал вспомнил это и то, как он ответил государю: “Одно мое желание — отдать жизнь на служение своему государю и отечеству”.

И, вспомнив чувство подобоострастного умиления, которое он испытал перед сознанием своей самоотверженной преданности своему государю, он отогнал от себя смутившую его на мгновение мысль, подписал остальные бумаги и еще раз позвонил.

— Чай подан? — спросил он.

— Сейчас подадут, ваше высокопревосходительство.

— Хорошо, ступай.

Генерал глубоко вздохнул и, потирая рукой место, где было сердце, тяжелой походкой вышел в большую пустую залу и по свеженатертому паркету залы в гостиную, из которой слышались голоса.

* Как постелешь, так и поспишь (нем.)

У жены генерала были гости: губернатор с женой, старая княжна, большая патриотка, и гвардейский офицер, жених последней, незамужней дочери генерала.

Жена генерала, сухая, с холодным лицом и тонкими губами, сидя за низким столиком, на котором стоял чайный прибор с серебряным чайником на конфорке, фальшиво-грустным тоном рассказывала толстой молодящейся даме, жене губернатора, о своем беспокойстве за здоровье мужа.

— Всякий день новые и новые донесения открывают заговоры и всякие ужасные вещи... И это все ложится на Базиля, он должен все решать.

— Ах, не говорите! — сказала княжна. — *Je deviens feroce quand je pense à cette maudite engeance**.

— Да, да, ужасно! Верите ли, он работает двенадцать часов в сутки, и с его слабым сердцем. Я прямо боюсь...

Она не договорила, увидав входящего мужа.

— Да, вы непременно послушайте его. Барбини — удивительный тенор, — сказала она, приятно улыбаясь губернаторше, о вновь приехавшем певце так натурально, как будто они только об этом и говорили.

Дочь генерала, миловидная полная девушка, сидела с женихом в дальнем углу гостиной, за китайскими ширмочками. Она встала и вместе с женихом подошла к отцу.

— Каково, мы и не видались нынче! — сказал генерал, целуя дочь и пожимая руку ее жениху.

Поздоровавшись с гостями, генерал подсел к столику и разговорился с губернатором о последних новостях.

— Нет, нет, о делах не разговаривать, запрещено! — перебила речь губернатора жена генерала. — А вот кстати и Копьев; он нам что-нибудь веселое расскажет. Здравствуйте, Копьев.

* Я свирепею, когда думаю об этой проклятой породе (франц.)

И Копьев, известный весельчак и остряк, действительно рассказал последний анекдот, который рассмешил всех.

II

Да нет, этого не может быть, не может, не может! Пустите меня! — кричала, взвизгивая, мать Светлогуба, вырываясь из рук учителя гимназии — товарища сына, и доктора, которые старались удержать ее.

Мать Светлогуба была не старая, миловидная женщина, с седеющими локонами и звездой морщинками от глаз. Учитель, товарищ Светлогуба, узнав о том, что смертный приговор подписан, хотел осторожно подготовить ее к страшному известию, но только что он начал говорить про ее сына, она по тону его голоса, по робости взгляда угадала, что случилось то, чего она боялась.

Это происходило в небольшом номере лучшей гостиницы города.

— Да что вы меня держите, пустите меня! — кричала она, вырываясь от доктора, старого друга их семьи, который одной рукой держал ее за худой локоть, другой ставил на овальный стол перед диваном склянку капель. Она рада была, что ее держат, потому что чувствовала, что ей надо что-то предпринять, — а что — она не знала и боялась себя.

— Успокойтесь. Вот, выпейте валерьяновых капель, — говорил доктор, подавая в рюмке мутную жидкость.

Она вдруг затихла и почти сложилась вдвое, склонив голову на впалую грудь, и, закрыв глаза, опустилась на диван.

И ей вспомнилось, как сын ее три месяца тому назад прощался с ней с таинственным и грустным лицом.

Потом вспомнила она восьмилетнего мальчика в бархатной курточке, с голыми ножками и длинными вьющимися колечками белокурых волос.

"И его, его, этого самого мальчика... сделают с ним это!"

Она вскочила, оттолкнула стол и вырвалась из рук доктора. Дойдя до двери, она опять упала на кресло.

— А они говорят — Бог есть! Какой он Бог, если он позволяет это! Черт его возьми, этого Бога! — кричала она, то рыдая, то закатываясь истерическим хохотом. — Повесят, повесят того, кто бросил все, всю карьеру, все состояние отдал другим, народу, все отдал, — говорила она, всегда прежде упрекавшая сына за это, теперь же выставлявшая перед собой заслугу его самоотречения. — И его, его, с ним сделают это! А вы говорите, что есть Бог! — вскрикнула она.

— Да я ничего не говорю, я только прошу вас выпить капли.

— Ничего не хочу. Ха-ха-ха! — хохотала и рыдала она, упиваясь своим отчаянием.

К ночи она так измучилась, что не могла уже ни говорить, ни плакать, а только смотрела перед собой остановившимся, сумасшедшим взглядом. Доктор впрыснул ей морфий, и она заснула.

Сон был без сновидений, но пробуждение было еще ужаснее. Ужаснее всего было то, что люди могли быть так жестоки, не только эти ужасные генералы с бритыми щеками и жандармы, но все, все: коридорная девушка, с спокойным лицом приходившая убирать комнату, и соседи в номере, которые весело встречались и о чем-то смеялись, как будто ничего не было.

III

Светлогуб второй месяц сидел в одиночном заключении и за это время пережил многое.

С детства Светлогуб бессознательно чувствовал не-

правду своего исключительного положения богатого человека, и, хотя старался заглушить в себе это сознание, ему часто, когда он встречался с нуждой народа, а иногда просто, когда самому было особенно хорошо и радостно, становилось совестно за тех людей — крестьян, стариков, женщин, детей, которые рождались, росли и умирали, не только не зная всех тех радостей, которыми он пользовался, не ценя их, но и не выходя из напряженного труда и нужды. Когда он кончил университет, чтобы освободиться от этого сознания своей неправоты, завел школу у себя в деревне, образцовую школу, лавку потребительного товарищества и приют для бездомных стариков и старух. Но, странное дело, ему, занимаясь этими делами, еще гораздо более было совестно перед народом, чем когда он ужинал с товарищами или заводил дорогую верховую лошадь. Он чувствовал, что все это было не то, и хуже, чем не то: тут было что-то дурное, нравственно нечистое.

В одном из таких состояний разочарования в своей деревенской деятельности он приехал в Киев и встретился с одним из наиболее близких товарищей по университету. Товарищ этот три года после этой встречи был расстрелян во рву киевской крепости.

Товарищ этот, горячий, увлекающийся и с огромными дарованиями человек, привлек его к участию в обществе, цель которого состояла в просвещении народа, вызове в нем сознания его прав и образовании в нем объединенных кружков, стремящихся к освобождению себя от власти землевладельцев и правительства. Беседы с этим человеком и его друзьями как бы привели в ясное сознание все то, что до тех пор смутно чувствовалось Светлогубом. Он понял теперь, что ему надо было делать. Не прерывая сношений с новыми товарищами, он уехал в деревню и начал там совсем новую деятельность. Он сам стал школьным учителем, устро-

ил классы для взрослых, читал им книги и брошюры, объяснял крестьянам их положение; кроме того, он издавал нелегальные народные книги и брошюры и отдавал все, что мог, не отнимая у матери, на устройство таких же центров по другим деревням.

С первых же шагов этой новой деятельности Светлогуб встретил два неожиданных препятствия: одно в том, что большинство людей народа не только было равнодушно к его проповедям, но почти презрительно смотрело на него. (Понимали его и сочувствовали ему только исключительные личности и часто люди сомнительной нравственности.) Другое препятствие было со стороны правительства. Школа была запрещена ему, и у него и у близких ему людей были сделаны обыски и отобраны книги и бумаги.

Светлогуб мало обратил внимания на первое препятствие — равнодушие народа, так как был слишком возмущен вторым препятствием: притеснениями правительства, бессмысленными и оскорбительными. То же испытывали и его товарищи в своей деятельности и в других местах, и чувство раздражения против правительства, взаимно разжигаемое, дошло до того, что большая часть этого кружка решила силою бороться с правительством.

Главою этого кружка был некто Меженецкий — человек, как его считали все, непоколебимой силы воли, непобедимой логичности и весь преданный делу революции.

Светлогуб подчинился влиянию этого человека и с той же энергией, с которой он прежде работал в народе, отдался террористической деятельности.

Деятельность эта была опасна, но эта-то опасность более всего и привлекала Светлогуба.

Он говорил себе: "Победа или мученичество, а если и мученичество, то мученичество это та же победа, но только в будущем". И огонь, загоревшийся в нем, не

только не потухал в продолжение семи лет его революционной деятельности, а все более и более разгорался, поддерживаемый любовью и уважением тех людей, среди которых он вращался.

Тому, что он отдал почти все свое состояние — состояние, перешедшее ему от отца, — на это дело, он не приписывал никакой важности, не приписывал и тем трудам и той нужде, которые он переносил часто в этой деятельности. Одно только огорчало его: это то горе, которое он доставлял этой деятельностью своей матери и той девушке, ее воспитаннице, которая жила с его матерью и любила его.

В последнее время мало любимый им и неприятный товарищ, террорист, преследуемый полицией, просил его спрятать у себя динамит. Светлогуб без колебания согласился именно потому, что не любил этого товарища, и на следующий день в квартире Светлогуба сделан был обыск и найден динамит. На все вопросы о том, как, откуда он приобрел динамит, Светлогуб отказался отвечать.

И вот то мученичество, которое он ожидал, началось для него. В последнее время, когда столько друзей его было казнено, заключено, сослано, когда пострадало столько женщин, Светлогуб почти желал мученичества. И в первые минуты ареста и допросов он чувствовал особенное возбуждение, почти радость.

Он испытывал это чувство, когда его раздевали, обыскивали и когда ввели в тюрьму и заперли за ним железную дверь. Но когда прошел день, другой, третий, прошла неделя, другая, третья в грязной, сырой, наполненной насекомыми камере и в одиночестве и невольной праздности, прерываемой только перестукиваниями с товарищами заключенными, передававшими все недобрые и нерадостные вести, да изредка допросами холодных, враждебных людей, старавшихся выпытывать от него обвинения товарищей, нравств-

венные силы его вместе с физическими постоянно ослабевали, и он только тосковал и желал, как он говорил себе, какого-нибудь конца этого мучительного положения. Тоска его увеличилась еще тем, что он усомнился в своих силах. На второй месяц своего заточения он стал заставлять себя на мысли сказать всю правду, только бы быть освобожденным. Он ужасался на свою слабость, но не находил уже в себе прежних сил и ненавидел, презирал себя и тосковал еще больше.

Самое же ужасное было то, что ему в заточении так жалко стало тех молодых сил и радостей, которыми он так легко жертвовал, пока был на воле, и которые ему теперь казались так обаятельны, что он раскаивался в том, что считал хорошим, раскаивался иногда во всей своей деятельности. Ему приходили мысли о том, как счастливо, хорошо он мог бы жить на свободе — в деревне, на воле, за границей, среди любимых и любящих друзей. Жениться на ней, а может быть и на другой, и жить с ней простой, радостной, светлой жизнью.

IV

Водин из мучительно однообразных дней заключения второго месяца смотритель при обычном обходе передал Светлогубу маленькую книжку с золоченым крестом на коричневом переплете, сказав, что тюрьму посетила губернаторша и оставила Евангелия, которые разрешено передать заключенным. Светлогуб поблагодарил и слегка улыбнулся, кладя книжку на привинченный к стене столик.

Когда смотритель ушел, Светлогуб переговорился стуками с соседями о том, что был смотритель и ничего не сказал нового, а только принес Евангелие, и сосед ответил, что и ему тоже.

После обеда Светлогуб раскрыл склеившуюся от сырости листами книжонку и стал читать. Светлогуб никогда еще, как книгу, не читал Евангелия. Все, что он знал о ней, было то, что в гимназии проходил законоучитель и что нараспев читали в церкви попы и дьяконы.

"Глава первая. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду... — читал он. — Зоровавель родил Авиуда", — продолжал он читать. Все это было то самое, чего он ожидал: какая-то запутанная, ни на что не нужная бессмыслица. Если бы это было не в тюрьме, он не мог бы дочесть одной страницы, а тут он продолжал читать для процесса чтения. "Как гоголевский Петрушка", — подумал он про себя. Он прочел первую главу о рождении Девой и о пророчестве, состоящем в том, что нарекут рожденному имя Эммануил, означающее "с нами Бог". "И в чем же тут пророчество?" — подумал он и продолжал читать. Он прочел и вторую главу — о ходячей звезде, и третью — об Иоанне, питающемся стрекозами, и четвертую — о каком-то дьяволе, предлагавшем Христу гимнастическое упражнение с крыши. Так все это казалось ему неинтересно, что, несмотря на скуку тюрьмы, он уже хотел закрыть книгу и начать обычное свое вечернее занятие — ловлю блох в снятой рубашке, как вдруг вспомнил, что на экзамене пятого класса гимназии он забыл одну из заповедей блаженства и розоволицый кудрявый батюшка вдруг рассердился и поставил ему двойку. Он не мог вспомнить, какая это была заповедь, и прочел блаженства. "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное", — прочел он. "Это, пожалуй, и к нам относится", — подумал он. "Блаженны вы, когда будут поносить и гнать вас. Радуйтесь и веселитесь: так гнали и пророков, бывших прежде вас". "Вы — соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сдела-

есть ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на поправление людям”.

“Это совсем уж к нам относится”, — подумал он и продолжал читать дальше. Прочтя всю пятую главу, он задумался: “Не сердитесь, не прелюбодействуйте, терпите зло, любите врагов”.

“Да, если бы все так жили, — думал он, — и не нужно бы и революции”. Читая дальше, он все больше и больше вникал в смысл тех мест книги, которые были вполне понятны. И чем дальше он читал, тем все больше и больше приходил к мысли, что в этой книге сказано что-то особенно важное. И важное, и простое, и трогательное, такое, чего он никогда не слышал прежде, но что как будто было давно знакомо ему.

“Кто всем же сказал: если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет свою душу ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе”.

— Да, да, это самое! — вдруг вскрикнул он со слезами на глазах. — Это самое я и хотел делать. Да, хотел этого самого: именно, отдать душу свою; не сберечь, а отдать. В этом радость, в этом жизнь. “Многое я делал для людей, для славы людской, — думал он, — не славы толпы, а славы доброго мнения тех, кого я уважал и любил: Наташи, Дмитрия Шеломова, — и тогда были сомнения, было тревожно. Хорошо мне было только тогда, когда я делал только потому, что этого требовала душа, когда хотел отдать себя, всего отдать...”

С этого дня Светлогуб большую часть времени стал проводить за чтением и обдумыванием того, что было сказано в этой книге. Чтение это вызвало в нем не только умиленное состояние, которое выносило его из тех условий, в которых он находился, но и такую

работу мысли, которой он прежде никогда не признавал в себе. Он думал о том, почему люди, все люди не живут так, как сказано в этой книге. "Ведь жить так хорошо не одному, а всем. Только живи так — и не будет горя, нужды, будет одно блаженство. Только бы кончилось это, только бы быть мне опять на свободе, — думал он иногда, — выпустят же они меня когда-нибудь или сошлют в каторгу. Все равно, везде можно жить так. И буду жить так. Это можно и надо жить так; не жить так — безумие".

V

В один из тех дней, когда он находился в таком радостном, возбужденном состоянии, в камеру к нему вошел в необычное время смотритель и спросил, хорошо ли ему и не желает ли он чего. Светлогуб удивился, не понимая, что означает эта перемена, и попросил папирос, ожидая отказа. Но смотритель сказал, что он сейчас пришлет; и действительно, сторож принес ему пачку папирос и спички.

"Должно быть, кто-нибудь походилатайствовал за меня", — подумал Светлогуб и, закулив папиросу, стал ходить взад и вперед по камере, обдумывая значение этой перемены.

На другой день его повели в суд. В помещении суда, где он уже бывал несколько раз, его не стали допрашивать. Но один из судей, не глядя на него, встал с своего кресла, встали и другие, и, держа в руках бумагу, стал читать громким, ненатурально невыразительным голосом.

Светлогуб слушал и смотрел на лица судей. Все они не смотрели на него и с значительными, унылыми лицами слушали.

В бумаге было сказано, что Анатолий Светлогуб за

доказанное участие в революционной деятельности, имеющей целью ниспровержение, в более близком или далеком будущем, существующего правительства, приговаривается к лишению всех прав и к смертной казни через повешение.

Светлогуб слышал и понимал значение слов, произносимых офицером. Он заметил нелепость слов: в более близком или далеком будущем и лишения прав человека, приговоренного к смерти, но совершенно не понимал того значения, которое имело для него то, что было прочитано.

Только долго после того, как ему сказали, что он может идти и он вышел с жандармом на улицу, он начал понимать то, что ему было объявлено.

"Тут что-то не то, не то... Тут какая-то бессмыслица. Этого не может быть", — говорил он себе, сидя в карете, которая везла его назад в тюрьму.

Он чувствовал в себе такую силу жизни, что не мог представить себе смерти: не мог соединить сознания своего "я" с смертью, с отсутствием "я".

Вернувшись назад в свою тюрьму, Светлогуб сел на койку и, закрыв глаза, старался живо представить себе то, что его ожидает, и никак не мог этого сделать. Он никак не мог представить себе того, чтобы его не было, не мог представить себе и того, чтобы люди могли желать убить его.

"Меня, молодого, доброго, счастливого, любимого столькими людьми, — думал он: он вспомнил о любви к себе матери, Наташи, друзей, — меня убьют, повесят! Кто, зачем сделает это? И потом, что же будет, когда меня не будет? Не может быть", — говорил он себе.

Пришел смотритель. Светлогуб не слышал его входа.

— Кто это? Что вы? — проговорил Светлогуб, не узнавая смотрителя. — Ах да, это вы! Когда же это будет? — спросил он.

— Не могу знать, — сказал смотритель, и, постояв

молча несколько секунд, вдруг вкрадчивым, нежным голосом проговорил: — Тут наш батюшка желал бы... напут... желал бы видеть вас...

— Мне не надо, не надо, ничего не надо! Уйдите! — вскрикнул Светлогуб.

— Не нужно ли вам написать кому-нибудь? Это можно, — сказал смотритель.

— Да, да, пришлите. Я напишу.

Смотритель ушел.

"Стало быть, утром, — думал Светлогуб. — Они всегда так делают. Завтра утром меня не будет... Нет, этого не может быть, это сон".

Но пришел сторож, настоящий, знакомый сторож, и принес два пера, чернильницу, пачку почтовой бумаги и синеватых конвертов и поставил табуретку к столу. Все это было настоящее и не сон.

"Надо не думать, не думать. Да, да, писать. Напишу маме", — подумал Светлогуб, сел на табуретку и тотчас же начал писать.

"Милая, родная! — написал он и заплакал. — Прости меня, прости за все горе, которое я причинил тебе. Заблуждался я или нет, но я не мог иначе. Об одном прошу, прости меня". — "Да это я уже написал, — подумал он. — Ну, да все равно, теперь некогда переписывать". — "Не тужи обо мне, — писал он дальше. — Немного раньше, немного позже... разве не все равно? Я не боюсь и не раскаиваюсь в том, что сделал. Я не мог иначе. Только ты прости меня. И не сердись на них — ни на тех, с которыми я работал, ни на тех, которые казнят меня. Ни те, ни другие не могли иначе: прости им, они не знают, что творят. Я не смею о себе повторять эти слова, но они у меня в душе и поднимают и успокаивают меня. Прости, целую твои милые сморщенные, старые руки! — Две слезы одна за другой капнули на бумагу и расплылись на ней. — Я плачу, но не от горя или страха, а от умиления перед самой

торжественной минутой моей жизни и оттого, что люблю тебя. Друзей моих не упрекай, а люби. Особенно Прохорова, именно за то, что он был причиной моей смерти. Это так радостно любить того, кто не то что виноват, но которого можно упрекать, ненавидеть. Полюбить такого человека — врага — такое счастье! Наташе скажи, что ее любовь была моим утешением и радостью. Я не понимал этого ясно, но в глубине души сознавал. Мне было легче жить, зная, что она есть и любит меня. Ну, сказал все. Прощай!"

Он перечел письмо и, в конце его прочтя имя Прохорова, вдруг вспомнил, что письмо могут прочесть, наверное прочтут, и это погубит Прохорова.

— Боже мой, что я наделал! — вдруг вскрикнул он и, разорвав письмо на длинные полосы, стал старательно сжигать их на лампе.

Он сел писать с отчаянием, а теперь чувствовал себя спокойным, почти радостным.

Он взял другой лист и тотчас же стал писать. Мысли одна за другой толпились в его голове.

"Милая, голубушка мама! — писал он, и опять глаза его затуманились слезами, и ему надо было вытирать их рукавом халата, чтобы видеть то, что он пишет. — Как я не знал себя, не знал всю силу той любви к тебе и благодарности, которая всегда жила в моем сердце! Теперь я знаю и чувствую, и когда вспоминаю наши размолвки, мои недобрые слова, сказанные тебе, мне больно и стыдно и почти непонятно. Прости же меня и вспоминай только то хорошее, если что было такого во мне.

Смерти я не боюсь. По правде сказать, не понимаю ее, не верю в нее. Ведь если есть смерть, уничтожение, то разве не все равно умереть тридцатью годами или минутами раньше или позже? Если же нет смерти, то уж совсем все равно, раньше или позже".

"Но что я философствую, — подумал он, — надо

сказать то, что было в том письме, — что-то хорошее в конце. — Да". — "Друзей моих не упрекай, а люби, и особенно того, кто был причиной невольной моей смерти. Наташу поцелуй за меня и скажи ей, что я любил ее всегда".

Он сложил письмо, запечатал и сел на кровать, положив руки на колена и глотая слезы.

Он все не верил, что должен умереть. Несколько раз он, опять задавая себе вопрос, не спит ли он, тщетно старался проснуться. И эта мысль навела его на другую: о том, что и вся жизнь в этом мире не есть ли сон, пробуждение от которого будет смерть. А если это так, то сознание жизни в этом мире не есть ли только пробуждение от сна предшествующей жизни, подробности которой и я не помню? Так что жизнь здесь не начало, а только новая форма жизни. Умру и перейду в новую форму. Мысль эта понравилась ему; но когда он хотел опереться на нее, он почувствовал, что эта мысль, да и всякая мысль, какая бы ни была, не может дать бесстрашие перед смертью. Наконец он устал думать. Мозг больше не работал. Он закрыл глаза и долго сидел так, не думая.

"Как же? Что же будет? — опять вспомнил он. — Ничего? Нет, не ничего. А что же?"

И ему вдруг совершенно ясно стало, что на эти вопросы для живого человека нет и не может быть ответа.

"Так зачем же я спрашиваю себя об этом? Зачем? Да, зачем? Не надо спрашивать, надо жить так, как я жил сейчас, когда писал это письмо. Ведь мы все приговорены давно, всегда, и живем. Живем хорошо, радостно, когда... любим. Да, когда любим. Вот я писал письмо, любил, и мне было хорошо. Так и надо жить. И можно жить везде и всегда, и на воле, и в тюрьме, и нынче, и завтра, и до самого конца".

Ему хотелось сейчас же ласково, любовно поговорить

с кем-нибудь. Он постучал в дверь, и когда часовой заглянул к нему, он спросил его, который час и скоро ли он будет сменяться, но часовой ничего не ответил ему. Тогда он попросил позвать смотрителя. Смотритель пришел, спрашивая, что ему нужно.

— Вот я написал письмо матери, отдайте, пожалуйста, — сказал он, и слезы выступили ему на глаза при воспоминании о матери.

Смотритель взял письмо и, обещая передать его, хотел уходить, но Светлогуб остановил его.

— Послушайте, вы добрый. Зачем вы служите в этой тяжелой должности? — сказал он, ласково трогая его за рукав.

Смотритель неестественно жалобно улыбнулся и, опустив глаза, сказал:

— Надо же жить.

— А вы оставьте эту должность. Ведь всегда можно устроиться. Вы такой добрый. Может быть, я бы мог...

Смотритель вдруг всхлипнул, быстро повернулся и вышел, хлопнув дверью.

Волнение смотрителя еще больше умилило Светлогуба, и, удерживая радостные слезы, он стал ходить от стены до стены, не испытывая теперь уже никакого страха, а только умиленное состояние, поднимавшее его выше мира.

Тот самый вопрос, что будет с ним после смерти, на который он так старался и не мог ответить, казался разрешенным для него и не каким-либо положительным, рассудочным ответом, а сознанием той истинной жизни, которая была в нем.

И он вспомнил слова Евангелия: "Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода". "Вот и я упадаю в землю. Да, истинно, истинно", — думал он.

"Заснуть бы, — вдруг подумал он, — чтобы не

ослабеть потом". Он лег на койку, закрыл глаза и тотчас же заснул.

Он проснулся в шесть часов утра, весь под впечатлением светлого, веселого сновидения. Он видел во сне, что он с какой-то маленькой белокурой девочкой лазает по развесистым деревьям, осыпанным спелыми черными черешнями, и собирает в большой медный таз. Черешни не попадают в таз и сыплются на землю, и какие-то странные животные, вроде кошек, ловят черешни и подбрасывают кверху и опять ловят. И, глядя на это, девочка заливается, хохочет так заразительно, что и Светлогуб тоже весело смеется во сне, сам не зная чему. Вдруг медный таз выскальзывает из рук девочки, Светлогуб хочет поймать его, но не успевает, и таз с медным грохотом, толкаясь о сучья, падает на землю. И он просыпается, улыбаясь и слушая продолжающийся грохот таза. Грохот этот есть звук отворяемых железных запоров в коридоре. Слышны шаги по коридору и бряканье ружей. Он вдруг вспоминает все. "Ах, если бы заснуть опять!" — думает Светлогуб, но заснуть уже нельзя. Шаги подошли к его двери. Он слышит, как ключ ищет замка и как, отворяясь, скрипит дверь.

Вошли жандармский офицер, смотритель и конвой.

"Смерть? Ну, так что же? Уйду. Да, это хорошо. Все хорошо", — думает Светлогуб, чувствуя, как возвращается к нему то умиленно-торжественное состояние, в котором он был вчера.

VI

Втой же тюрьме, где содержался Светлогуб, содержался и старик раскольник, беспоповец, усомнившийся в своих руководителях и искавший истинную веру. Он отрицал не только никонианскую церковь, но и правительство со времени Петра, которого считал

антихристом, царскую власть называл "табачной державой" и смело высказывал то, что думал, обличая попов и чиновников, за что и был судим и содержим в остроге и пересылаем из одной тюрьмы в другую. То, что он не на воле, а в тюрьме, что над ним ругались смотрители, что на него надевали кандалы, что над ним издевались сотоварищи узники, что все они, так же как и начальство, отреклись от Бога и ругались друг над другом и оскверняли всячески в себе образ Божий, — все это не занимало его, все это он видел везде в мире, когда был на воле. Все это, он знал, происходило оттого, что люди потеряли истинную веру и все разбрелись, как слепые щенята от матери. А между тем он знал, что истинная вера есть. Знал он это потому, что чувствовал эту веру в своем сердце. И он искал эту веру везде. Больше всего он надеялся найти ее в Откровении Иоанна.

"Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще осквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се грядущее скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его". И он постоянно читал эту таинственную книгу и всякую минуту ждал "грядущего", который не только воздаст каждому по делам его, но и откроет всю Божескую истину людям.

В утро казни Светлогуба он услышал барабаны и, влезши на окно, увидал через решетку, как подвезли колесницу и как вышел из тюрьмы юноша с светлыми очами и выющимися кудрями и, улыбаясь, взошел на колесницу. В небольшой белой руке юноши была книга. Юноша прижимал к сердцу книгу, — раскольник узнал, что это было Евангелие, — и, кивая в окна заключенным, улыбаясь, переглянулся с ним. Лошади тронулись, и колесница с сидевшим в ней светлым, как ангел, юношей, окруженная стражниками, громяхая по камням, выехала за ворота.

Раскольник слез с окна, сел на свою койку и задумался. "Этот познал истину, — думал он. — Антихристовы слуги затем и задавят его веревкой, чтоб не открыл никому".

VII

Было пасмурное осеннее утро. Солнца не видно было. С моря дул влажный теплый ветер.

Свежий воздух, вид домов, города, лошадей, людей, смотревших на него, — все это развлекало Светлогуба. Сидя на скамейке колесницы, спиною к кучеру, он невольно вглядывался в лица конвоирующих его солдат и встречавшихся жителей.

Был ранний час утра, улицы, по которым его везли, были почти пусты, и встречались только рабочие. Обрызганные известкой каменщики в фартуках, поспешно шедшие ему навстречу, остановились и вернулись назад, равняясь с колесницей. Один из них что-то сказал, махнул рукой, и все они повернулись и пошли назад к своему делу; извозчики-ломовики, везущие гремящие полосы железа, своротив своих крупных лошадей, чтобы дать дорогу колеснице, остановились и с недоумевающим любопытством смотрели на него. Один из них снял шапку и перекрестился. Кухарка в белом фартуке и чепчике, с корзинкой в руке, вышла из ворот, но, увидав колесницу, быстро вернулась во двор и выбежала оттуда с другой женщиной, и обе, не переводя дыхания, широко раскрытыми глазами проводили колесницу до тех пор, пока могли видеть ее. Какой-то растерзанно одетый, небритый седоватый человек что-то, очевидно неодобрительное, с энергическими жестами внушал дворнику, указывая на Светлогуба. Два мальчика рысью догнали колесницу и с повернутыми головами, не глядя перед собой, шагали

рядом с ней по тротуару. Один, постарше, шел быстрыми шагами; другой, маленький, без шапки, держась за старшего и испуганно глядя на колесницу, короткими ножонками с трудом, спотыкаясь, поспевал за старшим. Встретившись с ним глазами, Светлогуб кивнул ему головой. Этот жест страшного человека, везомого на колеснице, так смутил мальчика, что он, выпучивши глаза и раскрыв рот, собрался плакать. Тогда Светлогуб, поцеловав свою руку, ласково улыбнулся ему. И мальчик вдруг неожиданно ответил милой, доброй улыбкой.

Во все время переезда сознание того, что ожидает его, не нарушало спокойно-торжественного настроения Светлогуба.

Только когда колесница подъехала к виселице и его свели с нее и он увидал столбы с перекладиной и слегка качавшейся на ней от ветра веревкой, он почувствовал как будто физический удар в сердце. Ему вдруг стало тошно. Вокруг помоста он увидал черные ряды солдат с ружьями. Впереди солдат ходили офицеры. И как только его стали сводить с колесницы, раздался неожиданный, заставивший его вздрогнуть треск барабанной дроби. Позади рядов солдат Светлогуб увидал коляски господ и дам, очевидно приехавших смотреть на зрелище. Вид всего этого в первую минуту удивил Светлогуба, но тотчас же он вспомнил себя, какой он был до тюрьмы, и ему стало жалко того, что люди эти не знают, что он знал теперь. "Но они узнают. Я умру, но истина не умрет. Они будут знать. И как все — уж не я, а все они — могли бы быть и будут счастливыми".

Его ввели на помост, и вслед за ним вошел офицер. Барабаны замолкли, и офицер прочел ненатуральным голосом, особенно слабо звучащим среди широкого поля и после треска барабанов, тот глупый смертный приговор, который ему читали на суде: о лишении прав того, кого убивают, и о близком и далеком будущем.

"Зачем, зачем они делают все это? — думал Светлогуб. — Как жалко, что они еще не знают и что я уже не могу передать им всего, но они узнают. Все узнают".

К Светлогубу подошел худощавый, с длинными редкими волосами священник в лиловой рясе, с одним небольшим золоченым крестом на груди и с другим большим серебряным крестом, который он держал в слабой, белой, жилистой, худой руке, выступавшей из черно-бархатного обшлага.

— Милосердный Господь, — начал он, перекладывая крест из левой руки в правую и поднося его к Светлогубу.

Светлогуб вздрогнул и отстранился. Он чуть было не сказал недоброго слова священнику, участвующему в совершаемом над ним деле и говорящему о милосердии, но, вспомнив слова Евангелия: "Не знают, что творят", сделал усилие и робко проговорил:

— Извините, мне не надо этого. Пожалуйста, простите меня, но мне, право, не надо! Благодарю вас.

Он протянул священнику руку. Священник переложил опять крест в левую руку и, пожав руку Светлогуба, стараясь не смотреть ему в лицо, спустился с помоста. Барабаны опять затрещали, заглушая все другие звуки. Вслед за священником, колебля доски помоста, быстрыми шагами подошел к Светлогубу среднего возраста человек с покатыми плечами и мускулистыми руками, в пиджаке сверх русской рубахи. Человек этот, быстро оглянув Светлогуба, совсем близко подошел к нему и, обдав его неприятным запахом вина и пота, схватил его цепкими пальцами за руки выше кисти и, сжав их так, что стало больно, загнул их ему за спину и туго завязал. Завязав руки, палач на минуту остановился, как бы соображая и взглядывая то на Светлогуба, то на какие-то вещи, которые он принес с собой и положил на помосте, то на висевшую на перекладине веревку. Сообразив то, что ему нужно

было, он подошел к веревке, что-то сделал с ней, подвинул Светлогуба вперед ближе к веревке и обрыву помоста.

Как при объявлении смертного приговора Светлогуб не мог понять всего значения того, что объявлялось ему, так и теперь он не мог обнять всего значения предстоящей минуты и с удивлением смотрел на палача, поспешно, ловко и озабоченно исполняющего свое ужасное дело. Лицо палача было самое обыкновенное лицо русского рабочего человека, не злое, но сосредоточенное, какое бывает у людей, старающихся как можно точнее исполнить нужное и сложное дело.

— Еще сюда вот подвинься... или подвиньтесь... — проговорил хриплым голосом палач, толкая его к виселице. Светлогуб подвинулся.

"Господи, помоги, помилуй меня!" — проговорил он.

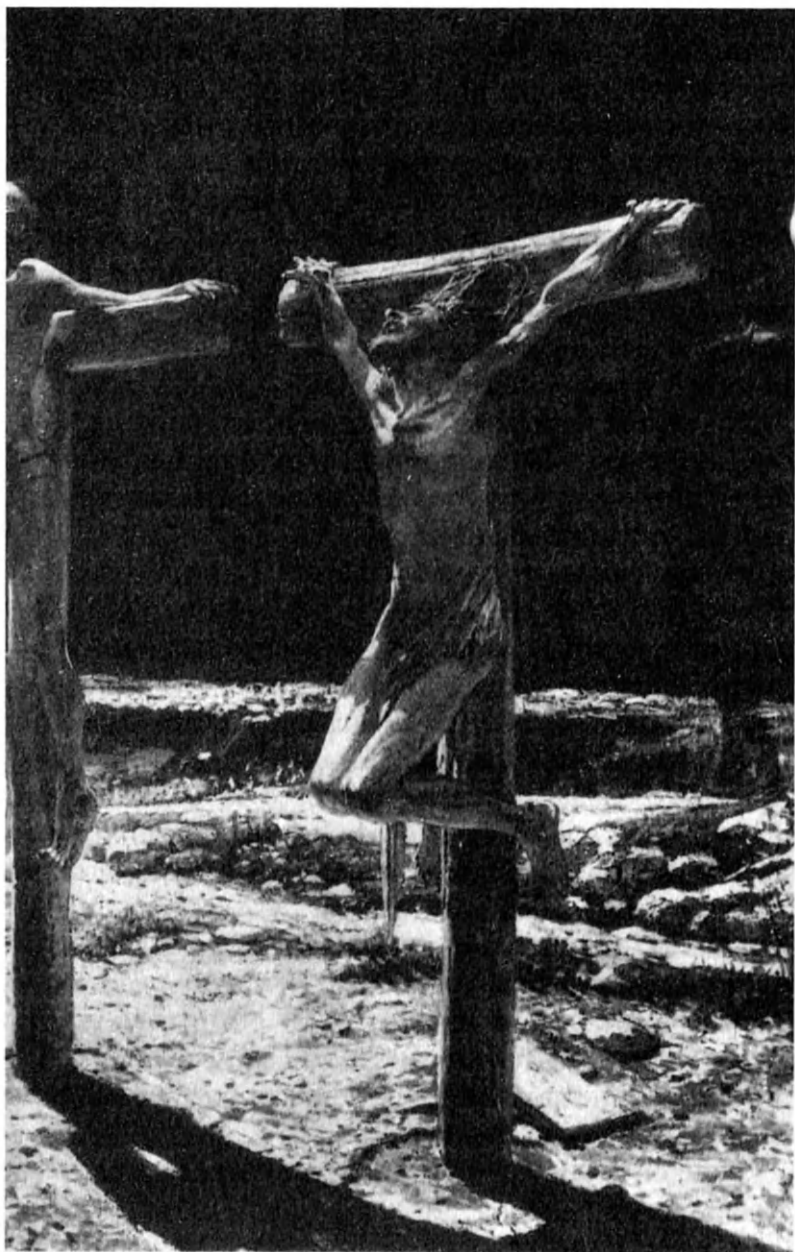
Светлогуб не верил в Бога и даже часто смеялся над людьми, верящими в Бога. Он и теперь не верил в Бога, не верил потому, что не мог не только словами выразить, но мыслью обнять Его. Но то, что он разумел теперь под Тем, к Кому обращался, — он знал это, — было нечто самое реальное из всего того, что он знал. Знал и то, что обращение это было нужно и важно. Знал это потому, что обращение это тотчас успокоило, укрепило его.

Он подвинулся к виселице и, невольно окинув взглядом ряды солдат и пестрых зрителей, еще раз подумал: "Зачем, зачем они делают это?" И ему стало жалко и их и себя, и слезы выступили ему на глаза.

— И не жалко тебе меня? — сказал он, уловив взгляд бойких серых глаз палача.

Палач на минуту остановился. Лицо его вдруг сделалось злое.

— Ну вас! Разговаривать! — пробормотал он и быстро нагнулся к полу, где лежала его поддевка и какое-то полотно, и, ловким движением обеих рук сзади обняв



Н. Н. Ге. Распятие. Неоконченная картина. 1893.

Светлогуба, накинул ему на голову холстинный мешок и поспешно обдернул его до половины спины и груди.

"В руки Твои предаю дух мой", — вспомнил Светлогуб слова Евангелия.

Дух его не противился смерти, но сильное молодое тело не принимало ее, не покорялось и хотело бороться.

Он хотел крикнуть, рвануться, но в то же мгновение почувствовал толчок, потерю точки опоры, животный ужас задыхания, шум в голове и исчезновение всего.

Тело Светлогуба, качаясь, повисло на веревке. Два раза поднялись и опустились плечи.

Подождав минуты две, палач, мрачно хмурясь, положил руки на плечи труп и сильным движением потянул его. Все движения трупа прекратились, кроме медленного покачивания висевшей в мешке куклы с неестественно выпяченной вперед головой и вытянутыми в арестантских чулках ногами.

Сходя с помоста, палач объявил начальнику, что труп можно снять с петли и похоронить.

Через час труп был снят с виселицы и отвезен на неосвященное кладбище.

Палач исполнил то, что хотел и что взялся исполнить. Но исполнение это было нелегко. Слова Светлогуба: "И не жалко тебе меня?" — не выходили у него из головы. Он был убийца, каторжник, и звание палача давало ему относительную свободу и роскошь жизни, но с этого дня он отказался впредь исполнять взятую на себя обязанность и в ту же неделю пропил не только все деньги, полученные за казнь, но и всю свою относительно богатую одежду, и дошел до того, что был посажен в карцер, а из карцера переведен в больницу.

VIII.

Один из главарей революционеров террористической партии, Игнатий Меженецкий, тот самый, который увлек Светлогуба в террористическую деятель-

ность, пересылался из губернии, где его взяли, в Петербург. В той же тюрьме сидел и старик раскольник, видевший казнь Светлогуба. Его пересылали в Сибирь. Он все так же думал о том, как и где бы ему узнать, в чем истинная вера, и иногда вспоминал про того светлого юношу, который, идя на смерть, радостно улыбался.

Узнав, что в одной с ним тюрьме сидит товарищ этого юноши, человек одной с ним веры, раскольник обрадовался и упросил вахтера, чтобы он свел его к другу Светлогуба.

Меженецкий, несмотря на все строгости тюремной дисциплины, не переставал сноситься с людьми своей партии и ждал каждый день известия о том подкопе, который им же был выдуман и придуман для взрыва на воздух царского поезда. Теперь, вспоминая некоторые упущенные им подробности, он придумывал средства передать их своим единомышленникам. Когда вахтер пришел в его камеру и осторожно, тихо сказал ему, что один арестант хочет видаться с ним, он обрадовался, надеясь, что это свидание даст ему возможность сообщения с своей партией.

— Кто он? — спросил он.

— Из крестьян.

— Что ж ему нужно?

— Об вере говорить хочет.

Меженецкий улыбнулся.

— Ну, что же, пошлите его, — сказал он. "Они, раскольники, тоже ненавидят правительство. Может быть, и пригодится", — подумал он.

Вахтер ушел и через несколько минут, отворив дверь, впустил в камеру сухого, невысокого старика, с густыми волосами и редкой седеющей козлиной бородкой, с добрыми, усталыми голубыми глазами.

— Что вам надо? — спросил Меженецкий.

Старик вскинул на него глазами и, поспешно опу-

тив их, подал небольшую, энергическую, сухую руку.

— Что вам надо? — повторил Меженецкий.

— Слово до тебя есть.

— Какое слово?

— Об вере.

— О какой вере?

— Сказывают, ты одной веры с тем вьюношем, что в Одесте антихристовы слуги задавили веревкой.

— Каким юношей?

— А в Одесте по осени задавили.

— Верно, Светлогуб?

— Он самый. Друг он тебе? — старик при каждом вопросе пытливо взглядывал своими добрыми глазами в лицо Меженецкого и тотчас опять опускал их.

— Да, близкий был мне человек.

— И веры одной?

— Должно быть, одной, — улыбаясь, сказал Меженецкий.

— Об этом самом и слово мое к тебе.

— Что же, собственно, вам нужно?

— Веру вашу познать.

— Веру нашу... Ну, садитесь, — сказал Меженецкий, пожимая плечами. — Вера наша вот в чем. Верим мы в то, что есть люди, которые забрали силу и мучают и обманывают народ, и что надо не жалеть себя, бороться с этими людьми, чтобы избавить от них народ, который они эксплуатируют, — по привычке сказал Меженецкий, — мучают, — поправился он. — И вот их-то надо уничтожить. Они убивают, и их надо убивать до тех пор, пока они не опомнятся.

Старик раскольник вздыхал, не поднимая глаз.

— Вера наша в том, чтобы не жалеть себя, свергнуть деспотическое правительство и установить свободное, выборное, народное.

Старик тяжело вздохнул, встал, расправил полы халата, опустил на колени и лег к ногам Меженец-

кого, стукнувшись лбом о грязные доски пола.

— Зачем вы кланяетесь?

— Не обманывай ты меня, открой, в чем вера ваша, — сказал старик, не вставая и не поднимая головы.

— Я сказал, в чем наша вера. Да вы встаньте, а то я и говорить не буду.

Старик поднялся.

— В том и вера того юноши была? — сказал он, стоя перед Меженецким и изредка взглядывая ему в лицо своими добрыми глазами и тотчас же опять опуская их.

— В том самом и была, за то его и повесили. А меня вот за ту же веру теперь в Петропавловку везут.

Старик поклонился в пояс и молча вышел из камеры.

"Нет, не в том вера того юноши, — думал он. — Тот юнош знал истинную веру, а этот либо хвастался, что он одной с ним веры, либо не хочет открыть... Что же, буду добиваться. И здесь и в Сибири. Везде Бог, везде люди. На дороге стал, о дороге спрашивай", — думал старик и опять взял Новый завет, который сам собой раскрывался на Откровении, и, надев очки, сел у окна и стал читать его.

IX

Прошло еще семь лет. Меженецкий отбыл одиночное заключение в Петропавловской крепости и пересылался на каторгу.

Он много перенес за эти семь лет, но направление его мыслей не изменилось, и энергия не ослабела. При допросах, перед заключением в крепость, он удивлял следователей и судей своей твердостью и презрительным отношением к тем людям, во власти которых он находился. В глубине души он страдал оттого, что был

пойман и не мог докончить начатого дела, но не показывал этого: как только он приходил в соприкосновение с людьми, в нем поднималась энергия злобы. На вопросы, которые ему делали, он молчал и только тогда говорил, когда был случай уязвить допрашивающих — жандармского офицера или прокурора.

Когда ему сказали обычную фразу: "Вы можете облегчить свое положение искренним признанием", он презрительно улыбнулся и, помолчав, сказал:

— Если вы думаете выгодой или страхом заставить меня выдать товарищей, то судите по себе. Неужели вы думаете, что делая то дело, за которое вы меня судите, я не готовился к самому худшему? Так вы ничем ни удивить, ни испугать меня не можете. Делать со мной можете, что хотите, а говорить я не буду.

И ему приятно было видеть, как они смущенно переглянулись между собой.

Когда его в Петропавловской крепости поместили в маленькую, с темным стеклом в высоком окне, сырую камеру, он понял, что это не на месяцы, а на годы, — и на него нашел ужас. Ужасна была эта благоустроенная мертвая тишина и сознание того, что он не один, а что тут, за этими непроницаемыми стенами, сидят такие же узники, приговоренные на десять, двадцать лет, убивающиеся, и вешаемые, и сходящие с ума, и медленно умирающие чахоткой. Тут и женщины, и мужчины, и друзья, может быть... "Пройдут годы, и ты так же сойдешь с ума, повесишься или умрешь, и не узнают про тебя", — думал он.

И в душе его поднималась злоба на всех людей и в особенности на тех, которые были причиной его заключения. Злоба эта требовала присутствия предметов злобы, требовала движения, шума. А тут мертвая тишина, мягкие шаги молчаливых, не отвечающих на вопросы людей, звуки отпираемых, запираемых дверей, в обычные часы пища, посещение молчаливых

людей и сквозь тусклые стекла свет от поднимающегося солнца, темнота и та же тишина, те же мягкие шаги, и одни и те же звуки. Так нынче, завтра... И злоба, не находя себе выхода, разъедала его сердце.

Пробовал он стучать, но ему не отвечали, и стук его вызывал только опять те же мягкие шаги и ровный голос человека, угрожавшего карцером.

Единственное время отдыха и облегчения было время сна. Но зато ужасно было пробуждение. Во сне он всегда видел себя на свободе и большей частью увлекающимся такими делами, которые он считал несогласными с революционной деятельностью. То он играл на какой-то странной скрипке, то ухаживал за девицами, то катался в лодке, то ходил на охоту, то за какое-то странное научное открытие был провозглашен доктором иностранного университета и говорил благодарственную речь за обедом. Сны эти были так яркие, а действительность так скучна и однообразна, что воспоминания мало отличались от действительности.

Тяжело было в сновидениях только то, что большей частью он просыпался в тот момент, когда вот-вот должно было совершиться то, к чему он стремился, чего желал. Вдруг толчок сердца — и вся радостная обстановка исчезала; оставалось мучительное, неудовлетворенное желание, опять эта с разводами сырости серая стена, освещенная лампочкой, и под телом жесткая койка с примятым на один бок сенником.

Сон был лучшим временем. Но чем дольше продолжалось заключение, тем меньше он спал. Как величайшего счастья он ждал сна, желал его, и чем больше желал, тем больше разгуливался. И стоило задать себе вопрос: "Засыпаю ли я?" — и проходила вся сонливость.

Беганье, прыганье по своей клетке не помогало. От усиленного движения только делалась слабость и еще большее возбуждение нервов, делалась головная боль

в темени, и стоило только закрыть глаза, чтобы на темном с блестками фоне стали выступать рожи лохматые, плешивые, большеротые, криворотые, одна страшнее другой. Рожи гримасничали самыми ужасными гримасами. Потом рожи стали являться уже при открытых глазах, и не только рожи, но целые фигуры, стали говорить и плясать. Становилось страшно, он вскакивал, бился головой о стену и кричал. Форточка в двери отворялась.

— Кричать не полагается, — говорил спокойный ровный голос.

— Позовите зрителя! — кричал Меженецкий.

Ему ничего не отвечали, и форточка закрывалась.

И такое отчаяние охватывало Меженецкого, что он одного желал — смерти.

Один раз в таком состоянии он решил лишить себя жизни. В камере был душник, на котором можно было утвердить веревку с петлею и, став на койку, повеситься. Но не было веревки. Он стал разрывать простыню на узкие полосы, но полос этих оказалось мало. Тогда он решил заморить себя голодом и не ел два дня, но на третий день ослабел, и припадок галлюцинаций повторился с ним с особенной силой. Когда принесли ему пищу, он лежал на полу без чувств, с открытыми глазами.

Пришел доктор, положил его на койку, дал ему брому и морфину, и он заснул.

Когда на другой день он проснулся, доктор стоял над ним и покачивал головой. И вдруг Меженецкого охватило знакомое ему прежде бодрящее чувство злобы, которого он давно уже не испытывал.

— Как вам не стыдно, — сказал он доктору в то время, как тот, наклонив голову, считал его пульс, — служить здесь! Зачем вы меня лечите, чтобы опять мучить? Ведь это все равно как присутствовать на сечении и разрешать повторить операцию.

— Потрудитесь на спинку лечь, — сказал невозможно доктор, не глядя на него и доставая инструмент для аускультации из бокового кармана.

— Те залечивали раны, чтобы догнать остальные пять тысяч палок. К черту, к дьяволу! — вдруг закричал он, скидывая ноги с койки. — Убирайтесь, издохну без вас!

— Нехорошо, молодой человек, на грубости есть у нас свои ответы.

— К черту, к черту!

И Меженецкий был так страшен, что доктор поспешил уйти.

X

Произошло ли это от приемов лекарств, или он пережил кризис, или поднявшаяся злоба на доктора вылечила его, но с этой поры он взял себя в руки и начал совсем другую жизнь.

"Вечно держать меня здесь они не могут и не станут, — думал он. — Освободят же когда-нибудь. Может быть, — что всего вероятнее, — изменится режим (наши продолжают работать), и потому надо беречь жизнь, чтобы выйти сильным, здоровым и быть в состоянии продолжать работу".

Он долго обдумывал наилучший для этой цели образ жизни и придумал так: ложился он в девять часов и заставлял себя лежать — спать или не спать, все равно — до пяти часов утра. В пять часов он вставал, убирался, умывался, делал гимнастику и потом, как он себе говорил, шел по делам. И в воображении он шел по Петербургу, с Невского на Надеждинскую, стараясь представлять себе все то, что могло встретиться ему на этом переходе: вывески, дома, городовые, встречающиеся экипажи и пешеходы. В Надеждинс-

кой он входил в дом своего знакомого и сотрудника, и там они, вместе с пришедшими товарищами, обсуживали предстоящее предприятие. Шли прения, споры. Меженецкий говорил и за себя и за других. Иногда он говорил вслух, так что часовой в окошечко делал ему замечания, но Меженецкий не обращал на него никакого внимания и продолжал свой воображаемый петербургский день. Пробыв два часа у приятеля, он возвращался домой и обедал, сначала в воображении, а потом в действительности, тем обедом, который ему приносили, и ел всегда умеренно. Потом он, в воображении, сидел дома и занимался то историей, математикой и иногда, по воскресеньям, литературой. Занятие историей состояло в том, что он, избрав какую-нибудь эпоху и народ, вспоминал факты и хронологию. Занятие математикой состояло в том, что он делал наизусть выкладки и геометрические задачи. (Он особенно любил это занятие.) По воскресеньям он вспоминал Пушкина, Гоголя, Шекспира и сам сочинял.

Перед сном он еще делал маленькую экскурсию, в воображении ведя с товарищами, мужчинами и женщинами, шуточные, веселые, иногда серьезные разговоры, иногда бывшие прежде, иногда вновь выдумываемые. И так шло дело до ночи. Перед сном он для упражнения делал — в действительности — две тысячи шагов в своей клетке и ложился на свою койку и большей частью засыпал.

На другой день было то же. Иногда он ехал на юг и подговаривал народ, начинал бунт и вместе с народом прогонял помещиков, раздавал землю крестьянам. Все это, однако, он воображал себе не вдруг, а постепенно, со всеми подробностями. В воображении его революционная партия всегда торжествовала, правительственная власть слабела и была вынуждена созвать собор. Царская фамилия и все угнетатели народа исчезали, и устанавливалась республика, и он, Меженецкий, изби-

рался президентом. Иногда он слишком скоро доходил до этого, и тогда начинал опять сначала и достигал цели другим способом.

Так он жил год, два, три, иногда отступая от этого строгого порядка жизни, но большей частью возвращаясь к нему. Управляя своим воображением, он освободился от непроизвольных галлюцинаций. Только изредка на него находили припадки бессонницы и видения, рожи, и тогда он глядел на отдушник и соображал, как он укрепит веревку, как сделает петлю и повесится. Но припадки эти продолжались недолго. Он преодолевал их.

Так прожил он почти семь лет. Когда срок его заключения кончился и его повезли на каторгу, он был вполне свеж, здоров и в полном обладании своих душевных сил.

XI

Везли его, как особенно важного преступника, одного, не давая ему сообщаться с другими. И только в красноярской тюрьме ему в первый раз удалось войти в общение с другими политическими преступниками, тоже сославшимися на каторгу; их было шесть человек — две женщины и четверо мужчин. Это были все молодые люди нового склада, незнакомого Меженецкому. Это были революционеры следующего за ним поколения, его наследники, и потому они особенно интересовали его. Меженецкий ожидал встретить в них людей, идущих по его стопам и потому долженствующих высоко оценить все то, что было сделано их предшественниками, особенно им, Меженецким. Он готовился ласково и снисходительно обойтись с ними. Но, к неприятному удивлению его, эта молодежь не только не считала его своим предшественником и учи-

телем, но обращалась с ним как бы снисходительно, обходя и извиняя его устарелые взгляды. По мнению их, этих новых революционеров, все то, что делал Меженецкий и его друзья, все попытки возмущения крестьян и, главное, террор и все убийства: губернатора Кропоткина, Мезенцова и самого Александра II — все это был ряд ошибок. Все это привело только к реакции, торжествовавшей при Александре III и вернувшей общество назад, почти к крепостному праву. Путь освобождения народа, по мнению новых, был совсем иной.

В продолжение двух дней и почти двух ночей не переставали споры между Меженецким и его новыми знакомыми. Особенно один, руководитель всех, Роман, как его все звали только по имени, мучительно огорчал Меженецкого непоколебимой уверенностью в своей правоте и снисходительным, даже насмешливым отрицанием всей прошедшей деятельности Меженецкого и его товарищей.

Народ, по понятию Романа, грубая толпа, "быдло", и с народом, стоящим на той степени развития, на которой он стоит теперь, ничего сделать нельзя. Все попытки поднять русское сельское население — это все равно, что пытаться зажечь камень или лед. Нужно воспитать народ, нужно приучить его к солидарности, и это может сделать только большая промышленность и выросшая на ней социалистическая организация народа. Земля не только не нужна народу, но она-то и делает его консерватором и рабом. Не только у нас, но и в Европе. И он на память приводил мнения авторитетов и статистические цифры. Народ надо освободить от земли. И чем скорее это сделается, тем лучше. Чем больше их идут на фабрики, и чем больше забирают в руки землю капиталисты, и чем больше угнетают их, тем лучше. Уничтожиться деспотизм, а главное капитализм, может только солидарностью людей народа, а

солидарность эта может быть достигнута только союзами, корпорациями рабочих, то есть только тогда, когда народные массы перестанут быть земельными собственниками и станут пролетариями.

Меженецкий спорил и горячился. Особенно раздражала его одна из женщин, недурная волосатая брюнетка с очень блестящими глазами, которая, сидя на окне и как будто не принимая прямого участия в разговоре, изредка вставляла словечки, подтверждавшие доводы Романа, или только презрительно посмеивалась на слова Меженецкого.

— Разве можно переделать весь земледельческий народ в фабричный? — говорил Меженецкий.

— Отчего же нельзя? — возражал Роман. — Это общий экономический закон.

— Почему мы знаем, что закон это всеобщий? — говорил Меженецкий.

— Прочтите Каутского, — презрительно улыбаясь, вставила брюнетка.

— Если и допустить, — говорил Меженецкий, — (я не допускаю этого), что народ переделается в пролетариев, то почему вы думаете, что он сложится в ту, вперед предназначенную ему вами форму?

— Потому что это научно обосновано, — вставляла брюнетка, поворачиваясь от окна.

Когда же речь зашла о форме деятельности, которая нужна для достижения цели, разногласие стало еще больше. Роман и его друзья стояли на том, что нужно подготавливать армию рабочих, содействовать переходу крестьян в фабричных и пропагандировать социализм среди рабочих. И не только не бороться открыто с правительством, а пользоваться им для достижения своих целей. Меженецкий же говорил, что надо прямо бороться с правительством, терроризировать его, что правительство и сильнее и хитрее вас. "Не вы обманете правительство, а оно вас. Мы и пропагандировали

народ и боролись с правительством”.

— И как много сделали! — иронически проговорила брюнетка.

— Да, я думаю, что прямая борьба с правительством — неправильная трата сил, — сказал Роман.

— Первое марта трата сил! — закричал Меженецкий. — Мы жертвовали собой, жизнями, а вы спокойно сидите по домам, наслаждаясь жизнью, и только проповедуете.

— Не очень-то наслаждаемся жизнью, — спокойно сказал Роман, оглядываясь на своих товарищей, и победоносно расхохотался своим незаразительным, но громким, отчетливым, самоуверенным смехом.

Брюнетка, покачивая головой, презрительно улыбалась.

— Не очень-то наслаждаемся жизнью, — сказал Роман. — А если и сидим здесь, то обязаны этим реакции, а реакция — произведение именно первого марта.

Меженецкий замолчал. Он чувствовал, что задыхается от злобы, и вышел в коридор.

XII

Стараясь успокоиться, Меженецкий стал ходить взад и вперед по коридору. Двери камер до вечерней переклички были открыты. Высокий белокурый арестант, с лицом, добродушие которого не нарушалось до половины выбритой головой, подошел к Меженецкому.

— Арестантик тут, в нашей камере, увидел ваше степенство, — позови, говорит, его ко мне.

— Какой арестант?

— "Табачная держава", так ему прозвище. Старичок он, из раскольников. "Позови, говорит, ко мне того человека". Про ваше степенство, значит.

— Где же он?

— Во тут, в нашей камере. "Покличь, говорит, того барина".

Меженецкий вошел с арестантом в небольшую камеру с нарами, на которых сидели и лежали арестанты.

На голых досках, под серым халатом, на краю нар, лежал тот самый старик раскольник, который семь лет тому назад приходил к Меженецкому расспрашивать о Светлогубе. Лицо старика, бледное, все ссохлось и сморщилось, волосы все были такие же густые, редкая борода была совсем седая и торчала кверху. Глаза голубые, добрые и внимательные. Он лежал навзничь и, очевидно, был в жару: на маслаках щек был болезненный румянец.

Меженецкий подошел к нему.

— Что вам? — спросил он.

Старик с трудом поднялся на локоть и подал трясущуюся сухую небольшую руку. Он, собираясь говорить, как бы раскачиваясь, стал тяжело дышать и, с трудом переводя дыханье, тихо заговорил:

— Не открыл ты мне тогда, — Бог с тобой, а я всем открываю.

— Что же открываете?

— Про агнца... про агнца открываю... тот юнош с Агнцем был. А сказано: Агнец победит я, всех победит... И кто с Ним, те избранныи и вернии.

— Я не понимаю, — сказал Меженецкий.

— А ты понимай в духе. Цари область примут со зверем. А Агнец победит я.

— Какие цари? — сказал Меженецкий.

— И цари седмь суть: пять их пало и един остался, другой еще не прииде, не пришел, значит. И егда приидет, мало ему есть... значит, конец ему придет... понял?

Меженецкий покачивал головой, думая, что старик бредит и слова его бессмысленны. Так же думали и

арестанты, товарищи по камере. Тот бритый арестант, который звал Меженецкого, подошел к нему и, слегка толкнув его локтем и обратив на себя внимание, подмигнул на старика.

— Все болтает, все болтает, табачная держава наша, — сказал он. — А что, и сам не знает.

Так думали, глядя на старика, и Меженецкий и его сотоварищи по камере. Старик же хорошо знал, что говорил, и то, что он говорил, имело для него ясный и глубокий смысл. Смысл был тот, что злу недолго остается царствовать, что Агнец добром и смирением побеждает всех, что Агнец утрет всякую слезу, и не будет ни плача, ни болезни, ни смерти. И он чувствовал, что это уже совершается, совершается во всем мире, потому что это совершается в просветленной близостью к смерти душе его.

— Ей гряди скоро! Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе! — проговорил он и слегка значительно и, как показалось Меженецкому, сумасшедше улыбнулся.

XIII

Вот он, представитель народа, — подумал Меженецкий, выходя от старика. — Это лучший из них. И какой мрак! Они (он разумел Романа с его друзьями) говорят: с таким народом, каков он теперь, ничего нельзя сделать".

Меженецкий одно время работал свою революционную работу среди народа и знал всю, как он выражался, "инертность" русского крестьянина; сходилась и с солдатами на службе и отставными и знал их тупую веру в присягу, в необходимость повиновения и невозможность рассуждением подействовать на них. Он знал все это, но никогда не делал из этого знания того вывода, который неизбежно вытекал из него. Разговор с новы-

ми революционерами расстроил, раздражил его.

"Они говорят, что все то, что делали мы, что делали Халтурин, Кибальчич, Перовская, что все это было ненужно, даже вредно, что это-то и вызвало реакцию Александра III, что благодаря им народ убежден, что вся революционная деятельность идет от помещиков, убивших царя за то, что он отнял у них крепостных. Какой вздор! Какое непонимание и какая дерзость думать так!" — думал он, продолжая ходить по коридору.

Все камеры были закрыты, исключая одной той, в которой были новые революционеры. Подходя к ней, Меженецкий услышал смех ненавистной ему брюнетки и трескучий, решительный голос Романа. Они, очевидно, говорили про него. Меженецкий остановился слушать. Роман говорил:

— Не понимая экономических законов, они не отдавали себе отчета в том, что делали. И большая доля тут была...

Меженецкий не мог и не хотел дослушать, чего тут была большая доля, но ему и не нужно было знать этого. Один тон голоса этого человека показывал то полное презрение, которое испытывали эти люди к нему, к Меженецкому, герою революции, погубившему двенадцать лет жизни для этой цели.

И в душе Меженецкого поднялась такая страшная злоба, какой он еще никогда не испытывал. Зло на всех, на все, на весь этот бессмысленный мир, в котором могли жить только люди, подобные животным, как этот старик с своим агнцем, и такие же полуживотные палачи и тюремщики, эти наглые, самоуверенные, мертворожденные доктринеры.

Вошел дежурный вахтер и увел политических женщин на женскую половину. Меженецкий отошел в дальний конец коридора, чтобы не встречаться с ними. Вернувшись, вахтер запер дверь новых политических

и предложил Меженецкому войти к себе. Меженецкий машинально послушался, но попросил не запирасть своей двери.

Вернувшись в свою камеру, Меженецкий лег на койку, лицом к стене.

"Неужели в самом деле так понапрасну погублены все силы: энергия, сила воли, гениальность (он никогда никого не считал выше себя по душевным качествам) погублены задаром!" Он вспомнил недавно, уже по дороге в Сибирь, полученное им письмо от матери Светлогуба, упрекавшей его по-женски, глупо, как он думал, за то, что он погубил ее сына, увлекши в террористическую партию. Получив письмо, он только презрительно улыбнулся: что могла понимать эта глупая женщина о тех целях, которые стояли перед ним и Светлогубом. Но теперь, вспомнив письмо и милую, доверчивую, горячую личность Светлогуба, он задумался сначала о нем, а потом и о себе. Неужели вся жизнь была ошибка? Он закрыл глаза и хотел заснуть, но вдруг с ужасом почувствовал, что возвратилось то состояние, которое он испытывал первый месяц в Петропавловской крепости. Опять боль в темени, опять рожи, большепотые, мохнатые, ужасные, на темном фоне с звездочками, и опять фигуры, представляющиеся открытым глазам. Новое было то, что какой-то уголовный, в серых штанах, с бритой головой, качался над ним. И опять, по связи идей, он стал искать отдушника, на котором можно было бы утвердить веревку.

Невыносимая злоба, требующая проявления, жгла сердце Меженецкого. Он не мог сидеть на месте, не мог успокоиться, не мог отогнать своих мыслей.

"Как? — стал он уж задавать себе вопрос. — Разрезать артерию? Не сумею. Повеситься? Разумеется, самое простое".

Он вспомнил о веревке, которой была перевязана

вязанка дров, лежащая в коридоре. "Стать на дрова или на табуретку. В коридоре ходит вахтер. Но он заснет или выйдет. Надо выждать и тогда унести к себе веревку и утвердить на отдушнике".

Стоя у своей двери, Меженецкий слушал шаги вахтера в коридоре и изредка, когда вахтер уходил в дальний конец, выглядывал в отверстие двери. Вахтер все не уходил и все не засыпал. Меженецкий жадно прислушивался к звукам его шагов и ожидал.

В это время в той камере, где был больной старик, среди темноты, чуть освещаемой коптящей лампой, среди сонных ночных звуков дыханья, ворчанья, кряхтенья, храпа, кашля, происходило величайшее в мире дело. Старик раскольник умирал, и духовному взору его открылось все то, чего он так страстно искал и желал в продолжение всей своей жизни. Среди ослепительного света он видел Агнца в виде светлого юноши, и великое множество людей из всех народов стояло перед ним в белых одеждах, и все радовались, и зла уже больше не было на земле. Все это совершилось, старик знал это, и в его душе и во всем мире, и он чувствовал великую радость и успокоение.

Для людей же, бывших в камере, было то, что старик громко хрипел предсмертным хрипом, и сосед его проснулся и разбудил других; и когда хрип кончился и старик затих и похолодел, товарищи его по камере стали стучать в дверь.

Вахтер отпер дверь и вошел к арестантам. Минут через десять два арестанта вынесли мертвое тело и понесли его вниз в мертвецкую. Вахтер вышел за ними и запер дверь за собою. Коридор остался пустой.

"Запирай, запирай, — подумал Меженецкий, следивший из своей двери за всем, что делалось, — не помешаешь мне уйти от всего этого нелепого ужаса".

Меженецкий не испытывал уже теперь того внутреннего ужаса, который до этого томил его. Он весь был

поглощен одной мыслью: как бы что-нибудь не помешало ему исполнить свое намерение.

С трепещущим сердцем он подошел к вязанке дров, развязал веревку, вытянул ее из-под дров и, оглядываясь на дверь, понес к себе в камеру. В камере он влез на табуретку и накинул веревку на отдушник. Связав оба конца веревки, он перетянул узел и из двойной веревки сделал петлю. Петля была слишком низко. Он вновь перевязал веревку, опять сделал петлю, примерил на шею и, беспокойно прислушиваясь и оглядываясь на дверь, влез на табуретку, всунул голову в петлю, оправил ее и, оттолкнув табуретку, повис...

Только при утреннем обходе вахтер увидал Меженецкого, стоявшего на согнутых в коленях ногах подле лежавшей на боку табуретки. Его вынули из петли. Прибежал смотритель и, узнав, что Роман был врач, позвал его, чтобы оказать помощь давленнику.

Были употреблены все обычные приемы для оживления, но Меженецкий не ожил.

Тело Меженецкого снесли в мертвецкую и положили на нары рядом с телом старика раскольника.

А. П. ЧЕХОВ

Студент

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и

нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

— Вот вам и зима пришла назад, — сказал студент, подходя к костру. — Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и

улыбнулась приветливо.

— Не узнала, Бог с тобой, — сказала она. — Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только шурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось была на двенадцати евангелиях?

— Была, — ответила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: "С Тобою я готов и в темницу и на смерть". А Господь ему на это: "Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня". После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику, — продолжал он, — Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: "И этот был с Иисусом", то есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: "Я не знаю Его". Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: "И ты из них". Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: "Да не тебя ли сегодня я видел с Ним в саду?" Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: "И исшед вон, плакася горько". Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, избыточные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплака-

ла, то, значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошрое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только двадцать два года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

КОММЕНТАРИИ

Н. М. Карамзин. История государства Российского. Том IX. Царствование Иоанна IV. Из главы седьмой

Николай Михайлович Карамзин (1766 — 1826), по мысли Пушкина, "есть первый наш историк и последний летописец": великое его творение явилось первой научной историей России, потребовавшей колоссальных исследовательских трудов, и завершением многовековой работы русских летописцев, создавших богатейшую историко-художественную библиотеку, которая явилась источником нашей исторической науки и художественной литературы. Подобно русским летописцам, Карамзин в "Истории государства Российского" (1803 — 1826) руководствовался незыблемой нравственной мерой — библейскими заповедями. Во всем повествовании и в описании кончины Иоанна, в размышлениях о его личности и царствовании, о подобных ему "извергах вне законов", правивших другими государствами, об уроках тиранической власти и судьбе России Карамзин неизменно пользуется этой мерой. "Каялся ли грешник? Думал ли о близком грозном суде Всевышнего?" — спрашивает писатель, рисуя последние часы мятущегося Иоанна, и далее подчеркивает, что царь, "имея редкую память, знал наизусть Библию, историю греческую, римскую, нашего отечества, чтобы нелепо толковать их в пользу тиранства..." Неоднократно Карамзин говорит, что Грозный соблюдал "наружность христианских добродетелей", противореча им на каждом шагу. Не цитируя Священного Писания, историк-художник создает впечатление постоянной соотнесенности своего повествования с Книгами Библии. Самый стиль карамзинского изложения постоянно напоминает читателю о библейской речи — мерной и величавой: "Всегдашний трепет гнева и боязни, угрызания совести без раскаяния, гнусные восторги сластолюбия мерзостного, мука стыда, злоба бессильная в неудачах оружия, наконец, адская казнь сыноубийства истощили меру сил Иоанновых..."

Печ. по кн.: Н. М. Карамзин. Предания веков. М.: "Правда", 1987.

Стр. 182

Лапландия — природная область на севере Швеции, Норвегии, Финляндии и на западе Кольского полуострова.

Бельский Богдан Яковлевич (? — 1611) — фаворит Ивана Грозного, родственник царского сподвижника, главы опричного террора Г. Л. Скуратова-Бельского (Малюты).

Феодор Иоаннович (1557 — 1598) — последний русский царь из династии Рюриковичей, болезненный, неспособный к государственной деятельности.

Стр. 185

"...сверх ига моголов..." — имеется в виду татаро-монгольское иго; оно в карамзинские времена именовалось могольским по названию Могольского государства, основанного потомком Чингисхана Углюк-Тимуром, которое с XIV по XVI век существовало на территории Восточного Туркестана, Семиречья,

Южной Сибири.

"...двадцать четыре года сносила губителя..." — царствование Ивана Грозного продолжалось 37 лет; Карамзин имеет в виду период безудержного мучительства, определяемый им с 1560 по год смерти Иоанна — 1584.

"...как греки в Термопилах за отечество..." — при Фермопилах (горный проход из Северной Греции в Среднюю) в 480 г. до н.э. 300 греков под командованием спартанского царя Леонида сражались с громадной персидской армией и все погибли в неравном бою; знаменательно, что здесь царская опричнина сопоставлена с войском иноземных захватчиков.

"...не вызвали бы зверя из вертепа слободы Александровской..." — эта слобода (поселение, освобожденное на какое-то время от княжеских или царских повинностей) была резиденцией Ивана Грозного, центром опричнины; там обычно задумывались и готовились очередные расправы; "духовенство, бояре, граждане знаменитые" не однажды смиренно просили царя, удалившегося демонстративно в слободу, вернуться в стольный город — Москву.

Калигула (12 — 41) — римский император, чье имя стало символом тиранства и жестокости.

Нерон (37 — 68) — римский император, известен как жестокий, самовлюбленный и развратный тиран.

Стр. 186

Людовик XI (1423 — 1483) — французский король; сопоставляя его с Иваном IV, Карамзин пишет: "...оба набожные от страха, оба кровожадные и женолюбивые, подобно азиатским и римским мучителям".

Стр. 188

Иоанн III Васильевич (1440 — 1505) — великий князь Московский, при котором было свергнуто ордынское иго и сложилось ядро единого Российского государства.

Стр. 190

Скуратов-Бельский Григорий Лукьянович (по прозвищу Малюта — малыш, коротыш; год рожд. неизв., умер в 1573) — приближенный царя. Карамзин называет его "худородным": Малюта был потомком незнатного выходца из Орды; кровавая свирепость его вошла в пословицу.

Баторий Стефан (1533 — 1586) — польский король с 1576 г.

Поссевин (Поссевино) Антонио (1543 — 1611) — деятель католической церкви, один из руководителей ордена иезуитов, был папским послом в Польше и России (1581), историк, написавший книгу "Московия" (1585) — сочинение о России времен Ивана Грозного.

Стр. 194

"...именуют его только Грозным, не различая внука с дедом..." — имеется в виду Иван III, которого впервые называли Грозным.

И. А. Крылов. Басни

Басня "Лань и Дервиш" впервые опубликована в 1815 г. Ее нравственная направленность близка Нагорной проповеди Спасителя, ее идеям бескорыстного и безграничного добра и милосердия, которые преодолевают вражду и нена-

висть: "А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас..." (Евангелие от Матфея, V, 44).

Стр. 195

Дервиш (перс.) — бедняк, нищий; в мусульманском мире — нищенствующий аскет, пренебрегающий всеми благами жизни ради духовного сближения с Богом.

Басня "Добрая Лисица" впервые опубликована в 1815 г., по мыслям и настроениям связана с басней "Лань и Дервиш", изображая фальшивое милосердие, прикрывающее безжалостную жестокость. В финале басни можно видеть напоминание об одном из наставлений Нагорной проповеди: "Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас..." (VI, 1, также 2, 3, 4).

В. А. Жуковский. Стихотворения

Василий Андреевич Жуковский (1783 — 1852) видел исток своей поэтической деятельности и вообще поэзии христианской эпохи в животворной, деятельной скорби, которая "есть неотъемлемое свойство души, бессмертной по своей природе, божественной по своему происхождению, но падшей и носящей в себе, явно или тайно, грустное чувство сего падения, соединенное, однако, с чувством возможности вступить в первобытное свое величие". Поэт редко обращается к образам или мотивам Священного Писания, но дух Евангелия присущ всему его творчеству, составляет ее незримую и ощутимую нравственную основу, воздействует на его художественную манеру. Нетрудно узнать существенные черты поэзии Жуковского в той характеристике, которую поэт относит к романтической поэзии в целом: "...христианство открыло нам глубину нашей души, увлекло нас в духовное созерцание, соединило с миром внешним мир таинственный, усилило в нас все душевное — это отразилось в жизни действительной; страсти сделались глубже, геройство сделалось рыцарством, любовь самоотвержением; все получило характер какой-то духовности."

Печ. по кн.: В. А. Жуковский. Избранное. М., 1986.

"**Лалла Рук**". Стихотворение написано в 1821 г., впервые опубликовано в 1827 г., но сразу же приобрело широкую известность; Пушкин вспоминает его и цитирует (стих "Гений чистой красоты") в стихотворении 1825 г. "К ***" ("Я помню чудное мгновенье..."). История стихотворения известна детально. Жуковский присутствовал в 1821 г. в Берлине на празднике, устроенном прусским королем Фридрихом для своей дочери принцессы Шарлотты — супруги великого князя Николая Павловича, будущего императора. В России Шарлотта именовалась Александрой Федоровной. Жуковский учил ее русской словесности. На празднике были поставлены "живые картины" по мотивам поэмы английского поэта Томаса Мура (1779 — 1852) "Лалла Рук". Шарлотта исполняла в спектакле роль героини — индийской принцессы. Стихотворение, как это свойственно лирике, изображает не праздник и спектакль, но выражает размышления и душевные движения поэта; от конкретного впечатления оно ведет в область

переживаний и размышлений, широко охватывающих жизнь.

"9 марта 1823 года". Стихотворение написано в марте 1823 г. под впечатлением последнего свидания поэта и затем известия о смерти (18 марта 1823 г.) Марии Протасовой (племянницы Жуковского по отцу), которую поэт любил нежно и самоотверженно; эта любовь отразилась так или иначе во всем его творчестве.

"Суд Божий над епископом". Баллада, представляющая собою перевод одноименной баллады английского поэта Роберта Саути (1774 — 1843). В основе баллады — средневековое предание о епископе Гаттоне, который проявил свою жадность и жестокость во время голода 914 г. и был за это наказан. Стихотворение наследует традицию разоблачения фальшивого благочестия (см. выше басню Крылова "Добрая лисица").

П. А. Вяземский. Палестина

Стихотворение написано в 1850 г., когда Петр Андреевич Вяземский (1792 — 1878) совершил паломничество в Иерусалим, и соединяет в себе непосредственные впечатления с воспоминаниями о пережитом и размышлениями о прошлом и настоящем Палестины, о Библии и христианстве, о собственной жизни:

Пред рассветом, пустыней
Я несусь на коне
Богомольцем к святыне,
С детства родственной мне.

Древний и живой библейский мир, зримый и видимый только внутренним взором, представляется поэту вечным источником поэзии:

Внешний мир, мир подспудный,
Все, что было, что есть, —
Все поэзии чудной

Благодатная весть.

Печ. по кн.: П. А. Вяземский. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988.

Стр. 204

Бурнус — плащ с капюшоном из белой шерстяной материи у арабов. Бедуины — (от араб. бадаун — обитатели пустыни) — кочевые арабы-скотоводы.

Шейх (араб., букв. — старик) — титул вождя кочевого племени в Аравии (а также правителя, руководителя, вообще — почтенного человека).

Стр. 205

"...точь-в-точь Молодая Ревекка, Вафуилова дочь." — Согласно Библии — дочь Вафуила, жена Исаака, мать Исава и Иакова (все эти персонажи —

из рода, к которому принадлежал Иисус Христос). История этой семьи, приведенная в Книге Бытия (XXIV, XXV, XXVI), отразилась во многих произведениях литературы и искусства.

Стр. 207

"На Израиль с заветом Здесь сошла Божья сень..." — речь идет о Десяти заповедях и других наставлениях, которые Бог открыл израильскому народу на горе Синай, о чем рассказано во Второй Книге Моисеевой (XIX, XX, XXIV, XXXI).

А. С. Пушкин. Стихотворения

В поэзии Александра Сергеевича Пушкина (1799 — 1837), начиная с "Вольности" (1817), кончая "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." (1836), библейские традиции выступают в свободном и естественном взаимодействии с образами русского фольклора и литературы, античной мифологии и словесного искусства, с мотивами художественных культур Севера, Запада, Востока. Эта сложная и устойчивая целостность объединяется не только художественным сознанием поэта, но и его образом, который возник в читательском восприятии поразительно рано и продолжает развиваться вот уже второе столетие.

Лицеист Антон Дельвиг в стихотворении, обращенном к пятнадцатилетнему другу, начал "сотворение" этого образа, отведя место поэту среди небожителей, гениев человечества:

...Пушкин! Он и в лесах не укроется:
Лира выдаст его громким пением.
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

Это подобие античного мифа оказалось пророчеством. Вслед за Дельвигом П. А. Вяземский в том же мифологическом духе назвал Пушкина Протеем: это античное божество, способное принимать любой облик. Позднее Н. В. Гоголь заметил в статье "В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность" (1846), что в пушкинской поэзии отражается весь человеческий мир: "...слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец, в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариною времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский весь с головы до ног; все черты нашей природы в нем отозвались..." Ф. М. Достоевский в речи по поводу открытия памятника Пушкину в Москве (1880) назвал его поэтом "национально-всемирным" и сказал, что в его поэзии выразилась русская народность, способная отозваться на духовную жизнь любого другого народа, стремящаяся в конечных своих целях к "всемирности и всечеловечности". В этой волшебной отзывчивости и гармоничности Пушкина обращение к библейской традиции неизменно становилось событием на его жизненном и художественном пути. "Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство, — писал он в 1830 г. — В сей-то священной стихии исчез и обновился мир."

Печ. по кн.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти тт. Тт. 2, 3.

"Свободы сеятель пустынный...". Написано в ноябре 1823 г.; при жизни Пушкина не печаталось. (Первая публикация — в 1866 г.). Эпиграф и основной мотив из притчи Иисуса Христа о сеятеле (Евангелие от Матфея, XIII). Стихотворение рассматривается в первой части книги.

Пророк. Написано 8 сентября 1826 г., впервые напечатано в 1828 г. Стихотворение является свободным переложением центрального события в Книге пророка Исаии — его преображению по воле Божией для пророческого служения (VI, 1 — 8). Стихотворение рассматривается в первой части книги.

Воспоминание ("Когда для смертного умолкнет шумный день..."). Написано 19 мая 1828 г., напечатано в 1829 г. В стихотворении отражается один из важнейших заветов христианского учения — завет покаяния, т.е. искреннего признания в своих грехах перед Богом как первого условия очищения души. О покаянии идет речь во многих Книгах Библии (Второй Книге Моисеевой, Книге пророка Исаии, во всех четырех Евангелиях, в Деяниях святых апостолов, в Откровении Иоанна Богослова), но как таинство христианства покаяние обосновано в Новом Завете (Евангелие от Матфея, III, 1 — 3, XVIII, 18; Евангелие от Марка, I, 1 — 5). На соотносительность стихотворения с Евангелием указывает его стиль и более прямо — продолжение стихотворения, не вошедшее в опубликованный автором текст. Стихотворение рассматривается в первой части книги.

"Жил на свете рыцарь бедный..." Написано в 1829 г. При жизни автора не напечатано по цензурным причинам. В переделанном виде вошло в "Сцены из рыцарских времен" (1829). В стихотворении отразился образ Богородицы и культ Ее, распространенный среди европейского средневекового рыцарства. Христианская молитва, обращенная к Пресвятой Деве, послужила основой для многих произведений поэзии и музыки. В Новом Завете история Девы Марии рассказывается во всех четырех Евангелиях (от Матфея, I, 16; от Марка, III, 31; от Луки, I, 26 — 56; от Иоанна, I, 24).

Стр. 212

Паладин (от позднелат. *palatinus* — придворный) — в средневековой европейской литературе — сподвижник Карла Великого, позднее — рыцарь, преданный своему государю или даме своего сердца; в переносном смысле — человек, верный какой-либо идее, делу, лицу.

Мадонна. Написано 8 июля 1830 г., напечатано в 1831 г. Комментарием к стихотворению может служить письмо Пушкина невесте — Н. Н. Гончаровой 30 июля 1830 г.: "Я утешаюсь тем, что часами простаиваю перед белокурой Мадонной, похожей на Вас, как две капли воды..." Из тех картин, изображавших Богоматерь с Младенцем, которые мог видеть Пушкин, предположительно, имеется в виду "Мадонна с младенцем" Пьетро Перуджино (это псевдоним — от названия города и провинции Перуджа, наст. фамилия Вануччи), итальянского художника XVI в. Косвенным подтверждением этой догадки может служить эпизод из гоголевской повести "Невский проспект": один из героев ее, художник Пискарев, сопоставляет красавицу, которая встретила его на Невском, с "Перуджиновой Бианкой" — с образом Богоматери, видимо, на одной из картин, находившихся в России (текст повести дает понять, что Пискарев не бывал в Италии). Впечатление Пушкина от восхитившей его картины послужило толчком к созданию стихотворения, в котором образ прелестной невесты, мечта о семье освещены и как бы освящены образом Богоматери. О евангельских текстах, в которых возникает образ Богоматери и Младенца, см. комментарий к предыду-

щему стихотворению.

Стр. 213

Сион — один из холмов, на которых построен Иерусалим, в переносном смысле земная и небесная церковь библейского Бога-Отца.

"Отцы пустыnnики и жены непорочны...". Написано 22 июля 1836 г. При жизни автора напечатано не было. Стихотворение выражает отношение поэта к православной молитве и перелагает великопостную молитву Ефрема Сирина (христианский писатель IV в.). Это покаянная молитва читалась в начале сорокадневного поста, который предшествует Пасхе — главному христианскому празднику. По духу стихотворение является развитием мотивов "Воспоминания" (1828).

"Напрасно я бегу к сионским высотам..." — незавершенное стихотворение 1836 г.; по содержанию примыкает к "Воспоминанию" и "Отцы пустыnnики и жены непорочны..."

"Я памятник себе воздвиг нерукотворный...". Переложение (вослед за Ломоносовым и Державиным) XXX-ой оды Квинта Горация Флакка, римского поэта I в. до н.э. Написано 21 августа 1836 г. При жизни автора не печаталось. Гармонично сочетает в себе античные, библейские, русские фольклорные мотивы. Стихотворение рассматривается в первой части книги.

Стр. 214

Нерукотворный — в значениях "духовный", "нематериальный", "возникший чудесно, по велению Бога"; слово, по мнению исследователей имеет своим источником Евангелие от Марка (XIV, 58); существенно, что в Евангелии это слово употреблено в контексте пророчества Иисуса Христа о своей смерти и воскресении, что не было понято судьями Синедриона и Понтием Пилатом.

Александрийский столп (или Александровская колонна) — колонна из красного гранита, воздвигнутая на Дворцовой площади в Петербурге (1834) в память о победе России в Отечественной войне 1812 — 1815 гг. и об императоре Александре I; венчает колонну бронзовая фигура ангела, лицу которого приданы черты сходства с лицом императора. Александрийским столпом в древности называли башню-маяк перед входом в порт Александрию, основанную Александром Македонским в 332 — 331 гг. до н.э.; эту башню считали одним из семи чудес света. В пушкинском стихотворении бессмертие поэзии противопоставляется памятникам земной власти.

Н. В. Гоголь. Шинель

Эта повесть Николая Васильевича Гоголя (1809 — 1852), давно признанная одним из самых замечательных, этапных по своему значению произведений русской литературы XIX в., вызывала резко различные, почти противоположные истолкования: от признания ее ярчайшим выражением протеста против бесчеловечного социального устройства до утверждения, что сила ее не в социальном обличении, не в защите униженного человека, а в изображении общечеловеческого полубезумного мира тщеты, тщетного смирения и тщетного господства, где наивысшая точка стремлений — новая шинель, пред которой преклонят колени и портные, и заказчики. Но во всех суждениях, как бы они ни были своеобразны,

в той или иной форме присутствовала одна мысль — о ничтожности героя повести. Эта точка зрения как само собой разумеющаяся принята и сегодня: "Акакий Акакиевич Башмачкин — безусловно самый ничтожный из всех духовно ничтожных героев Гоголя", — сказано в фундаментальном труде по истории русской литературы.

Но повесть не исчерпывается ни одним, ни совокупностью всех истолкований. И, может быть, самое поразительное в ней то, что Акакий Акакиевич на непредубежденного и отзывчивого читателя вовсе не производит впечатление ничтожного человека. При всей пошлости и убогости существования, он, по мере разворачивания событий, пробуждает не только сочувствие и сострадание, но и уважение, и ощущение ценности человеческой души, понимание ее божественной сути. (Подробнее об этом говорится в первой части книги). Такое освещающее читателя впечатление создается всем тоном повести и несомненной ее внутренней связью с нравственными заветами Евангелия, с Нагорной проповедью Спасителя: именно в Нем Гоголь, как он говорит в "Авторской исповеди" (1852), нашел "ключ к душе человека".

Печ. по кн.: Собр. худож. произв. в 5-ти тт. М., 1960.

Стр. 215

Департамент — отдел министерства или какого-либо государственного учреждения в России XIX в.

Стр. 216

Титулярный советник — чин 9 класса по установленной с петровского времени "Табели о рангах", невысокий, но дававший "личное дворянство" (без передачи по наследству).

Столоначальник — начальник "стола", чиновник, возглавлявший одно из низших подразделений государственного учреждения (обычно имел чин 7-го класса).

Стр. 217

"...развернули календарь..." — при крещении имя младенцу давалось по церковному календарю, где вместе с православными праздниками указывались дни памяти христианских святых; из их имен, в соответствии с датой крещения и подбиралось имя для младенца (отсюда бытующий и поныне термин "календарные имена": их носит подавляющее большинство русского населения и по сей день, но упомянутые в "Шинели" древние имена и в гоголевское время не употреблялись).

Стр. 218

"...и в этих проникающих словах звенели другие слова: "Я брат твой." — Эти слова, каждому, знакомому с Евангелием, приводили на память заветы Христа о братстве людей: см., например, Евангелие от Матфея (V, 22, 23, 24; VII, 1, 2, 3, 4, 5).

Стр. 219

Вицмундир — форменный фрак гражданских чиновников.

Стр. 221

Штурмовой вист — один из вариантов карточной игры вчетвером.

Фальконетов монумент — памятник Петру в Петербурге на Сенатской площади работы Этьенна Мориса Фальконе ("Медный всадник").

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения

Помещенные в этой книге четыре стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 — 1841) принадлежат к числу замечательнейших в его лирике. Первое из них — "Смерть поэта" (1837) сделало имя автора известным и любимым в России, последнее — "Пророк" (1841) воспринимается как итог творческого пути поэта и, перекликаясь с одноименным пушкинским стихотворением, выглядит широчайшим обобщением, относящимся к судьбе русской поэзии и поэзии мира. Публикуемые стихотворения, прочно связанные с библейской традицией, характерны для всего лермонтовского творчества, где неизменны обращенность к истинам и заветам Священного Писания, раздумье о вечном борении Божеских и демонических начал бытия и мечта о победе благих сил, так светло и трагично выраженная в поэме "Демон", которую Лермонтов писал всю свою творческую жизнь:

В пространстве синего эфира
Один из ангелов святых
Летел на крыльях золотых,
И душу грешную от мира
Он нес в объятих своих.
И сладкой речью упования
Ее сомненья разгонял,
И след проступка и страданья
С нее слезами он смывал.

Печ. по кн.: М. Ю. Лермонтов. Полн. собр. соч. М.-Л., 1947.

Смерть поэта. Написано в дни, когда умирал Пушкин, и Лермонтов вместе с толпами петербуржцев приходил к дому на Мойке и ждал известий. Первоначально стихотворение появилось без последних 16-ти строк и мгновенно распространилось в списках; финальные стихи были дописаны после похорон Пушкина. За написание и распространение стихотворения автор был арестован и отправлен в Нижегородский драгунский полк, участвовавший в войне против горцев Кавказа. Первая (неполная) публикация стихотворения в России появилась в 1858 г.

Стр. 222

"*Отмищенье, государь, отмищенье...*" — эпитафия из трагедии французского драматурга XVII в. Жана Ротру "Венцеслав" (1647), являющейся переделкой пьесы испанского драматурга Франсиско де Рохас Соррилья "Королю нельзя быть отцом" (1640). "Венцеслав" вольно переведен на русский язык в 1824 г. современником Пушкина и Лермонтова Андреем Жандром. Эпитафия выглядит прямым обращением к императору Николаю I. Представляет интерес такая деталь: в драме Рохаса — Ротру — Жандра король не смог выполнить обращенное к нему требование и был лишен власти возмущенным народом. Пьеса не была разрешена цензурой к постановке в России и публиковались лишь ее фрагменты.

Стр. 223

"И прежний сняв венок — они венец терновый, Увитый лаврами, надели на него...". Образ этот восходит к стихам Евангелия, изображающим издевательства римских солдат над приговоренным к распятию Спасителем (Евангелие от Матфея, XVII, 29, 30, 31; Евангелие от Марка, XV, 17, 18, 19, 20, Евангелие от Иоанна, XIX, 1, 2, 3, 4, 5).

Стр. 224

"Но есть, есть Божий суд..." Тема Божьего возмездия за грехи проходит через всю Библию; в Евангелии говорится о Страшном суде, который свершится над всеми жившими и живущими людьми во время Второго пришествия Христа на землю (Евангелие от Матфея, XIII, 30, XXIV, 30, 31, XXV, 32 — 46; от Иоанна, V, 28, 29; Откровение Иоанна Богослова).

"...Поэта праведную кровь!" — в православии представление о праведности, праведнике относится к человеку, который известен в миру жизнью по Божьим законам; в Евангелии от Иоанна праведником называется "творящий правду".

Молитва. Написано в 1837 г., по свидетельству автора, в дороге, когда сосланный поэт ехал на Кавказ. Опубликовано в 1840 г. Образ "девы невинной" здесь правомерно соотнести с личностью замечательного человека — Вареньки Лопухиной, которую любил Лермонтов, которой адресованы или посвящены многие его произведения, в том числе поэма "Демон". Стихотворение было послано сестре Вареньки и другу поэта — Марии; оно явилось одновременно и признанием, и прощанием, и благословением.

"Выхожу один я на дорогу...". Написано в 1841 г.; это одно из последних стихотворений Лермонтова, впервые опубликовано в 1843 г. Образ пустыни, вмещающей Богу, пробуждает воспоминание о пустыне, изображаемой во многих книгах Ветхого и Нового Завета, и одновременно создает ощущение "космизма", свойственного всей лермонтовской поэзии. Стихотворение воспринимается как итог жизни и творчества, как своеобразный аналог пушкинскому "Памятнику".

"Пророк". Написано в 1841, впервые опубликовано в 1844 г. Несомненна преемственность стихотворения с пушкинским "Пророком", как и связь его с той же Книгой пророка Исаии, которую перелагал Пушкин: об этом говорят уже первые стихи:

С тех пор, как Вечный Судия
Мне дал всеведение пророка...

Ф. И. Тютчев. Стихотворения

В поэзии Федора Ивановича Тютчева (1803 — 1873) библейские образы возникают нечасто, но именно в те моменты, когда поэт погружается в самые трудные и тревожные размышления о поэзии, о времени, о России, когда пытается понять самого себя и человека вообще. Перечитайте напечатанное в этой книге стихотворение "О вещая душа моя!" (1855). Здесь запечатлено присущее каждому человеку, но постигнутое лишь поэтическим гением чувство своей причастности одновременно к земному и небесному, к страстям быта и духовности бытия.

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые, —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

Полно глубокого смысла и влечет за собою множество ассоциаций сопоставление прозревшей души с Марией из Магдалы, которая была исцелена Спасителем (Евангелие от Луки, VIII, 13), служила Ему, и ей первой Он явился по воскресении (Евангелие от Иоанна, XX, 11 — 17).

Подобным образом и в других стихах Тютчева обращение к Евангелию как бы освещает глубины человеческих сомнений и исканий. И сама поэзия видится ему преодолением неизбежной, но мучительной двойственности (стихотворение "Поэзия", 1850):

Среди громов, среди огней,
Среди kloкочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам —
Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре —
И на бунтующее море
Льет примирительный елей.

Печ. по кн.: Ф. И. Тютчев. Стихотворения. Письма. М., 1957.

Наш век. Написано 10 июня 1851 г., опубликовано в том же году.

Стр. 227

"*Я верю, Боже мой! Приди на помощь моему неверию!..*" — пересказ текста из Евангелия от Марка (IX, 24), где рассказывается история отрока, одержимого падучей (эпилепсией), отец которого молил Иисуса исцелить мальчика. "Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию." Слова отца стали пословицей, смысл которой не поддается однозначному истолкованию: это просьба избавить от сомнения и просьба сохранить сомнение, — может быть, потому, что сомнение — путь к глубокой вере, к убежденности, как свидетельствует об этом Книга Иова.

"**Эти бедные селенья...**" Написано 13 августа 1855 г., опубликовано в 1857 г. Относится к циклу стихотворений, написанных в период обороны Севастополя (1855 — 1856) и содержащих мучительные раздумья о судьбе России. Образ Спасителя, странствующего по Руси наваян, быть может, легендами о видениях русских праведников, например, той, что послужила основой для картины М. В. Нестерова "Видение отроку Варфоломею" (1889 — 1890). В стихотворении отразилось и представление о Христовом учении как религии страждущих, обездоленных, и думы о России, чьи бедствия усугубила и обнажила Крымская война.

"**О вещая душа моя!**" Написано в 1855, опубликовано в 1857 г. Пояснения к стихотворению см. выше.

"**Над этой темною толпой...**" Написано 15 августа 1857 г., опубликовано в

1858 г. По духу примыкает к стихотворению "Эти бедные селенья..." и может быть сопоставлено с неожиданным и загадочным финалом поэмы А. А. Блока "Двенадцать" (1918).

А. Н. Островский. Гроза

Эта драма Александра Николаевича Островского (1823 — 1886) принадлежит к числу самых известных его творений, не только благодаря театральным постановкам, которые часто становились событиями в истории сценического искусства, глубоким или сенсационным критическим статьям, фундаментальным научным исследованиям, но еще благодаря школьному курсу литературы, в котором она изучается около ста лет. Можно сказать, что в "Грозе" несчетное число раз истолкована каждая реплика — с точки зрения литературной науки или сценического искусства. И тем не менее, взгляд на пьесу с точки зрения библейских истин и заветов может открыть в ней нечто новое, причем относящееся к самой ее сути — к основному конфликту, к характерам действующих лиц, к авторской позиции. Попытка показать это сделана в первой части этой книги.

Печ. по кн.: А. Н. Островский. Пьесы. М., 1974.

Стр. 230

Странницы — женщины, посвятившие свою жизнь богомолью, хождению по святым местам — скитам, монастырям, питавшиеся добродетельным даянием (часто под воздействием глубокой веры, из-за тяжких жизненных обстоятельств, иногда по влечению к бродяжничеству и тунеядству); была на Руси и секта странников (так называемая сопелковщина), возникавшая как форма отрицания всякой земной власти, которая признавалась антихристовой; странники и странницы этого толка считали повиновение властям смертным грехом, паспорта и иные документы, удостоверяющие личность, уничтожали.

"...кипарисом пахнет..." — дерево из породы хвойных вечнозеленых растений, обладает прочной и стойкой древесиной с приятным запахом, из кипариса делали нательные крестики, образки, четки.

Стр. 231

"...точно мне лукавый в уши шепчет..." Лукавый — иносказательное название Сатаны.

Стр. 232

Грех — одно из нравственных понятий христианства: нарушение заповеди Божией.

Стр. 233

"Все в огне гореть будете неугасимом." В христианской и других религиях существует представление о загробном возмездии нераскаявшимся или непрощенным грешникам, чьи души попадают в ад (от греч. *hades* — подземное царство) и обречены там на вечное мучение.

Стр. 234

"...смерть тебя вдруг застанет, как ты есть..." Одним из важнейших нравственных устоев христианства является учение об отпущении грехов; сущ-

ность его в том, что все люди в течение жизни впадают в грех, но могут покаяться и обрести Божественную благодать прощения. Отпущение грехов перед смертью — традиционный обряд, совершаемый священнослужителем и воспринимаемый верующими как очищение души и предвестие райского блаженства. Отпущение грехов, согласно Евангелию — проявление милосердия Христа (Евангелие от Матфея, XVI, 19; XVIII, 21, 22).

Н. А. Некрасов. Стихотворения. Поэма "Кому на Руси жить хорошо"

Поэзия Николая Алексеевича Некрасова (1821 — 1877), посвященная изображению народной, преимущественно крестьянской, жизни, неразрывно связана с библейскими мотивами и образами. Иначе и быть не могло: в сознании тружеников и защитников Русской земли Библия с древних времен была Книгой в единственном, уникальном значении, истоком миропонимания и нравственных убеждений (см. об этом в первой части). Стремление поэта постичь внутренний мир народа неизменно вело его в сферу верований и убеждений, где истины и заветы Священного Писания без вражды сопрягались с представлениями славянского язычества о единстве человеческой жизни с жизнью природы. В этом отношении, как и во многих иных, Некрасов несомненный наследник традиций русской поэзии, идущих от "Слова о полку Игореве". У каждого, конечно, в памяти, стихи о "Зеленом шуме" (1862 — 1863) — о весне, спасающей человека от "думы лютой", от мести — вроде бы и законной, но жестокой, чуждой и христианскому милосердию и языческому жизнелюбию:

Слабеет дума лютая,
Нож валится из рук.
И все мне песня слышится
Одна — в лесу, в лугу:
"Люби, покуда любится,
Терпи, покуда терпится,
Прощай, пока прощается,
И — Бог тебе судья!"

Некрасов чутко улавливал и пристально изучал эту особенность народной психологии. В стихотворении "Знахарка" (1860) он рисует колдунью, которой побаивается вся деревня: уж больно точны ее мрачные прорицания —

Что ни предскажет кому: разоренье,
Убыль в семействе, глядишь — исполненье!

А в стихотворении "Деревенские новости", написанном в том же году, рассказывает об одном из своих приятелей — Влаसे, который перед своей кончиной в более чем столетнем возрасте завещал поэту самое драгоценное свое достояние — Святцы, православный календарь праздников и дней поми-

новения святых. В поэме "Мороз, Красный нос" (1863 — 1864) сцены, изображающие болезнь, лечение, смерть Прокла, открывают читателю столь понятное в несчастье метание крестьянской семьи от надежды на ворожбу к вере в силу "иконы явленной". Да и вся печальная и светлая гармония этой поэмы опирается на единство фольклорной стихии, уходящей корнями в языческие времена, и поэзии обыденного, величавого крестьянского подвижничества, сродного евангельской морали. Это единство отличает все лучшее, написанное Некрасовым.

Печ. по кн.: Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем в 15-ти тт. Тт. 2,3.

Рыцарь на час. Написано, судя по разысканиям исследователей в 1862 г., впервые опубликовано в 1863 г. По духу представляет собою покаяние, порожденное сознанием своей ответственности за бедствия родной земли, муками суровой совести. Может быть соотнесено, в порядке художественной и нравственной преемственности, со стихотворением Пушкина "Воспоминание" ("Когда для смертного умолкнет шумный день...", 1828).

Стр. 237

"...На могиле далекой, Где лежит моя бедная мать..." Елена Андреевна Некрасова похоронена (1841) в ограде церкви Петра и Павла в селе Абакумцево Ярославской губернии, недалеко от села Грешнево, где Некрасов провел детство.

Стр. 239

"Весь свой век под грозою сердитою Простояла ты..." — согласно семейному преданию, мать поэта часто страдала от деспотизма мужа и его привычки к разгулу; возможно, что это послужило и одной из причин ее преждевременной смерти.

Пророк. Написано, по наиболее вероятным предположениям, в 1874 г., впервые опубликовано (без последней строфы) в 1877 г. По содержанию и стилю наследует традицию русской поэзии, сложившуюся в творчестве Ломоносова, Державина, Крылова, Пушкина, Лермонтова, порожденную восприятием Библии как опоры в борьбе против несправедливой власти "земных богов", против угнетения и рабства, как истока свободолюбия, пророческой смелости и самой поэзии. По мемуарным свидетельствам, посвящено Н. Г. Чернышевскому и рисует его судьбу, но очевидно из текста, что перед нами одновременно и широкое обобщение, соединяющее представления о Спасителе, христианских подвижниках, защитниках обездоленных во все времена и деятелях русского освободительного движения.

Кому на Руси жить хорошо. Фрагмент из главы "Пир на весь мир". Поэма создавалась с середины 60-х гг. до конца жизни; глава "Пир на весь мир" была подготовлена автором к печати в 1876 г. Печаталась поэма, начиная с 1866 г., испытала цензурные гонения, глава "Пир на весь мир", уже набранная для ноябрьского номера журнала "Отечественные записки", была по требованию цензуры вырезана и первая ее публикация появилась в этом журнале лишь в 1881 г., но в неполном и частично искаженном виде.

Стр. 242

"Ушицы ложкой собственной, С рукой благословляющей..." Странник по обычаю старообрядцев, пользовался только собственной посудой; на черенке ложки вырезалось изображение благословляющей руки с двуперстным знаменем.

Стр. 243

"Доскажет быть афонскую..." Гора Афон на северо-востоке Греции считается центром православного монашества; там находится Пантелеймоновский монастырь, основанный выходцами из Руси в 1080 г. В 1821 г. афонские монахи приняли участие в восстании греков против турецкого владычества; большинство их было утоплено в море или вырезано.

И. С. Тургенев. Живые мощи

Этот рассказ Ивана Сергеевича Тургенева (1818 — 1883) из книги — "Записки охотника". Она в основном сложилась в 1847 — 1851 г., впервые вышла отдельным изданием в 1852 г., но была дополнена в 1874 г. тремя рассказами, среди которых были и "Живые мощи". Таким образом, рассказ относится к завершающему периоду деятельности писателя. Автор сам указал — эпитафией из тючевского стихотворения "Эти бедные селенья..." (см. выше), что речь идет о коренных чертах русского народного характера.

Происшествие, которое послужило материалом для рассказа, было подлинным. Но Тургенев, обозначив реальные приметы, например, назвав имение своей матери — Спасское, удерживает читателя от восприятия рассказа лишь как описания необычной судьбы. Недаром рассказчика писатель назвал Петром Петровичем: так зовут героя другого рассказа в "Записках охотника", близкого автору, но не его двойника. И все повествование, многими нитями связанное с Библией, с историей России и мира, бесконечно далеко выходит за пределы единичного, глубоко трогающего душу события. Образ Лукерьи — умницы, красавицы, певуны, плясуньи, разносторонне одаренного человека (это чувствуется и в ее поэтичных рассказах), обреченного на неподвижность, на смерть заживо, напоминает многие литературные образы, хотя бы Лизы Калитиной из тургеневского "Дворянского гнезда" (1859), героини тючевского стихотворения "Русской женщине", некрасовской поэмы "Мороз, Красный нос". Перед нами трагедия, но озаренная светом душевного подвига. Лукерья в ее снах видится, что она своими муками "снимает тягу" с покойных родителей, что Христос зовет ее за собой; ее восхищает подвиг святой девственницы, избавившей от гибели родной народ собственной страшной смертью...

Печ. по кн.: Собр. соч. в 12-ти тт. Тт. 1, 8.

Стр. 252

"Прочту Отче наш, Богородицу, акафист всем скорбящим..." — молитвы в честь Иисуса Христа, Богородицы и христианских святых.

Стр. 257

Петровки — пост перед Петровым днем, днем памяти апостолов Петра и Павла по христианскому календарю (29 июня ст. ст.).

Стр. 258

Агаряне — согласно Ветхому Завету, потомки Измаила, сына Агари, служанки, затем жены Авраама, они же измаилтяне или арабы (Первая книга Паралипоменон, V, 10; Псалтирь, LXXXII, 7).

Иоанна (Жанна) д'Арк (около 1413 — 1431) — народная героиня Франции,

возглавившая в ходе Столетней войны (1337 — 1452) борьбу французского народа против английских захватчиков; была предана бургундцами, продана англичанам, обвинена в ереси и сожжена на костре в Руане.

Стихотворения в прозе или *Senilia* (лат. — старческое). Создавались в 1877 — 1882 гг. Впервые опубликованы в 1882. Связь их с Библией хотя и не отмечалась комментаторами, тем не менее, очевидна: прежде всего, это притчи (небольшие, афористичные по форме, аллегорические рассказы с нравоучительной идеей), которые одним из несомненных источников имеют ветхозаветные притчи царя Соломона и евангельские притчи Иисуса Христа; кроме того, прозаические стихотворения Тургенева своим плавным ритмом, членением на смысло-ритмические звенья восходят к библейскому стилю.

Два богача. Написано в 1878 г. Тематически продолжает "Записки охотника" — размышления о началах добра и справедливости, живущих в крестьянской душе. Сопоставление богача и бедного типично для многих книг Библии; идея праведной бедности свойственна Евангелию в целом (см., например, Евангелие от Луки, I, 53; XII, 21; XIV, 12; XVI, 21). В послании апостола Иакова говорится: "Послушайте, братья мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?"

Христос. Написано в 1878 г. Мысль о Христе, лицо которого похоже на все человеческие лица, проходящая через стихотворение, может быть соотнесена с выражением "Сын человеческий", которое в Ветхом Завете очень часто применяется как наименование человека вообще, а в Новом Завете относится к Иисусу Христу (в форме "Сын Человеческий"); знаменателен для раздумий над стихотворением также эпизод из Евангелия от Луки (XXIV, 13 — 31): ученики Иисуса, шедшие в Эммаус, не узнали воскресшего Учителя, когда Он появился среди них.

Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы

Из последнего романа Федора Михайловича Достоевского (1821 — 1881) в нашу антологию включена одна глава — "Великий инквизитор". Но это глава, которая обрела как бы самостоятельное существование. Автор впервые выступил с ее публичным чтением еще до того, как было закончено печатание романа (1879 — 1880). Затем она не только публиковалась множество раз, но породила целую библиотеку статей и книг, ей посвященных.

Причины этого необычного явления достаточно ясны. Хотя глава представляет собою органическую часть романа, и раздумья над нею требуют знания всего произведения, вместе с тем она представляет собою средоточие важнейших вопросов творчества Достоевского, в определенном смысле завершение сквозной линии его романного повествования, идущей от "Записок из Мертвого дома" (1860 — 1862), через романы "Униженные и оскорбленные" (1861), "Преступление и наказание" (1866), "Идиот" (1868), "Бесы" (1871 — 1872), "Подросток" (1875). Это линия художественных исканий и экспериментов, связанных с решением самой насущной и жгучей задачи человечества — задачи устройства жизни, достойной человека, свободной от насилия, от вражды и взаимоуничтожения, т.е., в конечном счете, отвечающей евангельским заветам.

В каждом романе выдвигаются и исследуются разные стороны задачи, но линия не прерывается, подобно тому, как не прерывается она по сей день и в истории человеческой культуры. В "Братьях Карамазовых" Достоевский прямо сталкивает заветы Христа и Его Самого как высочайшее выражение евангельских заветов с персонифицированным выражением — в образе великого инквизитора — типичных проектов и решений главной общечеловеческой задачи, объединенных идеей благотельного насилия над людским стадом. (См. об этом в первой части данной книги).

Печ. по кн.: Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 15-ти тт. Т. 9.

Стр. 262

Великий инквизитор — глава инквизиции (от лат. *inquisitio* — розыск), т.е. трибунала католической церкви, созданного в XIII в. для борьбы с ересью. Следствие и суд велись с помощью доносчиков, лжесвидетелей, пыток; в качестве наказания применялись публичное отречение, уничтожение рукописей и книг, штраф, порка, тюрьма, сожжение на костре. В огромном числе жертв инквизиции были Джордано Бруно, Галилео Галилей. (В России для борьбы с инакомыслящими применялись аналогичные методы, особенно в XVII в. по отношению к раскольникам (см. в этой книге материалы об Аввакуме Петрове). Католическая инквизиция в постепенно смягчаемых, но фанатических формах просуществовала до 1965 г.

"Я уж про Данта не говорю." Имеется в виду "Божественная комедия" Данте Алигьери (1265 — 1321).

Стр. 263

"...пророк Его написал:" *Се гряди скоро*". Откровение Иоанна Богослова, III, 11; XXII, 7, 12, 20.

"О дне же сем и часе не знает...". Евангелие от Марка, XIII, 32.

Стр. 264

"Верь тому, что сердце скажет..." — цитата из стихотворения Ф. Шиллера "Желание" (1801) в переводе В. А. Жуковского.

"Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь". — Речь идет о Реформации (от лат. *reformatio* — преобразование, исправление) — широком социальном и религиозном движении в Западной Европе, направленном против власти католической церкви и вызвавшем появление протестантизма — одного из трех, наряду с католичеством и православием, главных направлений христианства.

"Огромная звезда, "подобная светильнику" (то есть церкви) "пала на источники вод...". Пересказ двух стихов из Откровения Иоанна Богослова (VIII, 10, 11).

"Удрученный ношей крестной..." — из стихотворения Тютчева "Эти бедные селенья..." (см. раздел о Тютчеве в этой книге).

Стр. 265

"В великоленных автодафе..." — несколько измененные строки из поэмы А. И. Полежаева "Кориолан" (1834). Автодафе (аутодафе, от испанск. *auto da fe* — акт веры) — торжественная церемония при исполнении приговора инквизиции.

Стр. 266

Осанна — (др. евр. — Помоги нам!) — молитвенное восклицание в

иудейском и христианском богослужении.

"...уста его тихо и еще раз произносят: "Талифа куми" — "и восста девица". Имеется в виду евангельский рассказ о воскрешении дочери начальника синагоги Иаира (Евангелие от Марка, V, 22 — 43).

Стр. 267

"Воздух" лавром и лимоном пахнет". Чуть измененная цитата из пушкинского "Каменного гостя" (1830).

Стр. 269

"...Все, дескать, передано тобою папе..." Папа римский — глава католической церкви и правитель государства-города Ватикан; верующими католиками считается наместником Иисуса Христа на земле, непогрешимым в делах веры.

Стр. 270

"Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия..." Имеется в виду диавол, искушавший Христа в пустыне (Евангелие от Матфея, IV, 1 — 11).

Стр. 272

"Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!" — Великий инквизитор цитирует Откровение Иоанна Богослова, где говорится о звере, который явится людям перед концом света (XIII, 4).

"...человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные". — Имеются в виду социалистические теории.

Вавилонская башня — согласно Ветхому Завету (Первая Книга Моисеева, XI, 1 — 9) строилась потомками Ноя в долине Сеннарской, но Бог смешал языки строителей, они перестали понимать друг друга и рассеялись по всей земле.

Стр. 278

"Великий пророк твой в видении и иносказании говорит..." Имеется в виду Откровение Иоанна Богослова (VII, 1 — 8).

Стр. 279

"Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что Ты с негодованием отверг..." Имеется в виду создание теократического государства, приобретение Папой Римским и католической церковью светской власти.

"Меч кесаря" — символ государства, управляющего с помощью насилия. Кесарь — древнерусская форма обозначения имени и титула римских императоров (от имени Цезаря); слово это стало символом светской власти вообще.

Стр. 280

Тимур (Тимурленг, Тамерлан, 1336 — 1405) — азиатский полководец, предпринимавший опустошительные походы на Персию, владения Золотой орды, Индию, Малую Азию.

Чингис-хан (Темучин, 1155 — 1227) — создатель Монгольской империи, завоеватель Северного Китая, Афганистана, Персии, войска которого доходили до кавказа и Южной Руси.

Антропофагия (с греч.) — людоедство, каннибализм.

"...приползет к нам зверь и будет лизать ноги наши." Пересказ некоторых стихов из Откровения Иоанна Богослова (XIII, XVII).

"И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу..." Используется образ из Откровения Иоанна Богослова (XVII, 3 — 5), символ блуда и мерзости земной.

Стр. 283

"Говорят и пророчествуют, что Ты придеши и вновь победишь..." В

Евангелии говорится о новом пришествии Спасителя на Землю, о Страшном суде, о торжестве света и добра.

"Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере..." Снова образ из Откровения Иоанна Богослова (XVII, XVIII, XIX) — символ очищения человечества от нравственной грязи.

"Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями..." Великий инквизитор тем самым причисляет себя к ученикам Спасителя, но, по его дальнейшим словам, "очнулся и не захотел служить безумию". Акриды (греч. *akrides*) — род съедобной саранчи.

Стр. 286

"...даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны..." Масоны или франк-масоны (франц. *franc maçon* — вольный каменщик) — члены тайных организаций, возникших в Европе XVIII в., вероятно, на основе средневековых строительных товариществ, объединенные моральными правилами, близкими к евангельским, стремлением к духовному совершенствованию людей, разнообразными ритуалами. Католическая церковь преследовала масонство.

Стр. 287

"темные стогны града" — неточная цитата из пушкинского стихотворения "Воспоминание" (1828). У Пушкина "немые стогны града".

Стр. 289

Pater Seraphicus — этим именем католики называют Франциска Асизского (около 1181 — 1226), итальянского проповедника, основателя ордена францисканцев. (Иван Карамазов так именует наставника и друга Алеши Карамазова старца Зосиму).

Н. С. Лесков. Однодум

В обширном, сложном и все еще мало знакомом современному читателю литературном наследии Николая Семеновича Лескова (1831 — 1895) центральное место занимают произведения, посвященные изображению положительных характеров, в которых писатель видит сокровенную сущность русской духовности, опору народной нравственности.

Это романы (начиная с "Соборян", 1872), повести (начиная с "Запечатленного ангела", 1873) рассказы (начиная с "На краю света", 1875), легенды (цикл "Легендарные характеры", 1886 — 1892). Отличаясь резким своеобразием, эти произведения в единстве создают обширнейшую "портретную галерею" праведников, живущих, осознанно или стихийно, по заветам Евангелия.

Лесков ценил древнерусские жития, полагал, что для современной ему литературы они могут служить примером простой, величавой красоты. Но его праведники лишены житийной идеализации. Как говорит Л. Аннинский, подготовивший последнее издание сочинений Лескова (1993), "он — вполне по Евангелию — ищет святого в грешнике" и создает нечто непомерное, немислимое и вполне живое: "Они все у Лескова причудливы. Блажные и блаженные. Все скручены реальностью, деформированы ею. Все — подчеркнуто своеобразны, самобытны, ни на кого не похожи. Они выламываются из "мира", хотя, казалось бы, служат миру — миру людей, смеющихся над ними. Их кротость

становится вызовом, демонстрацией, скандальным укором. Бунтом.

Собственно, странность их только в одном: они хотят немедленного воплощения праведных заветов. Без малейшей поправки на обстоятельства или слабость людскую."

Таков и герой публикуемого здесь рассказа "Однодум" (1879). Александр Афанасьевич Рыжов. Он, что называется, "списан" с реального лица — квартального надзирателя из города Солигалича Костромской губернии, жившего в первой половине XIX в., наделен подлинным именем и многими биографическими чертами своего прототипа. Но перед нами рассказ, а не документальный очерк, герой потому и достоверен, что сотворен автором и входит в семью именно лесковских праведников, отчасти похожих на своего творца: его упрямая праведность вызывала недоумение и негодование "слева" и "справа", верность писателя заветам Евангелия и стремление послужить утверждению Царства Божия на земле объявлялась юродством, а его глубочайшие прозрения в будущее России немногими были услышаны.

Печ. по кн.: Н. С. Лесков. Собр. соч. в 6-ти тт. М., 1993. Т. 6.

Стр. 290

"...приказного рода..." — рода государственных служащих, чиновников.

Словарь князя Гагарина — Всеобщий географический и статистический словарь С. П. Гагарина (М., 1843).

Стр. 291

Мелкотравчатый — определение материи, покрытой мелкими узорами в виде трав; в переносном шутивно-уничжительном смысле — незначительный. "в беде не сробеет, спасет..." — цитата из поэмы Н. А. Некрасова "Мороз, Красный нос."

Скоромные и постные дни — те, по которым, в соответствии с церковным календарем, разрешалась или не разрешалась мясная и молочная пища.

Ночва — деревянное корытце или лоток.

Стр. 292

"Он был досуж и трудолюбив." — Досуж (досужий) — умелый, искусный, мастер на все руки (в отличие от "досужного" — праздного). См. словарь В. И. Даля.

Поминание — список усопших для поминания их в молитвах.

Стр. 293

Челобитчик — жалобщик.

Чухлома — город Костромской губ., южнее Солигалича.

"...поэт вроде Борнса или Кольцова". — Бернс Роберт (1759 -1796) — английский поэт; Кольцов Алексей Васильевич (1809 — 1842) — русский поэт.

Стр. 294

Исаия — ветхозаветный пророк.

Катехизис — начальное, основное учение о христианской вере.

Стр. 295

"Позна Вол стяжавшего..." — неточная цитата из Книги пророка Исаии (I, 2 — 24).

Иезекииль — ветхозаветный пророк.

Стр. 296

Исправник — начальник полиции в уезде.

Стр. 297

Теократическая полноправность — в значении (иронич.) "принимаемая за божественную".

Подрукавная знать — мелкое дворянство.

Квартальный — полицейский надзиратель в квартале.

Стр. 298

"...и даже сами вольтерьянцы против этого не восставали" — намек на реплику Городничего из "Ревизора" (действие I, явл. I): "Это уже так самим Богом устроено, и волтерьянцы напрасно против этого говорят", "...по касающего моего не захватывай." — Примерный смысл предупреждения, сделанного городничим: не бери того, что по праву принадлежит мне (имелись в виду приношения, взятки).

Стр. 299

Будошник — низший чин полиции, дежуривший в будке.

Стр. 300

"...нет ли в бескасательном Рыжове..." — не берущем даров.

Стр. 301

Похристосоваться — поцеловаться троекратно, поздравляя друг друга с праздником Пасхи.

Тик — плотная льняная или хлопчатобумажная ткань, обычно полосатая.

Бешмет — стеганый полукафтан.

Нанка — грубая хлопчатобумажная ткань (по происхождению из Нанкина в Китае).

Нагельный тулуп — не покрытый тканью.

Притч — служители церковного прихода.

Сорокоуст — заупокойная молитва в течение 40 дней после смерти.

Стр. 302

"Это новост мasonicкая..." — имеется в виду учение масонов — членов тайных обществ, члены которых подозревались в вольнодумстве.

Великий пост — сорокадневный пост перед Пасхой.

"...прислать на дух..." — прислать на исповедь.

Стр. 303

"...слова Павла..." — апостола Павла.

Кийждо — каждый.

Говеть — поститься.

Стр. 307

Откупщик — делец, откупивший у государства право на получение доходов или сбор налогов.

Епитимия — покаяние, налагаемое церковью.

Стр. 310

Зерцало — эмблема правосудия: треугольная призма с начертанными на ее гранях указами Петра Великого и с двуглавым орлом на вершине.

Апофеоза (апофеоз, от греч. apotheosis — обожествление) — увенчание чьей-то деятельности, заключительная торжественная сцена в спектакле.

"...хитон обличает мя, яко несть брачен..." — одежда доказывает, что я чужой на брачном пиру.

Стр. 311

Репрезентовать (франц. representer) — представить.

Стр. 312

"...утомительной и скучной отметки регистров..." — имеется в виду проверка регистрации входящих и исходящих бумаг в канцеляриях.

Декольте (с франц.) — глубокий вырез платья.

Стр. 313

Маншкурт (с франц.) — короткий рукав.

"...при оффенбаховском настроении..." — имеется в виду настроение, навеваемое опереттами Жака Оффенбаха (1819 — 1880) — французского композитора.

Стр. 317

Ординария — в значении "обычная мера".

Заседатель — выборный член уездного суда.

Стр. 319

Столпник — подвижник, который длительным стоянием на столпе (башне, колонне) или пребыванием в башенной келье отделяет себя от мира.

Стр. 320

Апликовая чаша — чаша с украшениями (аплике).

Стр. 321

Грядый — грядущий (идуший).

Алтарь (от лат. altus — высокий) — возвышенная восточная часть христианского храма, где духовенство совершает священнодействия.

Амвон — возвышенный выступ в храме, с которого произносят проповеди, читают Священное Писание и на котором совершают таинства.

Солея — возвышение перед иконостасом; там располагаются певцы и чтецы, участвующие в богослужении.

Антик (франц. antique) — древность, памятник древнего искусства, редкость.

Стр. 322

"...чиновников коронных..." — государственных.

Голова — выборный руководитель местного самоуправления.

Стр. 325

Обертот бумаги — переплетенная рукопись (обертот — переплет).

Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ, 1694 — 1778) — французский писатель и философ.

Иоанн Златоуст (около 350 — 407) — византийский проповедник, замечательный оратор, обличавший богатство и роскошь высшего духовенства, безнравственность императорской семьи, патриарх Константинопольский (398 — 404), низложенный и сосланный за свои проповеди.

"...при огорчительном сватовстве Павла Петровича." — Вероятно, имеется в виду смерть первой жены будущего императора (скончалась в 1776 г.).

Попенный сбор — налог на каждое срубленное дерево, ставший тяжким бременем для крестьянства.

Стр. 328

"...православие его, по общим замечаниям, было "сомнительно" — подобное обвинение не однажды высказывалось церковными властями в адрес самого Лескова.

"...и да будет он помянут в самом начале розыска о "трех праведниках." — Рассказ "Однодум" был опубликован в 1879 г. как первый из цикла

"Русские антики", имевшего подзаголовок "Три праведника"; в 1880 г. рассказ был переиздан в сборнике "Три праведника и один Шерамур".

Л. Н. Толстой. Божеское и человеческое

Этот рассказ Льва Николаевича Толстого (1828 — 1910) относится к последнему периоду его творчества (написан в 1903 — 1904 гг.) и примыкает к таким его шедеврам, как "После бала" (1903) и "Хаджи Мурат" (1897 — 1904). Все толстовские произведения этого времени связаны общими нравственными и художественными проблемами, в центре которых одна вечная проблема — об ответственности человека за все, что совершается в мире, и его внутреннем долге, долге совести — участвовать в преодолении зла и утверждении добра. Свет евангельских заветов ясен в этих произведениях, как и во всем творчестве писателя. Вне всякого сомнения, отношение Толстого-художника к Библии не охватывается полностью его произведениями начала XX в.; деятельности писателя как проповедника созданного им вероучения мы и вовсе здесь не касаемся: это задача особого исследования, далеко уводящая за рамки художественной литературы. И тем не менее, "Божеское и человеческое" уже самим названием и всем повествованием вводит читателя в круг тех простых мыслей, которые составляют суть более чем полувекowych раздумий Толстого над Библией. Так и герой рассказа Светлогуб заново и словно впервые открывал для себя Библию, вчитываясь и постепенно понимая, что здесь "сказано что-то особенно важное. И важное, и простое, трогательное — такое, чего он никогда не слышал прежде, но что как будто было давно знакомо ему."

К тем же простым и словно бы отроду присущим каждому мыслям приходят многие герои Толстого, точнее все, духовно ему близкие.

Вспомним Константина Левина ("Анна Каренина", 1874), который долго и мучительно пытался понять смысл своего и вообще человеческого, мгновенного перед вечностью, пребывания на земле. Он нашел ответ, когда вместе с мужиками занимался самым простым и естественным, извечным человеческим делом — тем делом земледельца, сеятеля, которое изображено и в первой притче Христа (см. материал о стихотворении Пушкина "Свободы сеятель пустынный..."). Ответ прозвучал в самых обыденных, походя сказанных словах Федора — подавальщика у молотильной машины. "Федор говорит, что Кириллов, дворник, живет для брюха. Это понятно и разумно. Мы все, как разумные существа, не можем иначе жить, как для брюха. И вдруг тот же Федор говорит, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для Бога, и я с намека понимаю его! И я и миллионы людей, живших века тому назад и живущих теперь, мужики, нищие духом и мудрецы, думавшие и писавшие об этом, своим неясным языком говорящие то же, мы все согласны в этом одном: для чего надо жить и что хорошо."

Печ. по кн.: Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 14-ти тт.

Стр. 329

Анатолий Светлогуб — имя толстовского героя напоминает о его прототипе: Дмитрий Андреевич Лизогуб (1849 — 1879) — революционер-народник,

один из организаторов общества "Земля и воля", по воспоминаниям знавших его, — человек редкостной душевной чистоты.

Стр. 338

"Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное..." Светлогуб читает по Евангелию от Матфея Нагорную проповедь Христа (V, VI, VII).

Стр. 347

"Неправедный пусть еще делает неправду..." Откровение Иоанна Богослова, XXII, 11.

Стр. 353

"В руки Твои предаю дух мой", — вспомнил Светлогуб слова Евангелия. — Евангелие от Луки, XXIII, 46.

Стр. 360

Аускультация (лат. auscultatio) — выслушивание.

Стр. 364

Каутский Карл (1854 — 1938) — один из лидеров и теоретиков немецкой и европейской социал-демократии, автор книг марксистского характера.

Стр. 365

"Первое марта — трата сил! — Закричал Меженецкий." Имеется в виду убийство императора Александра II народолюбцами 1 марта 1881 г.

Стр. 366

"Про агнца... про агнца открываю... тот юнош с агнцем был." Старик-раскольник употребляет слово "агнец" (ягненок) в переносном значении — так, как оно часто употребляется в Библии (Книга пророка Исаии, LIII, 7; Евангелие от Иоанна, I, 29 — 36; Откровение Иоанна Богослова, XIV) — в значении Мессия, Иисус Христос.

Стр. 368

Халтурин Степан Николаевич (1857 — 1882), Кибальчич Николай Иванович (1853 — 1881), Перовская Софья Львовна (1853 — 1881) — революционеры-народолюбцы, участники покушений на императора, повешенные по приговору царского суда.

А. П. Чехов. Студент

Этот рассказ Антона Павловича Чехова (1860 — 1904), написанный и опубликованный в 1894 г., судя по многим свидетельствам, имел для автора особо важное значение. И. А. Бунин вспоминал, что Чехов ссылался на "Студента", отвергая расхожее мнение критиков о его творчестве: "Какой я "хмурый человек", какая я "холодная кровь", как называют меня критики? Какой я "пессимист"? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ "Студент"... По поводу этого рассказа наиболее чуткие и глубокие критики в России и за рубежом говорили, что в нем проявились главные черты чеховского таланта и одновременно — признаки нового подъема или поворота на творческом пути писателя, появления обобщающих идей в его мирозерцании. Рассказ рассматривается в первой части книги.

Печ. по кн.: А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти тт. М., 1983-1988. Т. 8.

Стр. 372

"...по случаю страстной пятницы дома ничего не варили..." Страстная пятница — пятница последней недели Великого поста перед Пасхой. В пятницу, по свидетельству Евангелия, Иисус Христос был распят римскими солдатами по приговору Синедриона, утвержденному Понтием Пилатом. Согласно исследованиям историков христианства, это произошло 7 апреля 30 г.

Стр. 373

"...служившая когда-то у господ в мамках...". Мамка — кормилица.

"Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу..." Иван Великопольский рассказывает историю последней ночи Иисуса в основном по Евангелию от Луки (XXII), включая некоторые детали из Евангелий от Матфея и от Иоанна.

XX в.



«Атеист»
Скульптор С. Коненков
1905 г.

А. БЛОК

Апокалипсис

И Дух и Невеста говорят: прииди.

Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.

Все дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа.
Предо мной — к бездорожью
Золотая межа.

Заповеданных лилий
Прохожу я леса.
Полны ангельских крылий
Надо мной небеса.

Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои.

22 февраля 1902

* * *

Имеющий невесту есть жених;
а друг жениха, стоящий и
внимающий ему, радостью
радуется, слыша голос жениха.

От Иоанна, III, 29

Я, отрок, зажигаю свечи,
Огонь кадильный берегу.
Она без мысли и без речи
На том смеется берегу.

Люблю вечернее моление
У белой церкви над рекой,
Передзакатное селенье
И сумрак мутно-голубой.

Покорный ласковому взгляду,
Любуюсь тайной красоты,
И за церковную ограду
Бросаю белые цветы.

Падет туманная завеса.
Жених сойдет из алтаря.
И от вершин зубчатых леса
Забрезжит брачная заря.

7 июля 1902

На поле Куликовом.

Фрагмент

* * *

В ночь, когда Мамай залег с ордою
 Степи и мосты,
В темном поле были мы с Тобою, —
 Разве знала Ты?

Перед Доном темным и зловещим,
 Средь ночных полей,
Слышал я Твой голос сердцем вещим
 В криках лебедей.

С полуночи тучей возносилась
 Княжеская рать,
И вдали, вдали о стремя билась,
 Голосила мать.

И, чертя круги, ночные птицы
 Реяли вдали.
А над Русью тихие зарницы
 Князя стерегли.

Орлий клекот над татарским станом
 Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
 Что княжна фатой.

И с туманом над Непрядвой спящей,
 Прямо на меня
Ты сошла в одежде, свет струящей,
 Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече.

И когда, наутро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

14 июня 1908

* * *

З. Н. Гиппиус

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.

И пусть над нашим смертным ложем
Взовется с криком воронье, —
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят царствие Твое!

8 сентября 1914

М. ГОРЬКИЙ

Мать. Часть вторая

VIII

Наташа поступила учительницей в уезд на ткацкую фабрику, и Ниловна начала доставлять к ней запрещенные книжки, прокламации, газеты.

Это стало ее делом. По несколько раз в месяц переодетая монахиней, торговкой кружевами и ручным полотном, зажиточной мещанкой или богомолкой-странницей, она разъезжала и расхаживала по губернии с мешком за спиной или чемоданом в руках. В вагонах и на пароходах, в гостиницах и на постоялых дворах — она везде держалась просто и спокойно, первая вступала в беседы с незнакомыми людьми, безбоязненно привлекая к себе внимание своей ласковой, общительной речью и уверенными манерами бывалого, много видевшего человека.

Ей нравилось говорить с людьми, нравилось слушать их рассказы о жизни, жалобы и недоумения. Сердце ее обливалось радостью каждый раз, когда она замечала в человеке острое недовольство — то недовольство, которое, протестуя против ударов судьбы, напряженно ищет ответов на вопросы, уже сложившиеся в уме. Перед нею все шире и пестрее разворачивалась картина жизни человеческой — суетливой, тревожной жизни в борьбе за сытость. Всюду было ясно видно грубо голое, нагло откровенное стремление обмануть человека, обобрать его, выжать из него побольше пользы для себя, испытать его крови. И она видела, что всего было много на земле, а народ нуждался и жил вокруг неисчислимых богатств — полуголодный. В городах

стоят храмы, наполненные золотом и серебром, ненужным Богу, а на папертях храмов дрожат нищие, тщетно ожидая, когда им сунут в руку маленькую медную монету. Она и раньше видала это — богатые церкви и шитые золотом ризы попов, лачуги нищего народа и его позорные лохмотья, но раньше это казалось ей естественным, а теперь — непримиримым и оскорбляющим бедных людей, которым — она знала — церковь ближе и нужнее, чем богатым.

По картинкам, изображавшим Христа, по рассказам о Нем она знала, что Он, друг бедных, одевался просто, а в церквах, куда беднота приходила к Нему за утешением, она видала Его закованным в наглое золото и шелк, брезгливо шелестевший при виде нищеты. И невольно вспоминались ей слова Рыбина:

"И Богом обманули нас!"

Незаметно для нее она стала меньше молиться, но все больше думала о Христе и о людях, которые, не упоминая имени Его, как будто даже не зная о нем, жили — казалось ей — по Его заветам и, подобно ему считая землю царством бедных, желали разделить поровну между людьми все богатства земли. Думала она об этом много, и росла в душе ее эта дума, углубляясь и обнимая все видимое ею, все, что слышала она, росла, принимая светлое лицо молитвы, ровным огнем обливавшей темный мир, всю жизнь и всех людей. И ей казалось, что сам Христос, которого она всегда любила смутной любовью — сложным чувством, где страх был тесно связан с надеждой и умиление с печалью, — Христос теперь стал ближе к ней и был уже иным — выше и виднее для нее, радостнее и светлее лицом, — точно Он в самом деле воскресал для жизни, омытый и оживленный горячею кровью, которую люди щедро пролили во имя Его, целомудренно не возглашая имени несчастного Друга людей. Из своих путешествий она всегда возвращалась к Николаю радостно возбуж-

денная тем, что видела и слышала дорогой, бодрая и довольная исполненной работой.

— Хорошо это ездить везде и много видеть! — говорила она Николаю по вечерам. — Понимаешь, как строится жизнь. Оттирают, откидывают народ на край ее, обиженный, копошится он там, но — хочет не хочет, а думает — за что? Почему меня прочь отгоняют? Почему всего много, а голоден я? И сколько ума везде, а я глуп и темен? И где он, Бог милостивый, пред которым нет богатого и бедного, но все — дети, дорогие сердцу? Возмущается понемногу народ жизнью своей, — чувствует, что неправда задушит его, коли он не подумает о себе!

И все чаще она ощущала требовательное желание своим языком говорить людям о несправедливостях жизни; иногда — ей трудно было подавить это желание...

Николай, заставляя ее над картинами, улыбаясь, рассказывал что-нибудь всегда чудесное. Пораженная дерзостью задач человека, она недоверчиво спрашивала Николая:

— Да разве это можно?

И он настойчиво, с непоколебимой уверенностью в правде своих пророчеств, глядя через очки в лицо ее добрыми глазами, говорил ей сказки о будущем.

— Желаниям человека нет меры, его сила — неисчерпаема! Но мир все-таки еще очень медленно богатеет духом, потому что теперь каждый, желая освободить себя от зависимости, принужден копить не знания, а деньги. А когда люди убьют жадность, когда они освободят себя из плена подневольного труда...

Она редко понимала смысл его слов, но чувство спокойной веры, оживлявшее их, становилось все более доступно для нее.

— На земле слишком мало свободных людей, вот ее несчастье! — говорил он.

Это было понятно — она знала освободившихся от жадности и злобы, она понимала, что если бы таких людей было больше, — темное и страшное лицо жизни стало бы приветливее и проще, более добрым и светлым.

— Человек невольно должен быть жестоким! — с грустью говорил Николай.

Она утвердительно кивала головой, вспоминая речи хохла.

< . . . >

XXIX

На улице морозный воздух сухо и крепко обнял тело, проник в горло, защекотал в носу и на секунду сжал дыхание в груди. Остановясь, мать оглянулась: близко от нее на углу стоял извозчик в мохнатой шапке, далеко — шел какой-то человек, согнувшись, втягивая голову в плечи, а впереди него вприпрыжку бежал солдат, потирая уши.

"Должно быть, в лавочку послали солдатика!" — подумала она и пошла, с удовольствием слушая, как молодо и звучно скрипит снег под ее ногами. На вокзал она пришла рано, еще не был готов ее поезд, но в грязном, закопченном дымом зале третьего класса уже собралось много народа — холод согнал сюда путейских рабочих, пришли погреться извозчики и какие-то плохо одетые, бездомные люди. Были пассажиры, несколько крестьян, толстый купец в енотовой шубе, священник с дочерью, рябой девицей, человек пять солдат, суетливые мещане. Люди курили, разговаривали, пили чай, водку. У буфета кто-то раскатисто смеялся, над головами носились волны дыма. Визжала, открываясь, дверь, дрожали и звенели стекла, когда ее с шумом захлопывали. Запах табаку и соленой рыбы

густо бил в нос.

Мать села у входа на виду и ждала. Когда открывалась дверь — на нее налетало облако холодного воздуха, это было приятно ей, и она глубоко вдыхала его полною грудью. Входили люди с узлами в руках — тяжело одетые, они неуклюже застревали в двери, ругались и, бросив на пол или на лавку вещи, стряхивали сухой иней с воротников пальто и с рукавов, отирали его с бороды, усов, крякали.

Вошел молодой человек с желтым чемоданом в руках, быстро оглянулся и пошел прямо к матери.

— В Москву? — негромко спросил он.

— Да, к Тане.

— Вот!

Он поставил чемодан около нее на лавку, быстро вынул папиросу, закурил ее и, приподняв шапку, молча ушел к другой двери. Мать погладила рукой холодную кожу чемодана, облокотилась на него и, довольная, начала рассматривать публику. Через минуту она встала и пошла на другую скамью ближе к выходу на перрон. Чемодан она легко держала в руке, он был невелик, и шла, подняв голову, рассматривая лица, мелькавшие перед нею.

Какой-то молодой человек в коротком пальто с поднятым воротником столкнулся с нею и молча отскочил, взмахнув рукою к голове. Ей показалось что-то знакомое в нем, она оглянулась и увидала, что он одним светлым глазом смотрит на нее из-за воротника. Этот внимательный глаз уколол ее, рука, в которой она держала чемодан, вздрогнула, и ноша вдруг отяжелела.

"Я где-то видела его!" — подумала она, заминая этой думой неприятное и смутное ощущение в груди, не давая другим словам определить чувство, тихонько, но властно сжимавшее сердце холодом. А оно росло и поднималось к горлу, наполняло рот сухой горечью, ей

нестерпимо захотелось обернуться, взглянуть еще раз. Она сделала это — человек, осторожно переступая с ноги на ногу, стоял на том же месте, казалось, он чего-то хочет и не решается. Правая рука у него была засунута между пуговиц пальто, другую он держал в кармане, от этого правое плечо казалось выше левого.

Она, не торопясь, подошла к лавке и села, осторожно, медленно, точно боясь что-то порвать в себе. Память, разбуженная острым предчувствием беды, дважды поставила перед нею этого человека — один раз в поле, за городом после побега Рыбина, другой — в суде. Там рядом с ним стоял тот околоточный, которому она ложно указала путь Рыбина. Ее знали, за нею следили — это было ясно.

"Попалась?" — спросила она себя. А в следующий миг ответила, вздрагивая:

"Может быть, еще нет..."

И тут же, сделав над собой усилие, строго сказала:

"Попалась!"

Оглядывалась и ничего не видела, а мысли одна за другою искрами вспыхивали и гасли в ее мозгу.

"Оставить чемодан, — уйти?"

Но более ярко мелькнула другая искра:

"Сыновнее слово бросить? В такие руки..."

Она прижала к себе чемодан.

"А — с ним уйти?... Бежать..."

Эти мысли казались ей чужими, точно их кто-то извне насильно втыкал в нее. Они ее жгли, ожоги их больно кололи мозг, хлестали по сердцу, как огненные нити. И, возбуждая боль, обижали женщину, отгоняя ее прочь от самой себя, от Павла и всего, что уже срослось с ее сердцем. Она чувствовала, что ее настойчиво сжимает враждебная сила, давит ей на плечи и грудь, унижает ее, погружая в мертвый страх; на висках у нее сильно забились жилы, и корням волос стало тепло.

Тогда, одним большим и резким усилием сердца, которое как бы встряхнуло ее всю, она погасила все эти хитрые, маленькие, слабые огоньки, повелительно сказав себе:

"Стыдись!"

Ей сразу стало лучше, и она совсем окрепла, добавив:
"Не позорь сына-то! Никто не боится".

Глаза ее встретили чей-то унылый, робкий взгляд. Потом в памяти мелькнуло лицо Рыбина. Несколько секунд колебаний точно уплотнили все в ней. Сердце забилося спокойнее.

"Что ж теперь будет?" — думала она, наблюдая.

Шпион подозвал сторожа и что-то шептал ему, указывая на нее глазами. Сторож оглядывал его и пятился назад. Подошел другой сторож, прислушался, нахмурил брови. Он был старик, крупный, седой, небритый. Вот он кивнул шпиону головой и пошел к лавке, где сидела мать, а шпион быстро исчез куда-то.

Старик шагал не торопясь, внимательно щупая сердитыми глазами лицо ее. Она подвинулась в глубь скамьи.

"Только бы не били..."

Он остановился рядом с нею, помолчал и негромко, сурово спросил:

— Что глядишь?

— Ничего.

— То-то, воровка! Старая уж, а — туда же!

Ей показалось, что его слова ударили ее по лицу, раз и два; злые, хриплые, они делали больно, как будто рвали щеки, выхлестывали глаза...

— Я? Я не воровка, врешь! — крикнула она всею грудью, и все перед нею закружилось в вихре ее возмущения, опьяняя сердце горечью обиды. Она рванула чемодан, и он открылся.

— Гляди! Глядите все! — кричала она, вставая, взмахнув над головою пачкой выхваченных проклама-

ций. Сквозь шум в ушах она слышала восклицания сбегавшихся людей и видела — бежали быстро, все, отовсюду.

— Что такое?

— Вот, сыщик...

— Что это?

— Украла, говорит...

— Почтенная такая, — ай-ай-ай!

— Я не воровка! — говорила мать полным голосом, немного успокаиваясь при виде людей, тесно напиравших на нее со всех сторон./

— Вчера судили политических, там был мой сын — Власов, он сказал речь — вот она! Я везу ее людям, чтобы они читали, думали о правде...

Кто-то осторожно потянул бумаги из ее рук, она взмахнула ими в воздухе и бросила в толпу.

— За это тоже не похвалят! — воскликнул чей-то пугливый голос.

Мать видела, что бумаги хватают, прячут за пазухи, в карманы, — это снова крепко поставило ее на ноги. Спокойнее и сильнее, вся напрягаясь и чувствуя, как в ней растет разбуженная гордость, разгорается подавленная радость, она говорила, выхватывая из чемодана пачки бумаги и разбрасывая их налево и направо в чьи-то быстрые, жадные руки.

— За что судили сына моего и всех, кто с ним, — вы знаете? Я вам скажу, а вы поверьте сердцу матери, седым волосам ее — вчера людей за то судили, что они несут вам всем правду! Вчера узнала я, что правда эта... никто не может спорить с нею, никто!

Толпа замолчала и росла, становясь все более плотной, слитно окружая женщину кольцом живого тела.

— Бедность, голод и болезни — вот что дает людям их работа. Все против нас — мы издыхаем всю нашу жизнь день за днем в работе, всегда в грязи, в обмане, а нашими трудами тешатся и объедаются другие и

держат нас, как собак на цепи, в невежестве — мы ничего не знаем, и в страхе — мы всего боимся! Ночь — наша жизнь, темная ночь!

— Так! — глухо раздалось в ответ.

— Заткни глотку ей!

Сзади толпы мать заметила шпиона и двух жандармов, и она торопилась отдать последние пачки, но когда рука ее опустилась в чемодан, там встретила чью-то чужую руку.

— Берите, берите! — сказала она, наклоняясь.

— Разойдись! — кричали жандармы, расталкивая людей. Они уступали толчкам неохотно, зажимали жандармов своею массою, мешали им, быть может, не желая этого. Их властно привлекала седая женщина с большими честными глазами на добром лице, и, разобщенные жизнью, оторванные друг от друга, теперь они сливались в нечто целое, согретое огнем слова, которого, быть может, давно искали и жаждали многие сердца, обиженные несправедливостями жизни. Ближайшие стояли молча, мать видела их жадно-внимательные глаза и чувствовала на своем лице теплое дыхание.

— Уходи, старуха!

— Сейчас возьмут!..

— Ах, дерзкая!

— Прочь! Разойдись! — все ближе раздавались крики жандармов. Люди перед матерью покачивались на ногах, хватаясь друг за друга.

Ей казалось, что все готовы понять ее, поверить ей, и она хотела, торопилась сказать людям все, что знала, все мысли, силу которых чувствовала. Они легко всплывали из глубины ее сердца и слагались в песню, но она с обидою чувствовала, что ей не хватает голоса, хрипит он, вздрагивает, рвется.

— Слово сына моего — чистое слово рабочего человека, неподкупной души! Узнавайте неподкупное по

смелости!

Чьи-то юные глаза смотрели в лицо ее с восторгом и со страхом.

Ее толкнули в грудь, она покачнулась и села на лавку. Над головами людей мелькали руки жандармов, они хватали за воротники и плечи, отшвыривали в сторону тела, срывали шапки, далеко отбрасывая их. Все почернело, закачалось в глазах матери, но, преодолевая свою усталость, она еще кричала остатками голоса:

— Собирай, народ, силы свои во единую силу!

Жандарм большой красной рукой схватил ее за ворот, встряхнул.

— Молчи!

Она ударилась затылком о стену, сердце оделось на секунду едким дымом страха и снова ярко вспыхнуло, рассеяв дым.

— Иди! — сказал жандарм.

— Не бойтесь ничего! Нет муки горше той, которой вы всю жизнь дышите...

— Молчать, говорю! — Жандарм взял под руку ее, дернул. Другой схватил другую руку, и, крупно шагая, они повели мать.

— ...которая каждый день гложет сердце, сушит грудь!

Шпион забежал впереди, грозя ей в лицо кулаком, визгливо крикнул:

— Молчать, ты, сволочь!

Глаза у нее расширились, сверкнули, задрожала челюсть. Упираясь ногами в скользкий камень пола, она крикнула:

— Душу воскресшую — не убьют!

— Собака!

Шпион ударил ее в лицо коротким взмахом руки.

— Так ее, стерву старую! — раздался злорадный крик.

Что-то черное и красное на миг ослепило глаза матери, соленый вкус крови наполнил рот.

Дробный яркий взрыв криков оживил ее.

— Не смей бить!

— Ребята!

— Ах ты, мерзавец!

— Дай ему!

— Не зальют кровью разума!

Ее толкали в шею, спину, били по плечам, по голове, все закружилось, завертелось темным вихрем в криках, вое, свисте, что-то густое, оглушающее лезло в уши, набивалось в горло, душило, пол проваливался под ее ногами, колебался, ноги гнулись, тело вздрагивало в ожогах боли, отяжелело и качалось, бессильное. Но глаза ее не угасали и видели много других глаз — они горели знакомым ей смелым, острым огнем — родным ее сердцу огнем.

Ее толкали в двери.

Она вырвала руку, схватилась за косяк.

— Морями крови не угасят правды...

Ударили по руке.

— Только злобы накопите, безумные! На вас она падет!

Жандарм схватил ее за горло и стал душить.

Она хрипела...

— Несчастные...

Кто-то ответил ей громким рыданием.

А. И. КУПРИН

Суламифь. Глава IV

Виноградник был у царя в Ваал-Гамоне, на южном склоне Ватн-Эль-Хава, к западу от капища Молоха; туда любил царь уединяться в часы великих размыш-

лений. Гранатовые деревья, оливы и дикие яблони, попеременно с кедрами и кипарисами, окаймляли его с трех сторон по горе, с четвертой же был он огражден от дороги высокой каменной стеной. И другие виноградники, лежавшие вокруг, также принадлежали Соломону; он отдавал их внаем сторожам за тысячу серебрянных каждый.

Только с рассветом окончился во дворце роскошный пир, который давал царь Израильский в честь послов царя Ассирийского, славного Тиглат-Пилеазара. Несмотря на утомление, Соломон не мог заснуть этим утром. Ни вино, ни сикера не отуманили крепких ассирийских голов и не развязали их хитрых языков. Но пронизательный ум мудрого царя уже опередил их планы и уже вязал в свою очередь тонкую политическую сеть, которую он оплетает этих важных людей с надменными глазами и с льстивой речью. Соломон сумеет сохранить необходимую приязнь с повелителем Ассирии и в то же время, ради вечной дружбы с Хирамом Тирским, спасет от разграбления его царство, которое своими неисчислимыми богатствами, скрытыми в подвалах под узкими улицами с тесными домами, давно уже привлекает жадные взоры восточных владык.

И вот на заре приказал Соломон отнести себя на гору Ватн-Эль-Хав, оставил носилки далеко на дороге и теперь один сидит на простой деревянной скамье, наверху виноградника, под сенью деревьев, еще затаивших в своих ветвях росистую прохладу ночи. Простой белый плащ надет на царя, скрепленный на правом плече и на левом боку двумя египетскими аграфами из зеленого золота, в форме свернувшихся крокодилов — символ бога Себаха. Руки царя лежат неподвижно на коленях, а глаза, затененные глубокой мыслью, не мигая, устремлены на восток, в сторону Мертвого моря — туда, где из-за круглой вершины Аназе восходит

в пламени зари солнце.

Утренний ветер дует с востока и разносит аромат цветущего винограда — тонкий аромат резеды и вареного вина. Темные кипарисы важно раскачивают тонкими верхушками и льют свое смолистое дыхание. Торопливо переговариваются серебряно-зеленые листья олив.

Но вот Соломон встает и прислушивается. Милый женский голос, ясный и чистый, как это росистое утро, поет где-то невдалеке, за деревьями. Простой и нежный мотив льется, льется себе, как звонкий ручей в горах, повторяя все те же пять-шесть нот. И его незатейливая изящная прелесть вызывает тихую улыбку умиления в глазах царя.

Все ближе слышится голос. Вот он уже здесь, рядом, за раскидистыми кедрами, за темной зеленью можжевельника. Тогда царь осторожно раздвигает руками ветви, тихо пробирается между колючими кустами и выходит на открытое место.

Перед ним, за низкой стеной, грубо сложенной из больших желтых камней, расстилается вверх виноградник. Девушка в легком голубом платье ходит между рядами лоз, нагибается над чем-то внизу и опять выпрямляется и поет. Рыжие волосы ее горят на солнце.

День дохнул прохладою,
Убегают ночные тени.
Возвращайся скорее, мой милый,
Будь легок, как серна,
Как молодой олень среди горных ущелий...

Так поет она, подвязывая виноградные лозы, и медленно спускается вниз, ближе и ближе к каменной стене, за которой стоит царь. Она одна — никто не видит и не слышит ее; запах цветущего винограда, радостная свежесть утра и горячая кровь в сердце

опьяняют ее, и вот слова наивной песенки мгновенно рождаются у нее на устах и уносятся ветром, забытые навсегда:

Ловите нам лис и лисенят,
Они портят наши виноградники,
А виноградники наши в цвете.

Так она доходит до самой стены и, не замечая царя, поворачивает назад и идет, легко взбираясь в гору, вдоль соседнего ряда лоз. Теперь песня звучит глуше:

Беги, возлюбленный мой,
Будь подобен серне
Или молодому оленю
На горах бальзамических.

Но вдруг она замолкает и так пригибается к земле, что ее не видно за виноградником.

Тогда Соломон произносит голосом, ласкающим ухо:
— Девушка, покажи мне лицо твое, дай еще услышать твой голос.

Она быстро выпрямляется и оборачивается лицом к царю. Сильный ветер срывается в эту секунду и треплет на ней легкое платье и вдруг плотно облепляет его вокруг ее тела и между ног. И царь на мгновение, пока она не становится спиною к ветру, видит всю ее под одеждой, как нагую, высокую и стройную, в сильном расцвете тринадцати лет; видит ее маленькие, круглые, крепкие груди и возвышения сосцов, от которых материя лучами расходится врозь, и круглый, как чаша, девический живот, и глубокую линию, которая разделяет ее ноги снизу доверху и там расходится надвое, к выпуклым бедрам.

— Потому что голос твой сладок и лицо твое приятно! — говорит Соломон.

Она подходит ближе и смотрит на царя с трепетом и

с восхищением. Невыразимо прекрасно ее смуглое и яркое лицо. Тяжелые, густые темно-рыжие волосы, в которые она воткнула два цветка алого мака, упругими бесчисленными кудрями покрывают ее плечи и разбегаются по спине и пламенеют, пронзенные лучами солнца, как золотой пурпур. Самодельное ожерелье из каких-то красных сухих ягод трогательно и невинно обвивает в два раза ее темную, высокую, тонкую шею.

— Я не заметила тебя! — говорит она нежно, и голос ее звучит, как пение флейты. — Откуда ты пришел?

— Ты так хорошо пела, девушка!

Она стыдливо опускает глаза и сама краснеет, но под ее длинными ресницами и в углах губ дрожит тайная улыбка.

— Ты пела о своем милом. Он легок, как серна, как молодой горный олень. Ведь он очень красив, твой милый, девушка, не правда ли?

Она смеется так звонко и музыкально, точно серебряный град падает на золотое блюдо.

— У меня нет милого. Это только песня. У меня еще не было милого...

Они молчат с минуту и глубоко, без улыбки смотрят друг на друга... Птицы громко перекликаются среди деревьев. Грудь девушки часто колеблется под ветхим полотном.

— Я не верю тебе, красавица. Ты так прекрасна...

— Ты смеешься надо мною. Посмотри, какая я черная...

Она поднимает кверху маленькие темные руки, и широкие рукава легко скользят вниз, к плечам, обнажая ее локти, у которых такой тонкий и круглый девический рисунок.

И она говорит жалобно:

— Братья мои рассердились на меня и поставили меня стеречь виноградник, и вот — погляди, как опалило меня солнце!

— О нет, солнце сделало тебя еще красивее, прекраснейшая из женщин! Вот ты засмеялась, и зубы твои — как белые двойни-ягнята, вышедшие из купальни, и ни на одном из них нет порока. Щеки твои — точно половинки граната под кудрями твоими. Губы твои алы — наслаждение смотреть на них. А волосы твои... Знаешь, на что похожи твои волосы? Видала ли ты, как с Галаада вечером спускается овечье стадо? Оно покрывает всю гору, с вершины до подножья, и от света зари и от пыли кажется таким же красным и таким же волнистым, как твои кудри. Глаза твои глубоки, как два озера Есевонских у ворот Батраббима. О, как ты красива! Шея твоя пряма и стройна, как башня Давидова!..

— Как башня Давидова! — повторяет она в упоении.

— Да, да, прекраснейшая из женщин. Тысяча щитов висит на башне Давида, и все это щиты побежденных военачальников. Вот и мой щит вешаю я на твою башню...

— О, говори, говори еще...

— А когда ты обернулась назад, на мой зов, и подул ветер, то я увидел под одеждой оба сосца твои и подумал: вот две маленькие серны, которые пасутся между лилиями. Стан твой был похож на пальму и груди твои на грозди виноградные.

Девушка слабо вскрикивает, закрывает лицо ладонями, а грудь локтями и так краснеет, что даже уши и шея становятся у нее пурпуровыми.

— И бедра твои я увидел. Они стройны, как драгоценная ваза — изделие искусного художника. Отними же твои руки, девушка. Покажи мне лицо твое.

Она покорно опускает руки вниз. Густое золотое сияние льется из глаз Соломона и очаровывает ее, и кружит ей голову, и сладкой, теплой дрожью струится по коже ее тела.

— Скажи мне, кто ты? — говорит она медленно, с

недоумением. — Я никогда не видела подобного тебе.

— Я пастух, моя красавица. Я пасу чудесные стада белых ягнят на горах, где зеленая трава пестреет нарциссами. Не придешь ли ты ко мне, на мое пастбище?

Но она тихо качает головою:

— Неужели ты думаешь, что я поверю этому? Лицо твое не огрубело от ветра и не обожжено солнцем, и руки твои белы. На тебе дорогой хитон, и одна застежка на нем стоит годовой платы, которую братья мои вносят за наш виноградник Адонираму, царскому сборщику. Ты пришел оттуда, из-за стены... Ты, верно, один из людей, близких к царю? Мне кажется, что я видела тебя однажды в день великого празднества, мне даже помнится — я бежала за твоей колесницей.

— Ты угадала, девушка. От тебя трудно скрыться. И правда, зачем тебе быть скиталицей около стад пастушеских? Да, я один из царской свиты. Я главный повар царя. И ты видела меня, когда я ехал в колеснице Аминодавой в день праздника пасхи. Но зачем ты стоишь далеко от меня? Подойди ближе, сестра моя! Сядь вот здесь на камне стены и Расскажи мне что-нибудь о себе. Скажи мне твое имя?

— Суламифь, — говорит она.

— За что же, Суламифь, рассердились на тебя твои братья?

— Мне стыдно говорить об этом. Они выручили деньги от продажи вина и послали меня в город купить хлеба и козьего сыра. А я...

— А ты потеряла деньги?

— Нет, хуже...

Она низко склоняет голову и шепчет:

— Кроме хлеба и сыра, я купила еще немножко, совсем немножко, розового масла у египтян в старом городе.

— И ты скрыла это от братьев?

— Да...

И она произносит еле слышно:

— Розовое масло так хорошо пахнет!

Царь ласково гладит ее маленькую жесткую руку.

— Тебе, верно, скучно одной в винограднике?

— Нет. Я работаю, пою... В полдень мне приносят поесть, а вечером меня сменяет один из братьев. Иногда я рою корни мандрагоры, похожие на маленьких человечков... У нас их покупают халдейские купцы. Говорят, они делают из них сонный напиток... Скажи, правда ли, что ягоды мандрагоры помогают в любви?

— Нет, Суламифь, в любви помогает только любовь. Скажи, у тебя есть отец или мать?

— Одна мать. Отец умер два года тому назад. Братья — все старше меня — они от первого брака, а от второго только я и сестра.

— Твоя сестра так же красива, как и ты?

— Она еще мала. Ей только девять лет.

Царь смеется, тихо обнимает Суламифь, привлекает ее к себе и говорит ей на ухо:

— Девять лет... Значит, у нее еще нет такой груди, как у тебя? Такой гордой, такой горячей груди!

Она молчит, горя от стыда и счастья. Глаза ее светятся и меркнут, они туманятся блаженной улыбкой. Царь слышит в своей руке бурное биение ее сердца.

— Теплота твоей одежды благоухает лучше, чем мирра, лучше, чем нард, — говорит он, жарко касаясь губами ее уха. — И когда ты дышишь, я слышу запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Сестра моя, возлюбленная моя, ты пленила сердце мое одним взглядом твоих очей, одним ожерельем на твоей шее.

— О, не гляди на меня! — просит Суламифь. — Глаза твои волнуют меня.

Но она сама изгибает назад спину и кладет голову на грудь Соломона. Губы ее рдеют над блестящими

зубами, веки дрожат от мучительного желания. Соломон приникает жадно устами к ее зовущему рту. Он чувствует пламень ее губ, и скользкость ее зубов, и сладкую влажность ее языка, и весь горит таким нестерпимым желанием, какого он еще никогда не знал в жизни.

Так проходит минута и две.

— Что ты делаешь со мною! — слабо говорит Суламифь, закрывая глаза. — Что ты делаешь со мной!

Но Соломон страстно шепчет около самого ее рта:

— Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим... О, иди скорее ко мне. Здесь за стеной темно и прохладно. Никто не увидит нас. Здесь мягкая зелень под кедрами.

— Нет, нет, оставь меня. Я не хочу, не могу.

— Суламифь... ты хочешь, ты хочешь... Сестра моя, возлюбленная моя, иди ко мне!

Чьи-то шаги раздаются внизу по дороге, у стены царского виноградника, но Соломон удерживает за руку испуганную девушку.

— Скажи мне скорее, где ты живешь? Сегодня ночью я приду к тебе, — говорит он быстро.

— Нет, нет, нет... Я не скажу тебе это. Пусти меня. Я не скажу тебе.

— Я не пущу тебя, Суламифь, пока ты не скажешь... Я хочу тебя!

— Хорошо, я скажу... Но сначала обещай мне не приходить этой ночью... Также не приходи и в следующую ночь... и в следующую за той... Царь мой! Заклинаю тебя сернами и полевыми ланями, не тревожь свою возлюбленную, пока она не захочет!

— Да, я обещаю тебе это... Где же твой дом, Суламифь?

— Если по пути в город ты перейдешь через Кедрон по мосту выше Силоама, ты увидишь наш дом около источника. Там нет других домов.

— А где же там твоё окно, Суламифь?

— Зачем тебе это знать, милый? О, не гляди же на меня так. Взгляд твой околдовывает меня... Не целуй меня... Не целуй меня... Милый! Целуй меня ещё...

— Где же твоё окно, единственная моя?

— Окно на южной стороне. Ах, я не должна тебе этого говорить... Маленькое, высокое окно с решёткой.

— Решётка отворяется изнутри?

— Нет, это глухое окно. Но за углом есть дверь. Она прямо ведёт в комнату, где я сплю с сестрою. Но ведь ты обещал мне!.. Сестра моя спит чутко. О, как ты прекрасен, мой возлюбленный. Ты ведь обещал, не правда ли?

Соломон тихо гладит её волосы и щеки.

— Я приду к тебе этой ночью, — говорит он настойчиво. — В полночь приду. Это так будет, так будет. Я хочу этого.

— Милый!

— Нет. Ты будешь ждать меня. Только не бойся и верь мне. Я не причиню тебе горя. Я дам тебе такую радость, рядом с которой все на земле ничтожно. Теперь прощай. Я слышу, что за мной идут.

— Прощай, возлюбленный мой... О нет, не уходи ещё. Скажи мне твоё имя, я не знаю его.

Он на мгновение, точно нерешительно, опускает ресницы, но тотчас же поднимает их.

— У меня одно имя с царем. Меня зовут Соломон. Прощай. Я люблю тебя.

Анафема

Отец дьякон, полно тебе свечи жечь, не напасешься, — сказала дьяконица. — Время вставать.

Эта маленькая, худенькая, желтолицая женщина, бывшая епархиалка, обращалась со своим мужем чрез-

вычайно строго. Когда она была еще в институте, там господствовало мнение, что мужчины — подлецы, обманщики и тираны, с которыми надо быть жестокими. Но протодьякон вовсе не казался тираном. Он совершенно искренно боялся своей немного истеричной, немного припадочной дьяконицы. Детей у них не было, дьяконица оказалась бесплодной. В дьяконе же было около девяти с половиной пудов чистого веса, грудная клетка — точно корпус автомобиля, страшный голос, и при этом та нежная снисходительность, которая свойственна только чрезвычайно сильным людям по отношению к слабым.

Приходилось протодьякону очень долго устраивать голос. Это противное, мучительно-длительное занятие, конечно, знакомо всем, кому случалось петь публично: смазывать горло, полоскать его раствором борной кислоты, дышать паром. Еще лежа в постели, отец Олимпий пробовал голос.

— Ииа... кмм!.. Ииа-а-а!.. Аллилуия, аллилуия..
Обаче... кмм!.. Мам-ма... Мам-ма...

"Не звучит голос", — подумал он. — Вла-ды-ко-бла-го-сло-ви-и-и... Км...

Совершенно так же, как знаменитые певцы, он был подвержен мнительности. Известно, что актеры бледнеют и крестятся перед выходом на сцену. Отец Олимпий, вступая в храм, крестился по чину и по обычаю. Но нередко, творя крестное знамение, он также бледнел от волнения и думал: "Ах, не сорваться бы!" Однако только один он во всем городе, а может быть, и во всей России, мог бы заставить в тоне ре-фис-ля звучать старинный, темный, с золотом и мозаичными травками старинный собор. Он один умел наполнить своим мощным звериным голосом все закоулки старого здания и заставить дрожать и звенеть в тон хрустальные стеклашки на паникадилах.

Жеманная, кислая дьяконица принесла ему жидко-

го чаю с лимоном и как всегда по воскресеньям, — стакан водки. Олимпий еще раз попробовал голос:

— Ми... ми... фа... Ми-ро-но-сицы... Эй, мать, — крикнул он в другую комнату дьяконице, — дай мне ре на фисгармонии.

Жена протянула длинную, унылую ноту.

— Км... км... колеснице-гонителю фараону... Нет, конечно, спал голос. Да и черт подсунул мне этого писателя, как его?

Отец Олимпий был большой любитель чтения, читал много и без разбора, а фамилиями авторов редко интересовался. Семинарское образование, основанное главным образом на зубрежке, на читке "устава", на необходимых цитатах из отцов церкви, развило его память до необыкновенных размеров. Для того чтобы заучить наизусть целую страницу из таких сложных писателей-казуистов, как Блаженный Августин, Тертуллиан, Ориген Адамантовый, Василий Великий и Иоанн Златоуст, ему достаточно было только пробежать глазами строки, чтобы их запомнить наизусть. Книгами снабжал его студент из Вифанской академии Смирнов, и как раз перед этой ночью он принес ему прелестную повесть о том, как на Кавказе жили солдаты, казаки, чеченцы, как убивали друг друга, пили вино, женились и охотились на зверей.

Это чтение взбудоражило стихийную протодьяконскую душу. Три раза подряд прочитал он повесть и часто во время чтения плакал и смеялся от восторга, сжимал кулаки и ворочался с боку на бок своим огромным телом. Конечно, лучше бы ему было быть охотником, воином, рыболовом, пахарем, а вовсе не духовным лицом.

В собор он всегда приходил немного позднее, чем полагалось. Так же, как знаменитый баритон в театр. Проходя в южные двери алтаря, он в последний раз,

откашливаясь, попробовал голос: "Км, км... звучит в ре, — подумал он. — А этот подлец непременно задаст в до диэз. Все равно, я переведу хор на свой тон".

В нем проснулась настоящая гордость любимца публики, баловня всего города, на которого даже мальчишки собирались глазеть с таким же благоговением, с каким они смотрят в раскрытую пасть медного геликона в военном оркестре на бульваре.

Вошел архиепископ и торжественно был водворен на свое место. Митра у него была надета немного на левый бок. Два иподиакона стояли по бокам с кадилами и в такт бряцали ими. Священство в светлых праздничных ризах окружало архиерейское место. Два священника вынесли из алтаря иконы Спасителя и Богородицы и положили их на аналой.

Собор был на южный образец, и в нем, наподобие католических церквей, была устроена дубовая резная кафедра, прилепившаяся в углу храма, с винтовым ходом вверх.

Медленно, ощупывая ступеньку за ступенькой и бережно трогая руками дубовые поручни — он всегда боялся, как бы не сломать чего-нибудь по нечаянности, — поднялся протодьякон на кафедру, откашлялся, потянул из носа в рот, плюнул через барьер;

— Благослови, преосвященнейший владыко.

"Нет, подлец-регент, — подумал он, — ты при владыке не посмеешь перевести мне тон". С удовольствием он в эту минуту почувствовал, что его голос звучит гораздо лучше, чем обыкновенно, переходит свободно из тона в тон и сотрясает мягкими глубокими вздохами весь воздух собора.

Шел чин православия в первую неделю великого поста. Пока отцу Олимпию было немного работы. Чтец бубнил неразборчиво псалмы, гнусавил дьякон из академиков — будущий профессор гомилетики.

Протодьякон время от времени рычал: "Вонмем"...

"Господу помолимся". Стоял он на своем возвышении, огромный, в золотом парчовом негнувшемся стихаре, с черными с сединой волосами, похожими на львиную гриву, и время от времени постоянно пробовал голос. Церковь была вся набита какими-то слезливыми старушонками и седобородыми толстопузыми старичками, похожими не то на рыбных торговцев, не то на ростовщиков.

"Странно, — вдруг подумал Олимпий, — отчего это у всех женщин лица, если глядеть в профиль, похожи либо на рыбью морду, либо на куриную голову... Вот и дьяконица тоже..."

Однако профессиональная привычка заставляла его все время следить за службой по требнику XVII столетия. Псаломщик кончил молитву: "Всевышний Боже, Владыко и Создателю всея твари". Наконец — аминь.

Началось утверждение православия.

"Кто Бог велий, яко Бог наш; ты еси Бог, творяй чудеса един".

Распев был крюковой, не особенно ясный. Вообще последование в неделю православия и чин анафемствования можно видоизменять как угодно. Уже того достаточно, что Святая церковь знает анафематствования, написанные по специальным поводам: проклятие Ивашке Мазепе, Стеньке Разину, еретикам: Арию, иконоборцам, протопопу Аввакуму и так далее, и так далее.

Но с протодьяконом случилось сегодня что-то странное, чего с ним еще никогда не бывало. Правда, его немного развезло от той водки, которую ему утром поднесла жена.

Почему-то его мысли никак не могли отвязаться от той повести, которую он читал в прошедшую ночь, и постоянно в его уме, с необычайной яркостью, всплывали простые, прелестные и бесконечно увлекательные образы. Но, безошибочно следуя привычке, он уже

окончил символ веры, сказал "аминь" и по древнему ключевому распеvu возгласил: "Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди".

Архиепископ был большой формалист, педант и капризник. Он никогда не позволял пропускать ни одного текста ни из канона преbлаженного отца и пастыря Андрея Критского, ни из чина погребения, ни из других служб. И отец Олимпий, равнодушно сотрясая своим львиным ревом собор и заставляя тонким дребезжающим звуком звенеть стеклышки на люстрах, проклял, анафемствовал и отлучил от церкви: иконоборцев, всех древних еретиков, начиная с Ария, всех держащихся учения Итала, немонаха Нила, Константина-Булгариса и Ириника, Варлаама и Акиндина, Геронтия и Исаака Аргира, проклял обидящих церковь, магометан, богомоллов, жидовствующих, проклял хулящих праздник Благовещения, корчемников, обижающих вдов и сирот, русских раскольников, бунтовщиков и изменников: Гришку Отрепьева, Тимошку Акундинова, Стеньку Разина, Ивашку Мазепу, Емельку Пугачева, а также всех принимающих учение, противное православной вере.

Потом пошли проклятия категорические: не приемлющим благодати искупления, отめщущим все таинства святые, отвергающим соборы святых отцов и их предания.

"Помышляющим, яко православнии государи возводятся на престолы не по особливому от них Божию благоволению, и при помазании дарования Святаго Духа к прохождению великого сего звания в них не изливаются, и тако дерзающим противу их на бунт и измену. Ругающим и хулящим святые иконы". И на каждый его возглас хор уныло отвечал ему нежными, стонущими, ангельскими голосами: "Анафема".

Давно в толпе истерически всхлипывали женщины.

Протодьякон подходил уже к концу, как к нему на кафедру взобрался псаломщик с краткой запиской от отца протоиерея: по распоряжению преосвященнейшего владыки анафемствовать боярина Льва Толстого. "См. требник, гл. л." — было приписано в записке.

От долгого чтения у отца Олимпия уже болело горло. Однако он откашлялся и опять начал: "Благослови, преосвященнейший владыко". Скорее он не расслышал, а угадал слабое бормотание старенького архиерея:

"Протодиаконство твое да благословит Господь Бог наш, анафемствовать богохульника и отступника от веры Христовой, блядословно отвергающего святыне тайны Господни боярина Льва Толстого. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа".

И вдруг Олимпий почувствовал, что волосы у него на голове топорщатся в разные стороны и стали тяжелыми и жесткими, точно из стальной проволоки. И в тот же момент с необыкновенной ясностью всплыли прекрасные слова вчерашней повести:

"...Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

— Дура, дура! — заговорил он. — Куда летишь? Дура! Дура! — Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.

— Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много, — приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. — Сама себя губишь, а я тебя жалею".

"Боже мой, кого это я проклинаяю? — думал в ужасе дьякон. — Неужели его? Ведь я же всю ночь проплакал от радости, от умиления, от нежности".

Но, покорный тысячелетней привычке, он ронял ужасные, потрясающие слова проклятия, и они падали в толпу, точно удары огромного медного колокола...

...Бывший поп Никита и чернцы Сергей, Савватий

да Савватий же, Дорофей и Гавриил... святые церковные таинства хулят, а покаяться и покориться истинной церкви не хотят; все за такое богопротивное дело да будут прокляты...

Он подождал немного, пока в воздухе не устоится его голос. Теперь он был красен и весь в поту. По обоим сторонам горла у него вздулись артерии, каждая в палец толщиной.

"А то раз сидел на воде, смотрю — зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой-то черт: взял за ножки да об угол! Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить".

...Хотя искусити дух Господень по Симону волхву и по Ананию и Сапфире, яко пес возвращаяся на свои блевотины, да будут дни его мали и зли, и молитва его да будет в грех, и диавол да станет в десных его и да изыдет осужден, в роде едином да погибнет имя его, и да истребится от земли память его... И да приидет проклятельство и анафема не точию сугубо и трегубо, но многогубо... Да будут ему каиново трясение, гиезиево прокажение, иудино удушение, Симона волхва погибель, ариево тресновение, Анании и Сапфири внезапное издохновение... да будет отлучен и анафемствован и по смерти не прощен, и тело его да не рассыплется и земля его да не примет, и да будет часть его в геенне вечной и мучен будет день и ночь...

Но четкая память все дальше и дальше подсказывала ему прекрасные слова:

"Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше живет и в нашем живет. Куда придет, там и

дом. Что Бог дал, то и лопают. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что се одна фальшь".

Протодьякон вдруг остановился и с треском захлопнул древний требник. Там дальше шли еще более ужасные слова проклятий, те слова, которые, наряду с чином исповедания мирских человек, мог выдумать только узкий ум иноков первых веков христианства.

Лицо его стало синим, почти черным, пальцы судорожно схватились за перила кафедры. На один момент ему казалось, что он упадет в обморок. Но он справился. И напрягая всю мощь своего громадного голоса, он начал торжественно:

— Земной нашей радости, украшению и цвету жизни, воистину Христа соратнику и слуге, боярину Льву...

Он замолчал на секунду. А в переполненной народом церкви в это время не раздавалось ни кашля, ни шепота, ни шарканья ног. Был тот ужасный момент тишины, когда многосотенная толпа молчит, подчиняясь одной воле, охваченная одним чувством. И вот глаза протодьякона наполнились слезами и сразу покраснели, и лицо его на момент сделалось столь прекрасным, как прекрасным может быть человеческое лицо в экстазе вдохновения. Он еще раз откашлянулся, попробовал мысленно переход в два полутона и вдруг, наполнив своим сверхъестественным голосом громадный собор, заревел:

— ...Многая ле-е-е-та-а-а-а.

И вместо того чтобы по обряду анафемствования опустить свечу вниз, он высоко поднял ее вверх.

Теперь напрасно регент шипел на своих мальчугов, колотил их камертоном по головам, зажимал им рты. Радостно, точно серебряные звуки архангельских труб, они кричали на всю церковь: "Многая, многая, многая лета".

На кафедру к отцу Олимпию уже взобрались: отец настоятель, отец благочинный, консисторский чиновник, псаломщик и встревоженная дьяконица.

— Оставьте меня... Оставьте в покое, — сказал отец Олимпий гневным, свистящим шепотом и пренебрежительно отстранил рукой отца благочинного. — Я сорвал себе голос, но это во славу Божию и его... Отойдите!

Он снял в алтаре свои парчовые одежды, с умилением поцеловал, прощаясь, орарь, перекрестился на за престольный образ и сошел в храм. Он шел, возвышаясь целой головой над народом, большой, величественный и печальный, и люди невольно, со странной боязнью, расступались перед ним, образуя широкую дорогу. Точно каменный, прошел он мимо архиерейского места, даже не покосившись туда взглядом, и вышел на паперть.

Только в церковном сквере догнала его маленькая дьяконица и, плача и дергая его за рукав рясы, залепетала:

— Что же ты это наделал, дурак окаянный!.. Нагло тался с утра водки, нечестивый пьяница. Ведь еще счастье будет, если тебя только в монастырь упекут нужники чистить, бугай ты черкасский. Сколько мне порогов обить теперь из-за тебя, ирода, придется. Убоище глупое! Заел мою жизнь!

— Все равно, — прошипел, глядя в землю, дьякон. — Пойду кирпичи грузить, в стрелочники пойду, в катали, в дворники, а сан все равно сложу с себя. Завтра же. Не хочу больше. Не желаю. Душа не терпит. Верую истинно, по символу веры, во Христа и в апостольскую церковь. Но злобы не приемлю. "Все бог сделал на радость человеку", — вдруг произнес он знакомые прекрасные слова.

— Дурак ты! Верзило! — закричала дьяконица. — Скажите — на радость! Я тебя в сумасшедший дом засажу, порадуешься там!.. Я пойду к губернатору, до

самого царя дойду... Допился до белой горячки, бревно дубовое.

Тогда отец Олимпий остановился, повернулся к ней и, расширяя большие воловьи гневные глаза, произнес тяжело и сурово:

— Ну?!

И дьяконица впервые робко замолкла, отошла от мужа, закрыла лицо носовым платком и заплакала.

А он пошел дальше, необъятно огромный, черный и величественный, как монумент.

И. А. БУНИН

Лирник Родион

Сказывал и пел этот "Стих о сироте" молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствовавший куда Бог на душу положит: от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам. Сказывал и пел на пароходике "Олег" в Херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.

Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В Полтавщине она была прохладная, с звонкими ветрами "суховеями", с изумрудом озимей, с голыми метлами хуторских тополей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, ехавшие на волах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казачки: еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашенных яиц. В гирлах же было совсем лето, много стрекоз

вилось над очеретом, много скиглило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах реки.

На юг, в Никополь и дальше, плыл я на этом "Олеге", очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и поспешно шумя колесами, медленно тянулся он среди необозримых камышовых зарослей и полноводных затонов. В первом классе "Олега" никого не было, кроме какой-то девицы, знакомой капитана, державшейся особняком. Во втором было несколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно не бритый, нищий актер. А на нижней палубе набилось душ полтора-два хохлушек, плывших куда-то на весенние заработки. Днем у них было шумно, тесно, жарко; днем они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, вполголоса пели.

Этот вечер был особенно прекрасен, особенно располагал к тому.

По палубе бродила, останавливалась и притворялась залюбовавшейся облаками на закате знакомая капитана. Она накинула на голову зеленый газ, тонкий, как паутина, обвила его концы вокруг шеи, и сумеречный ветерок чуть играл ими. Она была в прозрачной кофточке, высока и так хрупка станом, что, казалось, вот-вот он переломится. Одной рукой она придерживала газ, а другой — юбку, обтягивая ею ноги. А за нею все время следил актер.

Актер боком прислонился к спинке скамьи, закинул ногу на ногу, как бы показывая, что он ничуть не стесняется своими ужасными ботинками. Он поднял воротник клетчатого пальто с широким хлястиком на поясице, надвинул на лоб широкополую шляпу и, шевеля тросточкой, поводил глазами.

Девушка гуляла, останавливалась, будто и не замечала его. Но взгляды из-под широкополой шляпы делались все пристальнее. Внезапно вздрогнув, как бы от

вечерней свежести, она вскинула брови, подхватила юбку и, будто беззаботно, побежала по трапу вниз. И прикрыв глаза, актер притворился дремлющим. За мягкой чернотой правобережья, его ветряков и косого-ров, слившихся с затонами, с густыми камышами, медленно блекли в чем-то сумрачно-алом слабые очертания мутно-синих облаков. В вышине проступали мелкие, бледные звезды. "Олег", дымя, дрожал и однообразно шумел колесами... И вот, вполслуха, стройным хором, запели хохлушки, выпавшие за день.

Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рождение, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин — на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древнеславянская синь Карпатских высот. Родион, случайно пристравший к женщинам и плывший вместе с ними, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный. Если он еще жив, Бог, верно, дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям.

Слепые — народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую

веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и "псалмы", и "думы", и любовное, и "про Хому", и про Почаевскую Божью Матерь, — и легкость, с которой он менялся, была очаровательна: он принадлежал к тем редким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось: одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множество ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку, огромные сапоги. И чудесно, по-славянски, краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста.

В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры — "ой ты, сыну, мий сын, ты, дытына моя!", — долго не запевали другой; запели было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую, и тотчас бросили. Родион вполголоса занял первую строку песни еще более старинной, чем о матери и сыне, — "край Дунаю трава шумить", — и вдруг окликнул кого-то прибауткой, и вокруг него радостно прыснули, покатались со смеху.

И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы среди ровного, уже ночного шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видимом затоне, между двух черных стен камыша, ночной

рыбак лучил рыбу: спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском, — многие впервые побывали на этом пути в Киеве — и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заныла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.

Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил — и сквозь восточную, степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хора. Он почувствовал, понял, что именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу, — о сироте и о мачехе, — мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами.

— Ой, зашуміли луги ще й бистрії рікі, — вздохнул и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру.

И пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию:

— Померла матинка, zostалися діти...

Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому сердцу, — сердцу и беспощадному и жалостливому, — какова она, эта сиротская доля. Отец, сказал он, тот утешится:

— Отец жону знайде, буде в парі жити...

А сиротам никто не заменит родной матери:

— Нещасні сірїтки — ті підуть служити...

Но не спасет их, сказал он, никакая служба, никакая

самая старательная работа:

— Що сирота робить — робота ні за що, а люди говорять: сирота ледащо!

Одним тоном слов и лиры он дал трогательный образ всем чужого, всем покорного ребенка, стриженной, босой, в грязной сорочке и старенькой плахте девочки. Она долго опускала заплаканные глазки, долго надеялась терпением и непосильным трудом снискать милость мачехи, — но напрасно: даже родной отец, раб этой безжалостной, хозяйственной женщины, избегал глядеть на свою сироту, боялся хотя бы словом вступить за нее. А уж если родному отцу в тягость собственное дитя, то где же правда, где справедливость, где сострадание? Их надо искать по свету, по миру, паче же всего где-то там, куда скрылась мать, единственный нескудеющий источник нежности. И, опять со вздоха возвышая свой грудной голос, опять усиливая звенящий тон лиры, Родион продолжал:

— Ой, пішла сірітка темними лугами, — вмивається сірітка дрібними сльозами. Не змогла сирітка мачусі вгодити, — ой, пішла сірітка по світу блудити: по світу блукати, матінки шукати...

Сын народа, не отделяющего земли от неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее "в темных лугах", в светлые пасхальные дни, с самим воскресшим Господом:

— Тай зустрів її Христос, став її питати: "Куди йдеш, сірітко? — "Матері шукати". — "Ой, не йди, сірітко, бо далеко зайдеш, вже ж своєї матінки й повік не знайдеш: бо твоя матінка на високій горі, тіло спочиває у смутному гробі..."

С великой нежностью, но все так же просто передал он горькую "розмову" сироты с матерью, — точнее говоря, с "янголом" (ангелом), отзывавшимся из могилы за усопшую:

— Ой, пішла сірітка на той гроб ридати, чи не обізветься в гробу рідна мати? Обізвався янгол, як рідная мати, та й став її стихо, словесно питати:

— Хто це гірко плаче
На мойому гробі?
— Ох, це я, матінко:
Прийми мене к собі!
— Насипано землі,
Що вже ж я не встану,
Сліпилися очі,
Вже й на світ не гляну!
Ох, як тяжко, важко
Каміння глодати:
А ще тяжче, важче
Тебе к собі взяти!
Нема тут, сірітко,
Ні їсти, ні піти,
Тільки велів Господь
В сирій землі гнити!
Пішла б ти, сірітко,
Мачусі б просила:
Може змилювалась —
Сорочку пошила...

И с непередаваемой трогательностью ответил ребенок ангелу-матери:

— Я ж її просила, я ж їй годила. А злая мачуха сорочки не шила!

Как все истинные художники, Родион сердцем знал, когда надо сказать, когда помолчать. Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми вздохами своих слушательниц. А насладившись, вдруг грозно и радостно возвысил голос и развернул уже иные картины — картины Христова суда, его возмездия:

— Посила Христос Бог янголів од себе, — сказав он торжественно, чистым и звонким голосом, — візьміть ту сірітку, посадіть сірітку у світлому раю, у Господа Бога, у честі і славі!

И со скрежетом и звоном лиры далеко разлил свой
завзвеневающий от радостного гнева плач:

Посилає Бог з пекла
По злую мачуху,
По злую мачуху,
І по її духу:

Підіміть мачуху
У гору високо,
Закиньте мачуху
У пекло глибоко!

Кончив, он опять помолчал и твердо сказал обычным
голосом, без лиры:

— Слушайте ж, люди: хто сироти має, нехай доглядає,
на путь наставляє.

И, сказав, уже не нарушил молчания ни единым
добавлением. Только долго покрывал сказанное одно-
образным нытьем, ропотом лиры, как бы смягчая силу
впечатления.

Актер спал, прислонясь к скамейке. Выходила боль-
шая теплая луна, видно было его лицо, грустное во сне.
Тускло золотились под луной дальние чащи черных
камышей. Широкий золотой столб погружался в зер-
кальную глубину между ними, и жабы, чувствуя лун-
ный свет, начали сладострастно, изнемогая, стонать в
них, похохатывать. Следуя изгибам затонов, "Олег" все
поворачивал, и тянуло то теплом, то сыростью,
гнилью — весною, плавнями. Только крупные лучис-
тые звезды остались в небе, и дым из трубы поднимался
прямее, выше...

А записывал я стих про сироту в Никополе, в жар-
кий полдень, среди многолюдного базара, среди телег
и волов, запаха их помета и сена, сидя вместе с
Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и
снисходительно, повторяя одно и то же по нескольку
раз, и порою останавливался, сдерживая легкую доса-

ду, когда я ошибался. А чем я был виноват? Некоторые стихи он говорил то так, то сляк, кое-что улучшая по своему вкусу.

Когда мы кончили, он долго что-то додумывал, и солнце пекло его непокрытую голову, его незрячее, ничего не выражающее лицо. Потом с тонкой улыбкой наметнул насчет корчмы. Я положил в его ладонь несколько пятаков. Он быстро зажал их своими цепкими пальцами, быстро приподнялся, сунул лиру под мышку, и, поймав мою руку, радостно и осторожно поцеловал ее.

Капри. 1913

Роза Иерихона

В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы.

Странно, что назвали розой да еще Розой Иерихона этот клубок сухих, колючих стеблей, подобный нашему перекаати-поле, эту пустынную жесткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в безлюдных синайских предгориях. Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину Огненную, нагую мертвую теснину в пустыне Иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему земных сравнений.

Ибо он, этот волчец, воистину чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет.

И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!

Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнейшее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во Святую землю Господа нашего Иисуса Христа. В великом покое вековой тишины и забвения лежали перед нами ее палестины — доли Галилеи, холмы иудейские, соль и жупел Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели все те же анемоны и маки, что цвели и при Рахили, красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча...

Роза Иерихона. В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого — и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный знак. Отдались, неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце — и уже навеки покроет прах забвения Розу моего Иерихона.

Н. С. ГУМИЛЕВ

Андрей Рублев

Я твердо, я так сладко знаю,
С искусством иноков знаком,
Что лик жены подобен раю,
Обетованному творцом.

Нос — это древа ствол высокий;
Две тонкие дуги бровей
Над ним раскинулись, широки,
Изгибом пальмовых ветвей.

Два вещих сирина, два глаза,
Под ними сладостно поют,
Велеречивостью рассказа
Все тайны духа выдают.

Открытый лоб — как свод небесный,
И кудри — облака над ним,
Их, верно, с робостью прелестной
Касался нежный серафим..

И тут же, у подножья древа,
Уста — как некий райский цвет,
Из-за какого мать Ева
Благой нарушила завет.

Все это кистью достохвальной
Андрей Рублев мне начертал,
И этой жизни труд печальный
Благословеньем Божиим стал.

Слово

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это — Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

С. А. ЕСЕНИН

* * *

Пойду в скуфье смиренным иноком
Иль белобрысым босяком —
Туда, где льется по равнинам
Березовое молоко.

Хочу концы земли измерить,
Доверясь призрачной звезде,
И в счастье ближнего поверить
В звящей рожью борозде.

Рассвет рукой прохлады росной
Сшибает яблоки зари.
Сгребая сено на покосах,
Поют мне песни косари.

Глядя за кольца лычных прясел,
Я говорю с самим собой:
Счастлив, кто жизнь свою украсил
Бродяжной палкой и сумой.

Счастлив, кто в радости убогой,
Живя без друга и врага,
Пройдет проселочной дорогой,
Молясь на копны и стога.

1914

* * *

Проплясал, проплакал дождь весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Поднимать глаза...

Скучно слушать под небесным древом
Взмах незримых крыл:
Не разбудишь ты своим напевом
Дедовских могил!

Привязало, осаднило слово
Даль твоих времен.
Не в ветрах, а, зная, в томах тяжелых
Прозвенит твой сон.

Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,
Вытянет персты.
Близок твой кому-то красный вечер,
Да не нужен ты.

Всколыхнет он Брюсова и Блока,
Встормошит других.
Но все так же день взойдет с востока,
Так же вспыхнет миг.

Не изменят лик земли напевы,
Не стряхнут листа...
Навсегда твои пригвождены ко древу
Красные уста.

Навсегда простер глухие длани
Звездный твой Пилат.
Или, Или, лама савахфани,
Отпусти в закат.

<1917>

Иорданская голубица

1

Земля моя золотая!
Осенний светлый храм!
Гусей крикливых стая
Несется к облакам.

То душ преображенных
Неисчислима рать,
С озер поднявшись сонных,
Летит в небесный сад.

А впереди их лебедь.
В глазах, как роща, грусть.
Не ты ль так плачешь в небе,
Отчалившая Русь?

Лети, лети, не бойся,
Всему есть час и брег.
Ветра стекают в песню,
А песня канет в век.

2

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.

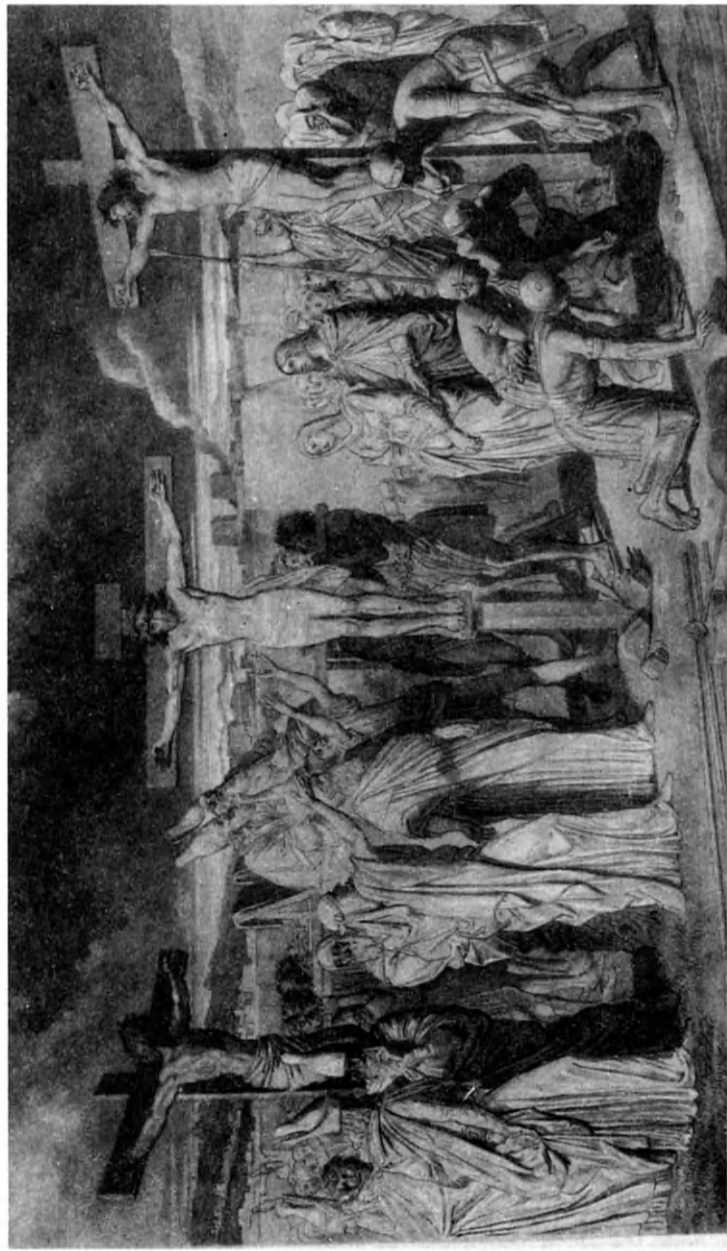
Ради вселенского
Братства людей
Радуюсь песней я
Смерти твоей.

Крепкий и сильный
На гибель твою
В колокол синий
Я месяцем бью.

Братья-миряне,
Вам моя песнь.
Слышу в тумане я
Светлую весть.

3

Вот она, вот голубица,
Севшая ветру на длань.



А. Иванов. Поругание распятого Христа. XIX в.

Снова зарею клубится
Мой луговой Иордань.

Славлю тебя, голубая,
Звездами вбитая высь.
Снова до отчего рая
Руки мои поднялись.

Вижу вас, злачные нивы,
С стадом буланых коней.
С дудкой пастушеской в ивах
Бродит апостол Андрей.

И, полная боли и гнева,
Там, на окраине села,
Мати Пречистая Дева
Розгой стегает осла.

4

Братья мои, люди, люди!
Все мы, все когда-нибудь
В тех благих селеньях будем,
Где протоптан Млечный Путь.

Не жалейте же ушедших,
Уходящих каждый час, —
Там на ландышах расцветших
Лучше, чем в полях у нас.

Страж любви — судьба-мздоимец
Счастье пестует не век.
Кто сегодня был любимец —
Завтра нищий человек.

5

О новый, новый, новый,
Прорезавший тучи день!
Отроком солнцеголовым
Сядь ты ко мне под плетень.

Дай мне твои волосья
Гребнем луны расчесать.
Этим обычаем гостя
Мы научились встречать.

Древняя тень Маврикии
Родственна нашим холмам,
Дождиком в нивы златые
Нас посетил Авраам.

Сядь ты ко мне на крылечко,
Тихо склонись ко плечу.
Синюю звездочку свечкой
Я пред тобой засвечу.

Буду тебе я молиться,
Славить твою Иордань...
Вот она, вот голубица,
Севшая ветру на длань.

20 — 23 июня 1918.
Константиново

Пантократор

1

Славь, мой стих, кто ревет и бесится,
Кто хоронит тоску в плече,
Лошадиную морду месяца
Схватить за узду лучей.

Тысячи лет те же звезды славятся,
Тем же медом струится плоть.
Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня, Господь.

За седины твои кудрявые,
За копейки с золотых осин
Я кричу тебе: "К черту старое!",
Непокорный, разбойный сын.

И за эти щедроты теплые,
Что сочишь ты дождями в муть,
О, какими, какими метлами
Это солнце с небес стряхнуть?

2

Там, за млечными холмами,
Средь небесных тополей,
Опрокинулся над нами
Среброструйный Водолей.

Он Медведицей с лазури —
Как из бочки черпаком.
В небо вспрыгнувшая буря
Села месяцу верхом.

В вихре снится сонм умерших,
Молоко дымящий сад,
Вижу, дед мой тянет вершей
Солнце с полдня на закат.

Отче, отче, ты ли внука
Услыхал в сей скорбный срок?
Знать, недаром в сердце мукал
Издыхающий телок.

3

Кружися, кружися, кружися,
Чекань твоих дней серебро!
Я понял, что солнце из выси —
В колодезь златое ведро.

С земли на незримую сушу
Отчалить и мне суждено.
Я сам положу мою душу
На это горящее дно.

Но знаю — другими очами
Умершие чуют живых.
О, дай нам с земными ключами
Предстать у ворот золотых,

Дай с нашей овсяною волей
Засовы чугунные сбить.
С разбега по ровному полю
Заре на закорки вскочить.

4

Сойди, явись нам, красный конь!
Впрягись в земли оглобли.

Нам горьким стало молоко
Под этой ветхой кровлей.

Пролей, пролей нам над водой
Твое глухое ржанье
И колокольчиком-звездой
Холодное сиянье.

Мы радугу тебе — дугой,
Полярный круг — на сбрую.
О, выведи наш шар земной
На колею иную.

Хвостом к земле ты прицепись,
С зари отчалься гривой.
За эти тучи, эту высь
Скачи к стране счастливой.

И пусть они, те, кто во мгле
Нас пьют лампадой в небе,
Увидят со своих полей,
Что мы к ним в гости едем.

Февраль 1919

В. Ф. ХОДАСЕВИЧ

Путем зерна

Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.

Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

23 декабря 1917

Слезы Рахили

Мир земле вечерней и грешной!
Блещут лужи, перила, стекла.
Под дождем я иду неспешно,
Мокры плечи, и шляпа промокла.
Нынче все мы стали бездомны,
Словно вечно бродягами были,
И поет нам дождь неумный
Про древние слезы Рахили.

Пусть потомки с гордой любовью
Про дедов легенды сложат —
В нашем сердце грехом и кровью
Каждый день отмечен и прожит.
Горе нам, что по воле Божьей
В страшный час сей мир посетили!
На щеках у старухи прохожей —
Горючие слезы Рахили.

Не приму ни чести, ни славы,
Если вот, на прошлой неделе,
Ей прислали клочок кровавый
Заскорузлой солдатской шинели.
Ах, под нашей тяжелой ношей
Сколько б песен мы ни сложили —
Лишь один есть припев хороший:
Неутешные слезы Рахили!

5 — 30 октября 1916

* * *

Мечта моя! Из Вифлеемской дали
Мне донеси дыханье тех минут,
Когда еще и пастухи не знали,
Какую весть им ангелы несут.

Все было там убого, скудно, просто:
Ночь; душный хлев; тяжелый храп быка.
В углу осел, замученный коростой,
Чесал о ясли впалые бока,

А в яслях... Нет, мечта моя, довольно:
Не искушай кощунственный язык!
Подумаю — и стыдно мне, и больно:
О чем, о чем он говорить привык!

Январь 1920, ноябрь 1922

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ

* * *

Отравлен хлеб и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!

Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.

Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня — событий
Рассеивается туман;

И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец
Все исчезает — остается
Пространство, звезды и певец!

1913

* * *

А. В. Карташеву

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалась над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: "Небес тревожна желтизна.
Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!"
А старцы думали: не наша в том вина;
Се черно-желтый свет, се радость Иудей.
Он с нами был, когда, на берегу ручья,
Мы в драгоценный ден субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.

1917

* * *

В хрустальном омуте какая крутизна!
За нас сиенские предстательствуют горы,
И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина.

С висячей лестницы пророков и царей
Спускается орган, Святого Духа крепость,
Овчарок бодрый лай и добрая свирепость,
Овчины пастухов и посохи судей.

Вот неподвижная земля, и вместе с ней
Я христианства пью холодный горный воздух,
Крутое "Верую" и псалмопевца роздых,
Ключи и рубища апостольских церквей.

Какая линия могла бы передать
Хрусталь высоких нот в эфире укреплённом,
И христианских гор в пространстве изумлённом,
Как Палестрины песнь, нисходит благодать.

1919

Тайная вечера

Небо вечера в стену влюбилось, —
Все изранено светом рубцов —
Провалилось в нее, осветилось,
Превратилось в тринадцать голов.

Вот оно — мое небо ночное,
Пред которым как мальчик стою:
Холодеет спина, очи ноют.
Стенобитную твердь я ловлю —

И под каждым ударом тарана
Осыпаются звезды без глав:
Той же росписи новые раны —
Неоконченной вечности мгла...

9 марта 1937

А. А. АХМАТОВА

Библейские стихи

Рахиль

И служил Иаков за Рахиль семь лет;
и они показали ему за несколько дней,
потому что он любил ее.

Книга Бытия

И встретил Иаков в долине Рахиль,
Он ей поклонился, как странник бездомный.
Стада подымали горячую пыль,
Источник был камнем завален огромным.

Он камень своею рукой отвалил
И чистой водою овец напоил.

Но стало в груди его сердце грустить,
Болезнь, как открытая рана.
И он согласился за деву служить
Семь лет пастухом у Лавана.
Рахиль! Для того, кто во власти твоей,
Семь лет — словно семь ослепительных дней.

Но много премудр сребролюбец Лаван,
И жалость ему незнакома.
Он думает: каждый простится обман
Во славу Лаванова дома.
И Лию незрячую твердой рукой
Приводит к Иакову в брачный покой.

Течет над пустыней высокая ночь,
Роняет прохладные росы,
И стонет Лаванова младшая дочь,
Терзая пушистые косы.
Сестру проклиняет, и Бога хулит,
И ангелу смерти явиться велит.

И снится Иакову сладостный час:
Прозрачный источник долины,
Веселые взоры Рахилиных глаз
И голос ее голубиный:
Иаков, не ты ли меня целовал
И черной голубкой своей называл?

Лотова жена

Жена же Лотова оглянулась позади его
и стала соляным столпом.

Книга Бытия

И праведник шел за посланником Бога,
Огромный и светлый, по черной горе.
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.

Взглянула — и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.

Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

1922 — 1924

Мелхола

Но Давида полюбила... дочь Саула, Мелхола.
Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью.

Первая книга Царств

И отрок играет безумцу царю,
И ночь беспощадную рушит,

И громко победную кличет зарю,
И призраки ужаса душит.
И царь благосклонно ему говорит:
"Огонь в тебе, юноша, дивный горит,
И я за такое лекарство
Отдам тебе дочку и царство".
А царская дочка глядит на певца,
Ей песен не нужно, не нужно венца,
В душе ее скорбь и обида,
Но хочет Мелхола — Давида.
Бледнее, чем мертвая; рот ее сжат;
В зеленых глазах исступленье;
Сияют одежды, и стройно звенят
Запястья при каждом движении.
Как тайна, как сон, как праматерь Лилит...
Не волей своею она говорит:
"Наверно, с отравой мне дали питье,
И мой помрачается дух.
Бесстыдство мое! Унижение мое!
Бродяга! Разбойник! Пастух!
Зачем же никто из придворных вельмож,
Увы, на него не похож?
А солнца лучи... а звезды в ночи...
А эта холодная дрожь..."

1922 — 1961

Requiem 1935 — 1940

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

1961

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Встрашные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то "опознал" меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнувшись от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957

Ленинград

ПОСВЯЩЕНИЕ

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,

А за ними "каторжные норы"
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат —
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались, как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Шатается... Одна...
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге?
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный свой привет.

Март 1940

ВСТУПЛЕНИЕ

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.

Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

I

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки,
Смертный пот на челе... Не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

Осень 1935

Москва

II

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.

Входит в шапке набекрень.
Видит желтый месяц тень.

Эта женщина больна,
Эта женщина одна,

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

III

Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...
Ночь.

IV

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своей слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько там
Неповинных жизней кончается...

V

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
И только пышные цветы,
И звон кадильный, и следы

Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.

VI

Легкие летят недели,
Что случилось, не пойму.
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели,
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоём кресте высоком
И о смерти говорят.

1939

VII

ПРИГОВОР

И упало каменное слово
На мою ещё живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.

Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

22 июня 1939

VIII

К СМЕРТИ

Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом,
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой, —
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застигает.

19 августа 1939
Фонтанный Дом

IX

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,

Прислушиваясь к своему,
Уже как бы к чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивать его
И как ни докучать мольбою):

Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.

4 мая 1940

Х

РАСПЯТИЕ

*Не рыдай Мене, Мати,
во гробе сущу.*

1

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: "Почто Меня оставил!"
А матери: "О, не рыдай Мене..."

2

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,

А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

1938 — 1943

ЭПИЛОГ

1

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.

2

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:

И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,

И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: "Сюда прихожу, как домой."

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомиллионный народ,

Пусть так же они поминают меня
В канун моего погребального дня.

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,
Но только с условием — не ставить его

Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,

Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Март 1940

Б. Л. ПАСТЕРНАК
Стихотворения Юрия Живаго

Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси. .

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

1946

На Страстной

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,

И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола.
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.

И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград.
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор,
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь —
Смерть можно будет побороть
Усиьем Воскресенья.

Рождественская звезда

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плоски
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.

— Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —
Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листьями слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
— Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстие скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.

Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостя, смотрела звезда Рождества.

1947

Магдалина

I

Чуть ночь, мой демон тут как тут,
За прошлое моя расплата.
Придут и сердце мне сосут
Воспоминания разврата,
Когда, раба мужских причуд,
Была я дурой бесноватой
И улицей был мой приют.

Осталось несколько минут,
И тишь наступит гробовая.
Но, раньше чем они пройдут,
Я жизнь свою, дойдя до края,
Как алавастровый сосуд
Перед тобою разбиваю.

О, где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель,
Когда б ночами у стола
Меня бы вечность на ждала,
Как новый, в сети ремесла
Мной завлеченный посетитель.

Но объясни, что значит грех,
И смерть, и ад, и пламень серный,
Когда я на глазах у всех
С тобой, как с деревом побег,
Срослась в своей тоске безмерной.

Когда твои стопы, Исус,
Оперши о свои колени,
Я, может, обнимать учусь
Креста четырехгранный брус
И, чувств лишаясь, к телу рвусь,
Тебя готовя к погребенью.

1949

Магдалина

II

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю мирром из ведерка
Я стопы пречистые Твои.

Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.

Ноги я Твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно Ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятыя,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и роц?

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.

Гефсиманский сад

Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный Путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: "Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной".

Он отказался без сопротивления,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом Он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, усиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: "Вас Господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст".

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: "Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы Мне сюда?
И волоска тогда на Мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святых.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты".

М. И. ЦВЕТАЕВА

Ученик

*Сказать — задумалась о чем?
В дождь — под одним плащом,
В ночь — под одним плащом, потом
В гроб — под одним плащом.*

1

Быть мальчиком твоим светлоголовым, —
О, через все века! —
За пыльным пурпуром твоим брести в суровом
Плаще ученика.

Улавливать сквозь всю людскую гущу
Твой вздох животворящ —
Душой, дыханием твоим живущей,
Как дуновеньем — плащ.

Победоноснее царя Давида
Чернь раздвигать плечом.
От всех обид, от всей земной обиды
Служить тебе плащом.

Быть между спящими учениками
Тем, кто во сне — не спит.
При первом чернью занесенном камне
Уже не плащ — а щит!

(О, этот стих не самовольно прерван!
Нож чересчур остер!)

...И — дерзновенно улыбнувшись — первым
Взойти на твой костер.

15 апреля 1921

2

Есть некий час...
Тютчев

Есть некий час — как сброшенная клажа:
Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества — он в жизни каждой
Торжественно-неотвратим.

Высокий час, когда, сложив оружие
К ногам указанного нам — Перстом,
Мы пурпур война на мех верблюжий
Сменяем на песке морском.

О, этот час, на подвиг нас — как голос,
Вздымающий из своеволья дней!
О, этот час, когда, как спелый колос,
Мы клонимся от тяжести своей.

И колос взрос, и час веселый пробил,
И жерновов возжаждало зерно.
Закон! Закон! Еще в земной утробе
Мной вожденное ярмо.

Час ученичества! Но зрим и ведом
Другой нам свет, — еще заря зажглась.
Благословен ему грядущий следом
Ты — одиночества верховный час!

15 апреля 1921

Первое солнце

О, первое солнце над первым лбом!
И эти — на солнце, прямо —
Дымящие — черным двойным жерлом —
Большие глаза Адама.

О, первая ревность, о, первый яд
Змеиный — под грудью левой!
В высокое небо вперенный взгляд:
Адам — проглядевший Еву!

Врожденная рана высоких душ,
О, Зависть моя! О, Ревность!
О, всех мне Адамов затмивший — Муж:
Крылатое солнце древних!

10 мая 1921

Магдалина

О путях твоих пытаться не буду, —
Милая, ведь все сбылось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос —
И слез.

Не спрошу тебя, — какой ценою
Эти куплены масла.
Я был наг, а ты меня волною
Тела — как стеною
Обнесла.

Наготу твою перстами трону
Тише вод и ниже трав.

Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.

В волосах своих мне яму вырой,
Спеленай меня без льна.
— Мироносица! К чему мне миро?
Ты меня омыла,
Как волна.

31 августа 1923

Молвь

Емче органа и звонче бубна
Молвь — и одна для всех:
Ох — когда трудно, и ах — когда чудно,
А не дается — эх!

Ах с Эмпиреев, и ох вдоль пахот,
И повинись, поэт,
Что ничего, кроме этих ахов,
Охов, у Музы нет.

Наинасыщеннейшая рифма
Недр, наинизший тон.
Так, перед вспыхнувшей Суламифью —
Ахнувший Соломон.

Ах: разрывающееся сердце,
Слог, на котором мрут.
Ах, это занавес — вдруг — разверстый,
Ох: ломовой хомут.

Словоискатель, словесный хахаль,
Слов неприкрытый кран,

Эх, слуханул бы разок — как ахал
В ночь половецкий стан!

И пригибался, и зверем прядал...
В мхах, в звуковом меху:
Ах — да ведь это ж цыганский табор —
Весь! — и с луной вверху!

Се жеребец, на аршин ощерясь,
Ржет, предвкушая бег.
Се, напоровшись на конский череп,
Песнь заказал Олег —

Пушкину. И — раскалясь в полете —
В прабогатырских тьмах —
Неодолимые возгласы плоти:
Ох! — эх! — ах!

23 декабря 1924

В. В. НАБОКОВ

*На годовщину смерти
Достоевского*

Садом шел Христос с учениками...
Меж кустов, на солнечном песке,
вытканном павлиньими глазками,
песий труп лежал невдалеке.

И резцы белели из-под черной
складки, и зловонным торжеством
смерти заглушен был ладан сладкий
теплых миртов, млеющих кругом.

Труп гниющий, трескаясь, раздулся,
полный склизких, слипшихся червей...
Иоанн, как дева, отвернулся,
сгорбленный поморщился Матфей...

Говорил апостолу апостол:
"Злой был пес, и смерть его нага,
мерзостна..."

Христос же молвил просто:
"Зубы у него — как жемчуга..."

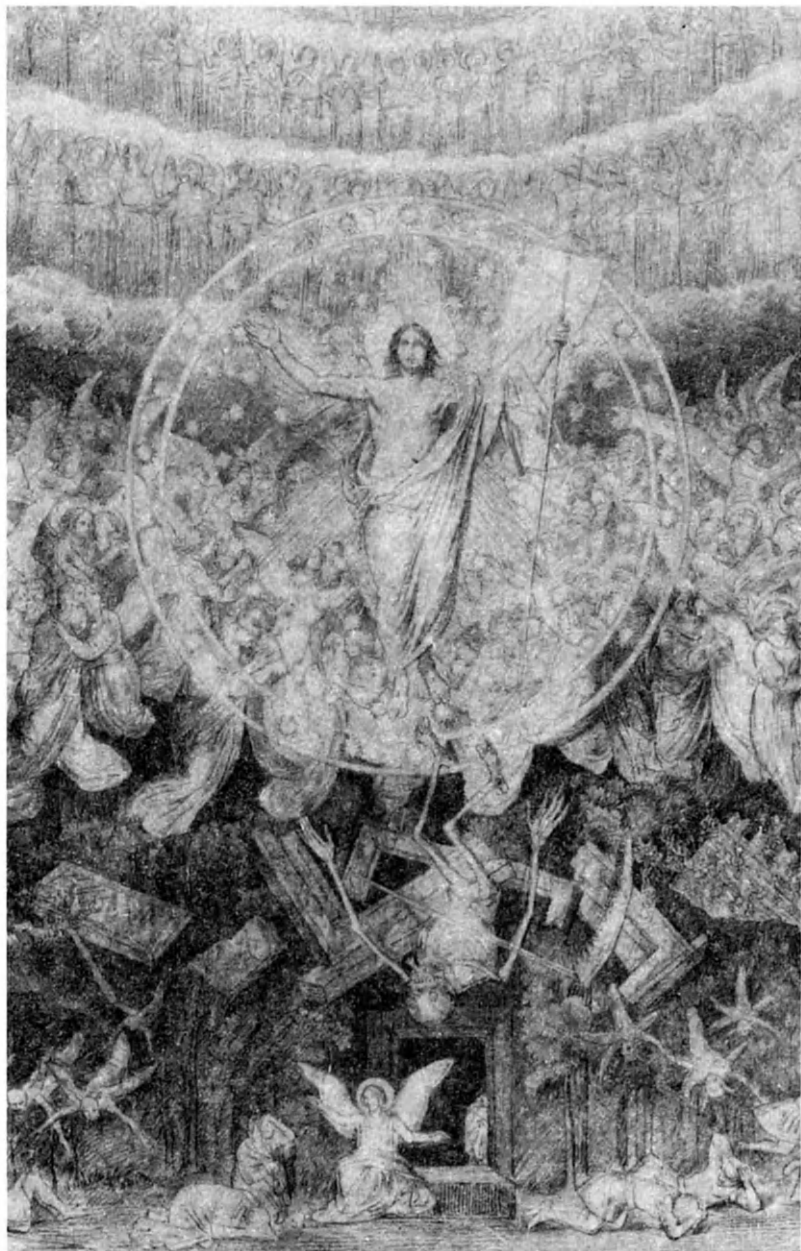
Мать

Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив,
спускается толпа, виясь между олив,
подобно медленному змию;
и матери глядят, как под гору, в туман
увещающий уводит Иоанн
седую, страшную Марию.

Уложит спать ее и сам приляжет он,
и будет до утра подслушивать сквозь сон
ее рыданья и томленье.

Что, если у нее остался бы Христос
и плотничал, и пел? Что, если этих слез
не стоит наше искупленье?

Воскреснет Божий Сын, сияньем окружен;
у гроба, в третий день, виденье встретит жен,
вотще куривших ароматы;
светящуюся плоть ощупает Фома;
от веянья чудес земля сойдет с ума,
и будут многие распяты.



А. Иванов. Воскресение. XIX в.

Мария, что тебе до бреда рыбарей!

Неосяземо над горестью твоей

дни проплывают, и ни в третий,
ни в сотый, никогда не вспрянет он на зов,
твой смуглый первенец, лепивший воробьев
на солнцепеке, в Назарете.

Берлин, 1925 г.

Легенда о старухе, искавшей плотника

Домик мой, на склоне, в Назарете,
почернел и трескается в зной.

Дождик ли стрекочет на рассвете, —
мокну я под крышею сквозной.

Крыс-то в нем, пушистых мухоловок,
скорпионов сколько... как тут быть?

Плотник есть: не молод и не ловок,
да, пожалуй, может подсобить.

День лиловый гладок был и светел.

Я к седому плотнику пошла;
но на стук никто мне не ответил,
постучала громче, пождала.

А затем толкнула дверь тугую,
и, склонив горящий гребешок,
с улицы в пустую мастерскую
шмыг за мной какой-то петушок.

Тишина. У стенки дремлют доски,
прислонясь друг к дружке, и в углу
дремлет блеск зазубренный и плоский
там, где солнце тронуло пилу.

Петушок, скажи мне, где Иосиф?
Петушок, ушел он, — как же так? —
все рассыпав гвоздики и бросив
кожаный передник под верстак.

Потопталась смутно на пороге,
восвояси в гору поплелась.
Камешки сверкали на дороге.
Разомлела, грезить принялась.

Все-то мне, старухе бестолковой,
вспоминалась плотника жена:
поглядит, бывало, молвит слово,
улыбнется, пристально-ясна;

и пройдет, осленка понукая,
лепестки, колючки в волосах, —
легкая, лучистая такая, —
а была, голубка, на сносях.

И куда ж они бежали ныне?
Грезя так, я, сгорбленная, шла.
Вот мой дом на каменной вершине, —
глянула и в блеске замерла...

Предо мной, — обделанный на диво,
новенький и белый, как яйцо,
домик мой, с оливою радивой,
серебром купающей крыльцо!

Я вхожу... Уж в облаке лучистом
разметалось солнце за бугром.
Умиляюсь, плачу я над чистым,
синим и малиновом ковром.

Умер день. Я видела осленка,
петушка и гвоздики во сне.
День воскрес. Дивясь, толкуя звонко,
две соседки юркнули ко мне.

Милые! Сама помолодею
за сухой, за новою стеной!
Говорят: ушел он в Иудею,
старый плотник с юною женой.

Говорят: пришедшие оттуда
пастухи рассказывают всем,
что в ночи сияющее чудо
пролилось на дальний Вифлеем...

(1922)

* * *

Когда я по лестнице алмазной
поднимусь из жизни на райский порог,
за плечом, к дубинке легко привязан,
будет заплатанный узелок.

Узнаю: ключи, кожаный пояс,
медную плешь Петра у ворот.
Он заметит: я что-то принес с собою —
и остановит, не отопрет.

"Апостол, скажу я, пропусти мя!..
Перед ним развяжу я узел свой:
два-три заката, женское имя
и темная горсточка земли родной...

Он поводит строго бровью седую,
но на ладони каждый изгиб
пахнет еще гефсиманской росой
и чешуей иорданских рыб.

И потому-то без трепета, без грусти
приду я, зная, что, звякнув ключом,
он улыбнется и меня пропустит,
в рай пропустит с моим узелком.

21.4.2

М. А. БУЛГАКОВ

Мастер и Маргарита.

Фрагмент

Глава 2. Понтий Пилат

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота от конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниенос-

ного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух.

"О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь... гемикrania, при которой болит полголовы... от нее нет средств, нет никакого спасения... попробую не двигать головой..."

На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону. Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил:

— Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?

— Да, прокуратор, — ответил секретарь.

— Что же он?

— Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение, — объяснил секретарь.

Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:

— Приведите обвиняемого.

И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта — ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора.

Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:

— Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм?

Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.

Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:

— Добрый человек! Поверь мне...

Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:

— Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно. — И так же монотонно прибавил: — Кентуриона Крысобоя ко мне.

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион первой кентурии Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором. Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце.

Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:

— Преступник называет меня "добрый человек". Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить.

И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним.

Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появлялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, из-за того еще, что лицо кентуриона было изуродовано: нос его некогда был разбит ударом германской палицы.

Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, свя-

занный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде, и слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона, да еще вода пела замысловатую приятную песню в фонтане.

Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет.

Выведя арестованного из-под колонн в сад, Крысобо́й вынул из рук легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич и, несильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица, и глаза обесмыслились.

Марк одною левой рукой, легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова:

— Римского прокуратора называть — игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня, или ударить тебя?

Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло:

— Я понял тебя. Не бей меня.

Через минуту он вновь стоял перед прокуратором.

Прозвучал тусклый, больной голос:

— Имя?

— Мое? — торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева.

Прокуратор сказал негромко:

— Мое мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое.

— Иешуа, — поспешно ответил арестант.

— Прозвище есть?

— Га-Ноцри.

— Откуда ты родом?

— Из города Гамалы, — ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала.

— Кто ты по крови?

— Я точно не знаю, — живо ответил арестованный, — я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец...

— Где ты живешь постоянно?

— У меня нет постоянного жилища, — застенчиво ответил арестант, — я путешествую из города в город.

— Это можно выразить короче, одним словом — бродяга, — сказал прокуратор и спросил: — Родные есть?

— Нет никого. Я один в мире.

— Знаешь ли грамоту?

— Да.

— Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?

— Знаю. Греческий.

Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного. Другой глаз остался закрытым.

Пилат заговорил по-гречески:

— Так это ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?

Тут арестант опять оживился, глаза его перестали выражать испуг, и он заговорил по-гречески:

— Я, доб... — тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, — я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие.

Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над низеньким столом и записывавшего показания. Он поднял голову, но тотчас же опять склонил

ее к пергаменту.

— Множество разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, — говорил монотонно прокуратор, — а попадают и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.

— Эти хорошие люди, — заговорил арестант и, торопливо прибавив: — игемон, — продолжал: — ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной.

Наступило молчание. Теперь уже оба больные глаза тяжело глядели на арестанта.

— Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, — произнес Пилат мягко и монотонно, — за тобою записано немного, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, нет, игемон, — весь напрягаясь в желании убедить, говорил арестованный, — ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты, Бога ради, свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой.

— Левий Матвей, — охотно объяснил арестант, — он был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на дороге в Виффагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, — тут арестант усмехнулся, — я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это

слово...

Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокуратора.

— ...однако, послушав меня, он стал смягчаться, — продолжал Иешуа, — наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мною путешествовать...

Пилат усмехнулся одною щекой, оскалив желтые зубы, и промолвил, повернувшись всем туловищем к секретарю:

— О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем! Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!

Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата.

— А он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, — объяснил Иешуа странные действия Левия Матвея и добавил: — И с тех пор он стал моим спутником.

Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно поднимающееся вверх над конными статуями гипподрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: "Повесить его". Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора.

Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном ершалаимском солнце пеке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом и какие еще никому не нужные вопросы ему

придется задавать.

— Левий Матвей? — хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза.

— Да, Левий Матвей, — донесся до него высокий, мучающий его голос.

— А вот что ты все-таки говорил про храм в толпе на базаре?

Голос отвечавшего, казалось, колот Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:

— Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.

— Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?

И тут прокуратор подумал: "О боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде... Мой ум не служит мне больше..." И опять померещилась ему чаша с темной жидкостью. "Яду мне, яду..."

И вновь он услышал голос:

— Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет.

Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова.

Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца.

Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом бритом лице его выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своею волей и вновь опустился в кресло.

Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова.

— Ну вот, все и кончилось, — говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, — и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется... — арестант повернулся, прищурился на солнце, — ...позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека.

Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол.

— Беда в том, — продолжал никем не останавливаемый связанный, — что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласишься, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон, — и тут говорящий позволил себе улыбнуться.

Секретарь думал теперь только об одном, верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора.

Тогда раздался сорванный, хрипловатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:

— Развяжите ему руки.

Один из конвойных легионеров стукнул копьем, передал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не записывать и ничему не удивляться.

— Сознайся, — тихо по-гречески спросил Пилат, — ты великий врач?

— Нет, прокуратор, я не врач, — ответил арестант, с наслаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть руки.

Круто исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути, в них появились всем знакомые искры.

— Я не спросил тебя, — сказал Пилат, — ты, может быть, знаешь и латинский язык?

— Да, знаю, — ответил арестант.

Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он спросил по-латыни:

— Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?

— Это очень просто, — ответил арестант по-латыни, — ты водил рукой по воздуху, — и арестант повторил жест Пилата, — как будто хотел погладить, и губы...

— Да, — сказал Пилат.

Помолчали. Потом Пилат задал вопрос по-гречески:

— Итак, ты врач?

— Нет, нет, — живо ответил арестант, — поверь мне, я не врач.

— Ну, хорошо. Если хочешь это держать в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить... или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?

— Я, игемон, никого не призывал к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?

— О да, ты не похож на слабоумного, — тихо ответил прокуратор и улыбнулся какой-то страшной улыбкой, — так поклянись, что этого не было.

— Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? — спросил, очень оживившись, развязанный.

— Ну, хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, — ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это.

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил арестант. — Если это так, ты очень ошибаешься.

Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:

— Я могу перерезать этот волосок.

— И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, — согласишься, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?

— Так, так, — улыбнувшись, сказал Пилат, — теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобою по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? — тут прокуратор указал на свиток пергамента.

Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.

— У меня и осла-то никакого нет, игемон, — сказал он. — Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал.

— Не знаешь ли ты таких, — продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, — некоего Дисмаса, другого — Гестаса и третьего — Вар-раввана?

— Этих добрых людей я не знаю, — ответил арес-

тант.

— Правда?

— Правда.

— А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова "добрые люди"? Ты всех, что ли, так называешь?

— Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете.

— Впервые слышу об этом, — сказал Пилат, усмехнувшись, — но, может быть, я мало знаю жизнь!.. Можете дальнейшее не записывать, — обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту: — В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?

— Нет, я своим умом дошел до этого.

— И ты проповедуешь это?

— Да.

— А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоєм, — он — добрый?

— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил?

— Охотно могу сообщить это, — отозвался Пилат, — ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а командовал ею я, — тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с Крысобоєм. Это было в бою при Идиставизо, в Долине Дев.

— Если бы с ним поговорить, — вдруг мечтательно сказал арестант, — я уверен, что он резко изменился бы.

— Я полагаю, — отозвался Пилат, — что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы взду-

мал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, буду я.

В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо.

В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова: игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа, по кличке Га-Ноцри, и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевнобольным. Вследствие этого смертный приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные утопические речи Га-Ноцри могут быть причиною волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергает его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора.

Оставалось это продиктовать секретарю.

Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль.

— Все о нем? — спросил Пилат у секретаря.

— Нет, к сожалению, — неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента.

— Что еще там? — спросил Пилат и нахмурился.

Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу, или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились.

Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них, только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное — как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: "Закон об оскорблении величества..."

Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: "Погиб!..", потом: "Погибли!.." И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то бессмертии, причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску.

Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.

— Слушай, Га-Ноцри, — заговорил прокуратор, глядя на Иешуа как-то странно: лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны, — ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или... не... говорил? — Пилат протянул слово "не" несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту.

— Правду говорить легко и приятно, — заметил арестант.

— Мне не нужно знать, — придушенным, злым голосом отозвался Пилат, — приятно или неприятно тебе говорить правду. Но тебе придется ее говорить. Но, говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не

только неизбежной, но и мучительной смерти.

Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудеи, но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту какой-то намекающий взор.

— Итак, — говорил он, — отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа, и что именно ты говорил ему, если говорил, о кесаре?

— Дело было так, — охотно начал рассказывать арестант, — позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем Городе и угостил...

— Добрый человек? — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.

— Очень добрый и любознательный человек, — подтвердил арестант, — он выказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно...

— Светильники зажег... — сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали.

— Да, — немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, — попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал.

— И что же ты сказал? — спросил Пилат. — Или ты ответишь, что ты забыл, что говорил? — но в тоне Пилата была уже безнадежность.

— В числе прочего я говорил, — рассказывал арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.

— Далее!

— Далее ничего не было, — сказал арестант, — тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму.

Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро чертил на пергаменте слова.

— На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! — сорванный и больной голос Пилата разросся.

Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой.

— И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! — Тут Пилат вскричал: — Вывести конвой с балкона! — И, повернувшись к секретарю, добавил: — Оставьте меня с преступником наедине, здесь государственное дело.

Конвой поднял копы и, мерно стуча подкованными калигами, вышел с балкона в сад, а за конвоем вышел и секретарь.

Молчание на балконе некоторое время нарушала только песня воды в фонтане. Пилат видел, как вздувалась над трубочкой водяная тарелка, как отламывались ее края, как падали струйками.

Первым заговорил арестант.

— Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.

— Я думаю, — странно усмехнувшись, ответил прокуратор, — что есть еще кое-кто на свете, кого тебе следовало бы пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде!.. Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые, как я вижу, — прокуратор указал на изуродованное лицо Иешуа, — тебя били за твои проповеди, разбойники Дисмас и Гестас, убившие со своими присными четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда — все они добрые люди?

— Да, — ответил арестант.

— И настанет царство истины?

— Настанет, игемон, — убежденно ответил Иешуа.

— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. Так много лет тому назад в Долине Дев кричал Пилат своим всадникам слова: "Руби их! Руби их! Великан Крысобо́й попался!" Он еще повысил сорванный командами голос, выкликая слова так, чтобы их слышали в саду: — Преступник! Преступник! Преступник!

А затем, понизив голос, он спросил:

— Иешуа Га-Ноцри, веришь ли ты в каких-нибудь богов?

— Бог один, — ответил Иешуа, — в него я верю.

— Так помолись ему! Покрепче помолись! Впрочем... — тут голос Пилата сел, — это не поможет. Жены нет? — почему-то тоскливо спросил Пилат, не понимая, что с ним происходит.

— Нет, я один.

— Ненавистный город... — вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обмывая их, — если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудею из Кириафа, право, это было бы лучше.

— А ты бы меня отпустил, игемон, — неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен, — я вижу, что меня хотят убить.

Лицо Пилата исказилось судорогой, он обратился к Иешуа воспаленные, в красных жилках белки глаз и сказал:

— Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю! И слушай меня: если с этой минуты ты произнесешь хотя бы слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня! Повторяю тебе: берегись!

— Игемон...

— Молчать! — вскричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон. — Ко мне! — крикнул Пилат.

И когда секретарь и конвой вернулись на свои места, Пилат объявил, что утверждает смертный приговор, вынесенный в собрании Малого Синедриона преступнику Иешуа Га-Ноцри, и секретарь записал сказанное Пилатом.

Через минуту перед прокуратором стоял Марк Крысобою. Ему прокуратор приказал сдать преступника начальнику тайной службы и при этом передать ему распоряжение прокуратора о том, чтобы Иешуа Га-Ноцри был отделен от других осужденных, а также о том, чтобы команде тайной службы было под страхом тяжелой кары запрещено о чем бы то ни было разговаривать с Иешуа или отвечать на какие-либо его вопросы.

По знаку Марка вокруг Иешуа сомкнулся конвой и вывел его с балкона.

Затем перед прокуратором предстал светлородый красавец с орлиными перьями в гребне шлема, со сверкающими на груди золотыми львиными мордами, с золотыми же бляшками на портупее меча, в зашнурованной до колен обуви на тройной подошве и в наброшенном на левое плечо багряном плаще. Это был командующий легионом легат.

Его прокуратор спросил о том, где сейчас находится себасти́йская когорта. Легат сообщил, что себасти́йцы держат оцепление на площади перед гипподромом, где будет объявлен народу приговор над преступниками.

Тогда прокуратор распорядился, чтобы легат выделил из римской когорты две кентурии. Одна из них, под командою Крысобою, должна будет конвоировать преступников, повозки с приспособлениями для казни и палачей при отправлении на Лысую Гору, а при

прибытии на нее войти в верхнее оцепление. Другая же должна быть сейчас же отправлена на Лысую Гору и начинать оцепление немедленно. Для этой же цели, то есть для охраны Горы, прокуратор попросил легата отправить вспомогательный кавалерийский полк — сирийскую алу.

Когда легат покинул балкон, прокуратор приказал секретарю пригласить во дворец президента Синедриона, двух членов его и начальника храмовой стражи Ершалаима, но при этом добавил, что просит устроить так, чтобы до совещания со всеми этими людьми он мог говорить с президентом раньше и наедине.

Приказание прокуратора было исполнено быстро и точно, и солнце, с какою-то необыкновенною яростью сжигавшее в эти дни Ершалаим, не успело еще приблизиться к своей наивысшей точке, когда на верхней террасе сада у двух мраморных белых львов, стороживших лестницу, встретились прокуратор и исполняющий обязанности президента Синедриона первосвященник иудейский Иосиф Каифа.

В саду было тихо. Но, выйдя из-под колоннады на заливаемую солнцем верхнюю площадь сада с пальмами на чудовищных слоновых ногах, площадь, с которой перед прокуратором развернулся весь ненавистный ему Ершалаим с висячими мостами, крепостями и, самое главное, с не поддающейся никакому описанию глыбой мрамора с золотой драконовой чешуею вместо крыши — храмом Ершалаимским, — острым слухом уловил прокуратор далеко и внизу, там, где каменная стена отделяла нижние террасы дворцового сада от городской площади, низкое ворчание, над которым взмывали по временам слабенькие, тонкие не то стоны, не то крики.

Прокуратор понял, что там на площади уже собралась несметная толпа взволнованных последними беспорядками жителей Ершалаима, что эта толпа в нетер-

пениии ожидает вынесения приговора и что в ней кричат беспокойные продавцы воды.

Прокуратор начал с того, что пригласил первосвященника на балкон, с тем чтобы укрыться от безжалостного зноя, но Каифа вежливо извинился и объяснил, что сделать этого не может в канун праздника. Пилат накинул капюшон на свою чуть лысеющую голову и начал разговор. Разговор этот шел по-гречески.

Пилат сказал, что он разобрал дело Иешуа Га-Ноцри и утвердил смертный приговор.

Таким образом, к смертной казни, которая должна совершиться сегодня, приговорены трое разбойников: Дисмас, Гестас, Вар-равван и, кроме того, этот Иешуа Га-Ноцри. Первые двое, вздумавшие подбивать народ на бунт против кесаря, взяты с боем римскою властью, числятся за прокуратором, и, следовательно, о них здесь речь идти не будет. Последние же, Вар-равван и Га-Ноцри, схвачены местной властью и осуждены Синедрионом. Согласно закону, согласно обычаю, одного из этих двух преступников нужно будет отпустить на свободу в честь наступающего сегодня великого праздника пасхи.

Итак, прокуратор желает знать, кого из двух преступников намерен освободить Синедрион: Вар-раввана или Га-Ноцри?

Каифа склонил голову в знак того, что вопрос ему ясен, и ответил:

— Синедрион просит отпустить Вар-раввана.

Прокуратор хорошо знал, что именно так ему ответит первосвященник, но задача его заключалась в том, чтобы показать, что такой ответ вызывает его изумление.

Пилат это и сделал с большим искусством. Брови на надменном лице поднялись, прокуратор прямо в глаза поглядел первосвященнику с удивлением.

— Признаюсь, этот ответ меня поразил, — мягко

заговорил прокуратор, — боюсь, нет ли здесь недоразумения.

Пилат объяснился. Римская власть ничуть не покушается на права духовной местной власти, первосвященнику это хорошо известно, но в данном случае налицо явная ошибка. И в исправлении этой ошибки римская власть, конечно, заинтересована.

В самом деле: преступления Вар-раввана и Га-Ноцри совершенно не сравнимы по тяжести. Если второй, явно сумасшедший человек, повинен в произнесении нелепых речей, смущавших народ в Ершалаиме и других некоторых местах, то первый отягощен гораздо значительнее. Мало того, что он позволил себе прямые призывы к мятежу, но он еще убил стража при попытках брать его. Вар-равван несравненно опаснее, нежели Га-Ноцри.

В силу всего изложенного прокуратор просит первосвященника пересмотреть решение и оставить на свободе того из двух осужденных, кто менее вреден, а таким, без сомнения, является Га-Ноцри. Итак?..

Каифа сказал тихим, но твердым голосом, что Синедрион внимательно ознакомился с делом и вторично сообщает, что намерен освободить Вар-раввана.

— Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайства того, в лице которого говорит римская власть? Первосвященник, повтори в третий раз.

— И в третий раз сообщаю, что мы освобождаем Вар-раввана, — тихо сказал Каифа.

Все было кончено, и говорить более было не о чем. Га-Ноцри уходил навсегда, и страшные, злые боли прокуратора некому излечить; от них нет средства, кроме смерти. Но не эта мысль поразила сейчас Пилата. Все та же непонятная тоска, что уже приходила на балконе, пронизала все его существо. Он тотчас постарался ее объяснить, и объяснение было странное: показалось смутно прокуратору, что он чего-то не дого-

ворил с осужденным, а может быть, чего-то не дослушал.

Пилат прогнал эту мысль, и она улетела в одно мгновение, как и прилетела. Она улетела, а тоска осталась необъясненной, ибо не могла же ее объяснить мелькнувшая как молния и тут же погасшая какая-то короткая другая мысль: "Бессмертие... пришло бессмертие..." Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепеке.

— Хорошо, — сказал Пилат, — да будет так.

Тут он оглянулся, окинул взором видимый ему мир и удивился происшедшей перемене. Пропал отягощенный розами куст, пропали кипарисы, окаймляющие верхнюю террасу, и гранатовое дерево, и белая статуя в зелени, да и сама зелень. Поплыла вместо этого всего какая-то багровая гуща, в ней закачались водоросли и двинулись куда-то, а вместе с ними двинулся и сам Пилат. Теперь его уносил, удушая и обжигая, самый страшный гнев — гнев бессилия.

— Тесно мне, — вымолвил Пилат, — тесно мне!

Он холодной влажной рукой рванул пряжку с ворота плаща, и та упала на песок.

— Сегодня душно, где-то идет гроза, — отозвался Каифа, не сводя глаз с покрасневшего лица прокуратора и предвидя все муки, которые еще предстоят. "О, какой страшный месяц нисан в этом году!"

— Нет, — сказал Пилат, — это не оттого, что душно, а тесно мне стало с тобой, Каифа. — И, сузив глаза, Пилат улыбнулся и добавил: — Побереги себя, первосвященник.

Темные глаза первосвященника блеснули, и, не хуже, чем ранее прокуратор, он выразил на своем лице удивление.

— Что слышу я, прокуратор? — гордо и спокойно ответил Каифа. — Ты угрожаешь мне после вынесен-

ного приговора, утвержденного тобою самим? Может ли это быть? Мы привыкли к тому, что римский прокуратор выбирает слова, прежде чем что-нибудь сказать. Не услышал бы нас кто-нибудь, игемон?

Пилат мертвыми глазами поглядел на первосвященника и, оскалившись, изобразил улыбку.

— Что ты, первосвященник! Кто же может слышать нас сейчас здесь? Разве я похож на юного бродячего юродивого, которого сегодня казнят? Мальчик ли я, Каифа? Знаю, что говорю и где говорю. Оцеплен сад, оцеплен дворец, так что мышь не проникнет ни в какую щель! Да не только мышь, не проникнет даже этот, как его... из города Кириафа. Кстати, ты знаешь такого, первосвященник? Да... если бы такой проник сюда, он горько пожалел бы себя, в этом ты мне, конечно, поверишь? Так знай же, что не будет тебе, первосвященник, отныне покоя! Ни тебе, ни народу твоему, — и Пилат указал вдаль направо, туда, где в высоте пылал храм, — это я говорю тебе — Пилат Понтийский, всадник Золотое Копье!

— Знаю, знаю! — бесстрашно ответил чернобородый Каифа, и глаза его сверкнули. Он вознес руку к небу и продолжал: — Знает народ иудейский, что ты ненавидишь его лютою ненавистью и много мучений ты ему причинишь, но вовсе ты его не погубишь! Защитит его Бог! Услышит нас, услышит всемогущий кесарь, укроет нас от губителя Пилата!

— О нет! — воскликнул Пилат, и с каждым словом ему становилось легче и легче: не нужно было больше притворяться, не нужно было подбирать слова. — Слишком много ты жаловался кесарю на меня, и настал теперь мой час, Каифа! Теперь полетит весть от меня, да не наместнику в Антиохию и не в Рим, а прямо на Капрею, самому императору, весть о том, как вы заведомых мятежников в Ершалаиме прячете от смерти. И не водою из Соломонова пруда, как хотел я для

вашей пользы, напою я тогда Ершалаим! Нет, не водою! Вспомни, как мне пришлось из-за вас снимать щиты с вензелями императора со стен, перемещать войска, пришлось, видишь, самому приехать, глядеть, что у вас тут творится! Вспомни мое слово: увидишь ты здесь, первосвященник, не одну когорту в Ершалаиме, нет! Придет под стены города полностью легион Фульмината, подойдет арабская конница, тогда услышишь ты горький плач и стенания! Вспомнишь ты тогда спасенного Вар-раввана и пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирною проповедью!

Лицо первосвященника покрылось пятнами, глаза горели. Он, подобно прокуратору, улыбнулся, скалясь, и ответил:

— Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что сейчас говоришь? Нет, не веришь! Не мир, не мир принес нам обольститель народа в Ершалаим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи! Но я, первосвященник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ! Ты слышишь, Пилат? — И тут Каифа грозно поднял руку: — Прислушайся, прокуратор!

Каифа смолк, и прокуратор услышал опять как бы шум моря, подкатывающего к самым стенам сада Ирода Великого. Этот шум поднимался снизу к ногам и в лицо прокуратору. А за спиною у него, там, за крыльями дворца, слышались тревожные трубные сигналы, тяжкий хруст сотен ног, железное бряцание, — тут прокуратор понял, что римская пехота уже выходит, согласно его приказу, стремясь на страшный для бунтовщиков и разбойников предсмертный парад.

— Ты слышишь, прокуратор? — тихо повторил первосвященник. — Неужели ты скажешь мне, что все это, — тут первосвященник поднял обе руки, и темный капюшон свалился с его головы, — вызвал жалкий

разбойник Вар-равван?

Прокуратор тыльной стороной кисти руки вытер мокрый, холодный лоб, поглядел в землю, потом, прищурившись в небо, увидел, что раскаленный шар почти над самой его головой, а тень Каифы совсем съежилась у львиного хвоста, и сказал тихо и равнодушно:

— Дело идет к полудню. Мы увлеклись беседою, а между тем надо продолжать.

В изысканных выражениях извинившись перед первосвященником, он попросил его присесть на скамью в тени магнолии и обождать, пока он вызовет остальных лиц, нужных для последнего краткого совещания, и отдаст еще одно распоряжение, связанное с казнью.

Каифа вежливо поклонился, приложив руку к сердцу, и остался в саду, а Пилат вернулся на балкон. Там ожидавшему его секретарю он велел пригласить в сад легата легиона, трибуна когорты, а также двух членов Синедриона и начальника храмовой стражи, ожидавших вызова на нижней террасе сада в круглой беседке с фонтаном. К этому Пилат добавил, что он тотчас выйдет в сад и сам, и удалился внутрь дворца.

Пока секретарь собирал совещание, прокуратор в затененной от солнца темными шторами комнате имел свидание с каким-то человеком, лицо которого было наполовину прикрыто капюшоном, хотя в комнате лучи солнца и не могли его беспокоить. Свидание это было чрезвычайно кратко. Прокуратор тихо сказал человеку несколько слов, после чего тот удалился, а Пилат через колоннаду прошел в сад.

Там в присутствии всех, кого он желал видеть, прокуратор торжественно и сухо подтвердил, что он утверждает смертный приговор Иешуа Га-Ноцри, и официально осведомился у членов Синедриона о том, кого из преступников угодно оставить в живых. Получив ответ, что это — Вар-равван, прокуратор сказал:

— Очень хорошо, — и велел секретарю тут же занести это в протокол, сжал в руке поднятую секретарем с песка пряжку и торжественно сказал: — Пора!

Тут все присутствующие тронулись вниз по широкой мраморной лестнице меж стен роз, источавших одуряющий аромат, спускаясь все ниже и ниже к дворцовой стене, к воротам, выводящим на большую, гладко вымощенную площадь, в конце которой виднелись колонны и статуи ершалаимского ристалища.

Лишь только группа, выйдя из сада на площадь, поднялась на обширный царящий над площадью каменный помост, Пилат, оглядываясь сквозь прищуренные веки, разобрался в обстановке. То пространство, которое он только что прошел, то есть пространство от дворцовой стены до помоста, было пусто, но зато впереди себя Пилат площади уже не видел — ее съела толпа. Она залила бы и самый помост, и то очищенное пространство, если бы тройной ряд себастьйских солдат по левую руку Пилата и солдат итурейской вспомогательной когорты по правую — не держал ее.

Итак, Пилат поднялся на помост, сжимая машинально в кулаке ненужную пряжку и щурясь. Щурился прокуратор не оттого, что солнце жгло ему глаза, нет! Он не хотел почему-то видеть группу осужденных, которых, как он это прекрасно знал, сейчас вслед за ним возводят на помост.

Лишь только белый плащ с багряной подбивкой возник в высоте на каменном утесе над краем человеческого моря, незрячему Пилату в уши ударила звуковая волна: "Га-а-а..." Она началась негромко, зародившись где-то вдали у гипподрома, потом стала громоподобной и, продержавшись несколько секунд, начала спадать. "Увидели меня", — подумал прокуратор. Волна не дошла до низшей точки и неожиданно стала опять вырастать и, качаясь, поднялась выше первой, и на второй волне, как на морском валу вскипает пена,

вскипел свист и отдельные, сквозь гром различимые, женские стоны. "Это их ввели на помост... — подумал Пилат, — а стоны оттого, что задавили нескольких женщин, когда толпа подалась вперед".

Он выждал некоторое время, зная, что никакой силой нельзя заставить умолкнуть толпу, пока она не выдохнет все, что накопилось у нее внутри, и не смолкнет сама.

И когда этот момент наступил, прокуратор выбросил вверх правую руку, и последний шум сдуло с толпы.

Тогда Пилат набрал, сколько мог, горячего воздуха в грудь и закричал, и сорванный его голос понесло над тысячами голов:

— Именем кесаря-императора!..

Тут в уши ему ударил несколько раз железный рубленый крик — в когортах, взбросив вверх копья и значки, страшно прокричали солдаты:

— Да здравствует кесарь!!

Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под веками у него вспыхнул зеленый огонь, от него загорелся мозг, и над толпою полетели хриплые арамейские слова:

— Четверо преступников, арестованных в Ершалаиме за убийства, подстрекательства к мятежу и оскорбление законов и веры, приговорены к позорной казни — повешению на столбах! И эта казнь сейчас совершится на Лысой Горе! Имена преступников — Дисмас, Гестас, Вар-равван и Га-Ноцри. Вот они перед вами!

Пилат указал вправо рукой, не видя никаких преступников, но зная, что они там, на месте, где им нужно быть.

Толпа ответила длинным гулом как бы удивления или облегчения. Когда же он потух, Пилат продолжал:

— Но казнены из них будут только трое, ибо, согласно закону и обычаю, в честь праздника пасхи одному

из осужденных, по выбору Малого Синедриона и по утверждению римской власти, великодушный кесарь император возвращает его презренную жизнь!

Пилат выкрикивал слова и в то же время слушал, как на смену гулу идет великая тишина. Теперь ни вздоха, ни шороха не доносилось до его ушей, и даже настало мгновенье, когда Пилату показалось, что все кругом вообще исчезло. Ненавидимый им город умер, и только он один стоит, сжигаемый отвесными лучами, упершись лицом в небо. Пилат еще придержал тишину, а потом начал выкрикивать:

— Имя того, кого сейчас при вас отпустят на свободу...

Он сделал еще одну паузу, задерживая имя, проверяя, все ли сказал, потому что знал, что мертвый город воскреснет после произнесения имени счастливец и никакие дальнейшие слова слышны быть не могут.

"Все? — беззвучно шепнул себе Пилат. — Все. Имя!"

И, раскатив букву "р" над молчащим городом, он прокричал:

— Вар-равван!

Тут ему показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему огнем уши. В этом огне бушевали рев, визги, стоны, хохот и свист.

Пилат повернулся и пошел по помосту назад к ступеням, не глядя ни на что, кроме разноцветных пашек настила под ногами, чтобы не оступиться. Он знал, что теперь у него за спиной на помост градом летят бронзовые монеты, финики, что в воющей толпе люди, давя друг друга, лезут на плечи, чтобы увидеть своими глазами чудо — как человек, который уже был в руках смерти, вырвался из этих рук! Как legionеры снимают с него веревки, невольно причиняя ему жгучую боль в вывихнутых на допросе руках, как он, морщась и охая, все же улыбается бессмысленной сумасшедшей улыбкой.

Он знал, что в это же время конвой уже ведет к боковым ступеням трех со связанными руками, чтобы выводить их на дорогу, ведущую на запад, за город, к Лысой Горе. Лишь оказавшись за помостом, в тылу его, Пилат открыл глаза, зная, что он теперь в безопасности — осужденных он видеть уже не мог.

К стону начинавшей утихать толпы примешались и были различимы пронзительные выкрики глашатаев, повторявших одни на арамейском, другие на греческом языках все то, что прокричал с помоста прокуратор. Кроме того, до слуха его долетел дробный, стрекочущий и приближающийся конский топот и труба, что-то коротко и весело прокричавшая. Этим звукам ответил сверлящий свист мальчишек с кровель домов улицы, выводящей с базара на гипподромскую площадь, и крики "берегись!".

Солдат, одиноко стоявший в очищенном пространстве площади со значком в руке, тревожно взмахнул им, и тогда прокуратор, легат легиона, секретарь и конвой остановились.

Кавалерийская ала, забирая все шире рыси, вылетела на площадь, чтобы пересечь ее в сторонке, минуя скопище народа, и по переулку под каменной стеной, по которой стлался виноград, кратчайшей дорогой проскакать к Лысой Горе.

Летящий рысью маленький, как мальчик, темный, как мулат, командир алы — сириец, равняясь с Пилатом, что-то тонко крикнул и выхватил из ножен меч. Злая вороная взмокшая лошадь шарахнулась, поднялась на дыбы. Вбросив меч в ножны, командир ударил плетью лошадь по шее, выровнял ее и поскакал в переулок, переходя в галоп. За ним по три в ряд полетели всадники в туче пыли, запрыгали кончики легких бамбуковых пик, мимо прокуратора понеслись казавшиеся особенно смуглыми под белыми тюрбанами лица с весело оскаленными, сверкающими зубами.

Поднимая до неба пыль, ала ворвалась в переулок, и мимо Пилата последним проскакал солдат с пылающей на солнце трубою за спиной.

Закрываясь от пыли рукой и недовольно морща лицо, Пилат двинулся дальше, устремляясь к воротам дворцового сада, а за ним двинулся легат, секретарь и конвой.

Было около десяти часов утра.

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН

Пасхальный крестный ход

Учат нас теперь знатоки, что маслом не надо писать все, как оно точно есть. Что на то цветная фотография. Что надо линиями искривленными и сочетаниями треугольников и квадратов передавать мысль вещи вместо самой вещи.

А я не доразумеваю, какая цветная фотография отберет нам со смыслом нужные лица и вместит в один кадр пасхальный крестный ход патриаршей переделкинской церкви через полвека после революции. Один только этот пасхальный сегодняшний ход разъяснил бы многое нам, изобрази его самыми старыми ухватками, даже без треугольников.

За полчаса до благовеста выглядит приограде патриаршей церкви Преображения Господня как топталовка при танцплощадке далекого лихого рабочего поселка. Девки в цветных платочках и спортивных брюках (ну, и в юбках есть), голосистые, ходят по трое, по пятеро, то толкнутся в церковь, но густо там в притворе, с вечера раннего старухи места занимали, девчонки с ними перетявкнутся и наружу; то кружат

по церковному двору, выкрикивают развязно, кличутся издали и разглядывают зеленые, розовые и белые огоньки, зажженные у внешних настенных икон и у могил архиереев и протопресвитеров. А парни — и здоровые и плюгавые — все с победным выражением (кого они победили за свои пятнадцать-двадцать лет? — разве что шайбами в ворота...), все почти в кепках, шапках, кто с головой непокрытой, так не тут снял, а так ходит, каждый четвертый выпимши, каждый десятый пьян, каждый второй курит, да противно как курит, прислунивши папиросу к нижней губе. И еще до ладана, вместо ладана, сизые клубы табачного дыма возносятся в электрическом свете от церковного двора к пасхальному небу в бурых неподвижных тучах. Плюют на асфальт, в забаву толкают друг друга; громко свистят, есть и матюгаются, несколько с транзисторными приемниками наянивают танцевалку, кто своих марух обнимает на самом проходе, и друг от друга этих девок тянут, петушисто посматривают; и жди как бы не выхватили ножи: сперва друг на друга ножи, а там и на православных. Потому что на православных смотрит вся эта молодость не как младшие на старших, не как гости на хозяев, а как хозяева на мух.

Все же до ножей не доходит — три-четыре милиционера для прилики прохаживаются там и здесь. И мат — не воплями через весь двор, а просто в голос, в сердечном русском разговоре. Потому и милиция нарушений не видит, дружелюбно улыбается подрастающей смене. Не будет же милиция папиросы вырывать из зубов, не будет же она шапки с голов схлобучивать: ведь это на улице, и право не верить в Бога ограждено конституцией. Милиция честно видит, что вмешиваться ей не во что, уголовного дела нет.

Растесненные к ограде кладбища и к церковным стенам, верующие не то чтоб там возражать, а озираются, как бы их еще не пырнули, как бы с рук не

потребовали часы, по которым сверяются последние минуты до воскресения Христа. Здесь, вне храма, их, православных, и меньше гораздо, чем зубоскалящей, ворошащейся вольницы. Они напуганы и утеснены хуже, чем при татарах.

Татары наверное не заседали так на Светлую Заутреню.

Уголовный рубеж не перейден, а разбой бескровный, а обида душевная — в этих губах, изогнутых по-блатному, в разговорах наглых, в хохоте, ухаживаниях, выщупываниях, курении, плевоте в двух шагах от страстей Христовых. В этом победительно-презрительно виде, с которым сопляки пришли смотреть, как их деды повторяют обряды пращуров.

Между верующими мелькают одно-два мягких еврейских лица. Может, крещеные, может, сторонние. Осторожно посматривая, ждут крестного хода тоже.

Евреев мы все ругаем, евреи нам бесперечь мешают, а оглянуться б добро: каких мы русских тем временем вырастили? Оглянешься — остолбенеешь.

И ведь, кажется, не штурмовики 30-х годов, не те, что пасхи освященные вырывали из рук и улюлюкали под чертей — нет! Это как бы любознательные: хоккейный сезон по телевидению кончился, футбольный не начинался, тоска — вот и лезут к свечному окошечку, растолкав христиан, как мешки с отрубями, и, ругая "церковный бизнес", покупают зачем-то свечки.

Одно только странно: все приезжие, а все друг друга знают, и по именам. Как это у них так дружно получилось? Да не с одного ль они завода? Да не комсорг ли их тут ходит тоже? Да, может, эти часы им как за дружину записываются?

Ударяет колокол над головой крупными ударами — но подменный: жестяные какие-то удары вместо полнзвучных глубоких. Колокол звонит, объявляя крестный ход.

И тут-то повалили! — не верующие, нет, опять эта ревущая молодость. Теперь их вдвое и втрое навалило во двор, они спешат, сами не зная, чего ищут, какую сторону захватывать, откуда будет Ход. Зажигают красные пасхальные свечечки, а от свечек — от свечек они прикуривают, вот что! Толпятся, как бы ожидая начать фокстрот. Еще не хватает здесь пивного ларька, чтоб эти чубатые вытянувшиеся ребята — порода наша мельчает! — сдували бы белую пену на могилы.

А с паперти уже сошла голова Хода и вот заворачивает сюда под мелкий благовест. Впереди идут два деловых человека и просят товарищей молодых сколько-нибудь расступиться. Через три шага идет лысенький пожилой мужичок вроде церковного ктитора и несет на шесте тяжеловатый граненый остекленный фонарь со свечой. Он опасливо смотрит вверх на фонарь, чтоб нести его ровно, и в стороны так же опасливо. И вот отсюда начинается картина, которую так хотелось бы написать, если б я мог: ктитор не того ли боится, что строители нового общества сейчас сомнут их, бросятся бить?.. Жуть передается и зрителю.

Девки в брюках со свечками и парни с папиросами в зубах, в кепках и в расстегнутых плащах (лица неразвитые, вздорные, самоуверенные на рубль, когда не понимают на пятак; и простогубые есть, доверчивые; много этих лиц должно быть на картине) плотно обегали и смотрят зрелище, какого за деньги нигде не увидишь.

За фонарем движутся двое хоругвей, но не отдельно, а тоже как от испуга стеснясь.

А за ними в пять рядов по две идут десять поющих женщин с толстыми горящими свечами. И все они должны быть на картине! Женщины пожилые, с твердыми отрешенными лицами, готовые и на смерть, если спустят на них тигров. А две из десяти — девушки, того самого возраста девушки, что столпились вокруг

с парнями, однолетки — но как очищены их лица, сколько светлости в них.

Десять женщин поют и идут сплоченным строем. Они так торжественны, будто вокруг крестятся, молятся, каются, падают в поклоны. Эти женщины не дышат папиросным дымом, их уши завешаны от ругательств, их подошвы не чувствуют, что церковный двор обратился в танцплощадку.

Так и начинается подлинный крестный ход! Что-то пробрало и зверят по обе стороны, притихли немного.

За женщинами следуют в светлых ризах священники и дьяконы, их человек семь. Но как непросторно они идут, как сбились, мешая друг другу, почти кадилом не размахнуться, орарий не поднять. А ведь здесь, не отговорили б его, мог бы идти и служить патриарх всей Руси!..

Сжато и поспешно они проходят, а дальше — а дальше Хода нет. Никого больше нет! Никаких богомольцев в крестном ходе нет, потому что назад в храм им бы уже не забиться.

Молящихся нет, но тут-то и поперла, тут-то и поперла наша бражка! Как в проломленные ворота склада, спеша захватить добычу, спеша разворовать пайки, обтираясь о каменные верей, закруживаясь в вихрях потока — теснятся, толкаются, пробиваются парни и девки — а зачем? Сами не знают. Поглядеть, как будут попы чудаковать? Или просто толкаться — это и есть их задание?

Крестный ход без молящихся! Крестный ход без крестящихся! Крестный ход в шапках, с папиросами, с транзисторами на груди — первые ряды этой публики, как они втискиваются в ограду; должны еще обязательно попасть на картину!

И тогда она будет завершена!

Старуха крестится в стороне и говорит другой:

— В этом году хорошо, никакого фулиганства. Милиции сколько.

Ах, вот оно! Так это еще — лучший год?..

Что ж будет из этих роженных и выращенных главных наших миллионов? К чему просвещенные усилия и обнадежные предвидения раздумчивых голов? Чего доброго ждем мы от нашего будущего?

Воистину: обернутся когда-нибудь и растопчут нас всех!

И тех, кто направил их сюда — тоже растопчут.

10 апреля 1966

1 день Пасхи

В. М. ШУКШИН

Мастер

Жил-был в селе Чебровка некто Семка Рысь, забулдыга, непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый — совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце... И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она — в руках. Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они — ровные от плеча до лапы, словно литые. Красивые руки. Топорик в них — игрушечный. Кажется, не зная таким рукам усталости, и Семка так, для куража, орет:

— Что мы тебе — машины? Тогда иди заведи ме-

ня — я заглох. Но сзади подходи осторожней — лягаюсь!

Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, "остолбенело все на свете", и он транжирит свои "лошадиные силы": на что угодно — поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь — милое дело.

— У тебя же золотые руки! — скажут ему. — Ты бы мог знаешь как жить!.. Ты бы как сыр в масле катался, если бы не пил-то.

— А я не хочу, как сыр в масле. Склизко.

Он всю зарплату отдавал семье. Выпивал только на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф изладить, что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, который отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет... Кабинет они оба додумались подогнать под деревенскую избу (писатель был из деревни, тосковал по родному).

— Во, дурные деньги-то! — изумлялись односельчане, когда Семка рассказывал, какую они избу уделали в современном городском доме — шестнадцатый век!

— На паркет настелили плах, обстругали их — и все, даже не покрасили. Стол — тоже из досок сколотили, вдоль стен — лавки, в углу — лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял... Лежат кошма и тулуп — и все. Потолок паяльной лампой закоптил — вроде по-черному топится. Стены горбылем обшили...

Сельские люди только головами качали.

— Делать нечего дуракам.

— Шестнадцатый век, — задумчиво говорил Семка. — Он мне рисунки показывал, я все по рисункам делал.

Между прочим, когда Семка жил у писателя в городе, он не пил, читал разные книги про старину, рассматривал старые иконы, прялки... Этого добра у пи-

сателя было навалом.

В то же лето, как побывал Семка в городе, он стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талице, что в трех верстах от Чебровки. В Талице от двадцати дворов осталось восемь. Церковка была закрыта давно. Каменная, небольшая, она открывалась взору — вдруг, сразу за откосом, который огибала дорога в Талицу... По каким-то соображениям те давние люди не поставили ее на возвышение, как принято, а поставили внизу, под откосом. Еще с детства помнил Семка, что если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте, у косогора, вздрогнешь — внезапно увидишь церковь, белую, легкую среди тяжелой зелени тополя.

В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего времени, большая, с высокой колокольной. Она тоже давно была закрыта и дала в стене трещину. Казалось бы — две церкви, одна большая, на возвышении, другая спряталась где-то под косогором — какая должна выиграть, если сравнить? Выигрывала маленькая, под косогором. Она всем брала: и что легкая, и что открывалась глазам внезапно... Чебровскую видно было за пять километров — на то и рассчитывали строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от праздного взора, и только тому, кто шел к ней, она являлась вся, сразу...

Как-то в выходной день Семка пошел опять к талицкой церкви. Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Типина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица — столько лет стоит! — молчит. Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, полоскали ее дожди, заносили снега... Но вот — стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители ее, давно распалась в прах та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер,

оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величил или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе — на людную городскую площадь — там заметят. Этого заботило что-то другое — красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа. Милый, дорогой человек!.. Не знаешь, что и сказать тебе — туда, в твою черную жуткую тьму небытия — не услышишь. Да и что тут скажешь? Ну, — хорошо, красиво, волнует, радуется... Разве в этом дело? Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что красиво. Что же?.. Ничего. Умеешь радоваться — радуйся, умеешь радовать — радуй... Не умеешь — воюй, командуй или что-нибудь такое делай — можно разрушить вот эту сказку: подложить пару килограммов динамита — дроболызнет, и все дела. Каждому свое.

Посмотрел Семка и заметил: четыре камня вверху, под карнизом, не такие, как все — блестят. Подошел поближе, всмотрелся — да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю стену. А стена — восточная, и если бы он довел работу до конца, то при восходе солнца (оно встает из-за косогора) церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки и постепенно занималась светлым огнем вся, во всю стену — от креста до фундамента. И он начал эту работу, но почему-то бросил — может, тот, кто заказывал и давал деньги, сказал: "Ладно, и так сойдет".

Семка больше того заволновался — захотел понять, как шлифовались камни. Наверно, так: сперва грубым песком, потом песочком помельче, потом — сукном или кожей. Большая работа.

В церковь можно было проникнуть через подвал — это Семка знал с детства, не раз лазил туда с ребятней. Ход в подвал, некогда закрываемый створчатой дверью

(дверь давно унесли), полуобвалился, зарос бурьяном... Семка с трудом протиснулся в щель между плитой и подножными камнями и, где на четвереньках, где согнувшись в три погибели, вошел в притвор. Просторно, гулко в церкви... Легкий ветерок чуть шевелил отставший, вислый лист железа на маковке, и шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту церкви золотыми широкими мечами.

Только теперь, обеспокоенный красотой и тайной, оглядевшись, обнаружил Семка, что между стенами и полом не прямой угол, а строгое, правильное закругление желобом внутрь. Попросту внизу вдоль стен идет каменный прикладок — примерно в метре от стены у основания и в рост человеческого высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. Для чего он, Семка сперва не сообразил. Отметил только, что камни прикладки, хорошо отесанные и пригнанные друг к другу, внизу — темные, потом — выше — светлеют и вовсе сливаются с белой стеной. В самом верху купол выложен из какого-то особенного камня, и он еще, наверно, шлифован — так светло, празднично там, под куполом. А всего-то — четыре узких оконца...

Семка сел на приступку алтаря, стал думать: зачем этот каменный прикладок? И объяснил себе так: мастер убрал прямые углы — разрушил квадрат. Так как церковка маленькая, то надо было создать ощущение свободы внутри, а ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка-квадрат. Он поэтому снизу положил камни потемней, а по мере того, как поднимал прикладок, выравнивал его со стеной, — стены, таким образом, как бы отодвинулись.

Семка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой.

На другой день Семка, сказавшись больным, не

пошел на работу, а поехал в райгородок, где была действующая церковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Батюшка отослал сына и сказал просто:

— Слушаю.

Темные, живые, даже с каким-то озорным блеском глаза нестарого еще попа смотрели на Семку прямо, твердо — он ждал.

— Ты знаешь талицкую церковь? — Семка почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на "ты". — Талица Чебровского района.

— Талицкую?.. Чебровский район... Маленькая такая?

— Ну.

— Знаю.

— Какого она века?

Поп задумался.

— Какого? Боюсь, не соврать бы. Думаю, при Алексее Михайловиче еще... Сынок-то его не очень баловал народ храмами. Семнадцатый век, вторая половина. А что?

— Красота-то какая!.. — воскликнул Семка. — Как же вы так?

Поп усмехнулся.

— Славу Богу, хоть стоит пока. Красивая, да. Давно не видел ее, но помню. Внизу, кажется?..

— А кто делал, неизвестно?

— Это надо у митрополита узнать. Этого я не могу сказать.

— Но ведь у вас же есть деньги! Есть ведь?

— Ну, допустим.

— Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно теперь...

— Ты к чему?

— Отремонтируйте ее — это же чудо! Я возьмусь отремонтировать. За лето сделаю. Двух-трех помощни-

ков мне — до холодов сделаем. Платите нам рублей по...

— Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У меня тоже есть начальство... Сходи к митрополиту! — Поп сам тоже заволновался. — Сходи, а чего! Ты веруешь ли?

— Да не в этом дело. Я, как все, а то и похуже — пью. Мне жалко — такая красота пропадает. Ведь сейчас же восстанавливают...

— Восстанавливает государство.

— Но у вас же тоже есть деньги!

— Государство восстанавливает. В своих целях. Ты сходи, сходи к митрополиту-то.

— А он где? Здесь разве?

— Нет, ехать надо.

— В область?

— В область.

— У меня с собой денег нет. Я только до тебя ехал...

— А я дам. Ты откуда будешь-то?

— Из Чебровки, столяр, Семен Рысь...

— Вот, Семен, съезди-ка! Он у нас человек... умница... Расскажи ему все. Ты от себя только?

— Как "от себя"? — не понял Семка.

— Сам ко мне-то или выбрали да послали?

— Сам.

— Ну все равно — съезди! А пока ты будешь ехать, я ему позвоню, — он уже будет знать, что к чему, примет тебя.

Семен подумал немного.

— Давай! Я потом тебе вышлю.

— Потом договоримся. От митрополита заезжай снова ко мне, расскажешь.

Митрополит, крупный, седой, вечно трезвый старик, с неожиданно тоненьким голоском, принял Семку радужно.

— Звонил мне отец Герасим... Ну, расскажи, расска-

жи, как тебя надоумило храм ремонтировать?

Семка отхлебнул из красивой чашки горячего чая.

— Да как?.. Никак. Смотрю — красота какая! И никому не нужна!..

Митрополит усмехнулся.

— Красивая церковь, я ее знаю. При Алексее Михайловиче, да. Кто архитектор, пока не знаю. Можно узнать. А земли были бояр Борятинских... Тебе зачем мастера-то знать?

— Да так, интересно. С большой выдумкой человек!

— Мастер большой, потом выясним кто. Ясно, что он знал владимирские храмы, московские...

— Ведь до чего додумался!.. — Семка стал рассказывать, как ему удалось разгадать тайну старинного мастера.

Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил: "Ишь ты!" А попутно Семка выкладывал и свои соображения: стену ту, восточную, отшлифовать, как и хотел мастер, маковки обшить и позолотить и в верхние окна вставить цветные стекла — тогда под куполом будет такое сияние, такое сияние!.. Мастер туда подобрал какой-то особенный камень, наверное, с примесью слюды... И если еще оранжевые стекла всадить...

— Все хорошо, все хорошо, сын мой, — перебил митрополит. — Вот скажи мне сейчас: разрешаем вам ремонтировать талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сделать? Я, не моргнув глазом, называю: Семен Рысь, столяр из Чебровки. Только... не разрешат мне ремонтировать, вот какое дело, сын мой. Грустное дело.

— Почему?

— Я тоже спрошу: "Почему?" А они меня спросят: "А зачем?" Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю...

— Да в Талице-то мало...

— Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты подумай-ка.

— Да не надо в ней молиться! Есть же всякие музеи...

— Вот музеи-то — как раз дело государственное, не наше.

— И как же теперь?

— Я подскажу как. Напишите миром бумагу: так, мол, и так — есть в Талице церковь в запустении. Нам она представляется ценной не с точки зрения религии...

— Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши.

— Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и — сами, своими словами... даже лучше...

— Я знаю! У меня есть такой человек! — Семка вспомнил про писателя.

— И с той бумагой — к властям. В облисполком. А уж они решат. Откажут, пишите в Москву... Но раньше в Москву не пишите, дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда могут прислать комиссию...

— Она бы людей радовала — стояла!..

— Таков мой совет. А что говорил с нами, про это не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. Прощай, сын мой. Дай Бог удачи.

Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет митрополит — дай Бог! Домина — комнат, наверно, из восьми... Во дворе "Волга" стоит. Это неприятно удивило Семку. И он решил, что действительно лучше всего иметь дело с родной Советской властью. Эти попы темнят чего-то... И хочется им, и колется, и мамка не велит.

Но сперва Семка решил сходить к писателю. Нашел его дом... Писателя дома не было.

— Нет его, — резковато сказала Семке молодая

полная женщина и захлопнула дверь. Когда он отделял здесь "избу 16-го века", он что-то не видел этой женщины. Ему страсть как захотелось посмотреть "избу". Он позвонил еще раз.

— Я сама! — услышал он за дверью голос женщины. Дверь опять открылась.

— Ну? Что еще?

— Знаете, я тут отделял кабинет Николая Ефимыча... охота глянуть...

— Боже мой! — негромко воскликнула женщина. И закрыла дверь.

"По-моему, он дома, — догадался Семка. — И, по-моему, у них идет крупный разговор".

Он немного подождал в надежде, что женщина проговорится в сердцах: "Какой-то идиот, который отделял твой кабинет", и писатель, может быть, выйдет сам. Писатель не вышел. Наверно, его правда не было.

Семка пошел в облисполком.

К председателю облисполкома он попал сразу и довольно странно. Вошел в приемную, секретарша накинулась на него:

— Почему же опаздываете?! То обижаются — не принимают, а то самих не дожدهшься. Где остальные?

— Там, — сказал Семка. — Идут.

— Идут. — Секретарша вошла в кабинет, побыла там короткое время, вышла и сказала сердито: — Проходите.

Семка прошел в кабинет... Председатель пошел ему навстречу — здороваться.

— А шуму-то наделали, шуму-то, — сказал он хоть с улыбкой, но и с укоризной тоже. — Шумим, братцы, шумим? Здравствуйте!

— Я насчет церкви, — сказал Семка, пожимая руку председателя. — Она меня перепутала, ваша помощница. Я один... насчет церкви...

— Какой церкви?

— У нас, не у нас, в Талице, есть церква семнадцатого века. Красавица необыкновенная! Если бы ее отремонтировать, она бы... Не молиться, нет! Она ценная не с религиозной точки. Если бы мне дали трех мужиков, я бы ее до холодов сделал. — Семка торопился, потому что не выносил, когда на него смотрят с недоумением. Он всегда нервничал при этом. — Я говорю, есть в деревне Талица церква, — стал он говорить медленно, но уже раздражаясь. — Ее необходимо отремонтировать, она в запустении. Это — гордость русского народа, а на нее все махнули рукой. А отремонтировать, она будет стоять еще триста лет и радовать глаз и душу.

— Мгм, — сказал председатель. — Сейчас разберемся. — Он нажал кнопку на столе. В дверь заглянула секретарша. — Попросите сюда Завадского. Значит, есть у вас в деревне старая церковь, она показалась вам интересной как архитектурный памятник семнадцатого века. Так?

— Совершенно точно! Главное, не так уж много там и делов-то: перебрать маковки, кое-где поддержать камни, может, растягу вмонтировать — повыше, крестом...

— Сейчас, сейчас... у нас есть товарищ, который как раз этим делом занимается. Вот он.

В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке.

— Игорь Александрович, займитесь, пожалуйста, с товарищем — по вашей части.

— Пойдемте, — предложил Игорь Александрович. Они пошли по длинному коридору, Игорь Александрович впереди, Семка сзади на полшага.

— Я сам не из Талицы, из Чебровки, Талица от нас... — Сейчас, сейчас, — покивал Игорь Александрович, не оборачиваясь. — Сейчас во всем разберемся.

"Здесь, вообще-то, время зря не теряют", — подумал Семка.

Вошли в кабинет... Кабинет победней, чем у председателя, — просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка с книгами.

— Ну? — сказал Игорь Александрович. И улыбнулся. — Садитесь и спокойно все расскажите.

Семка начал все подробно рассказывать. Пока он рассказывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной полке какую-то папку, полистал, отыскал нужное и, придерживая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно проявлять нетерпение. Семка заметил это.

— Все? — спросил Игорь Александрович.

— Пока все.

— Ну, слушайте. "Талицкая церковь. Н-ской области. Чебровского района, — стал читать Игорь Александрович. — Так называемая — на крови. Предположительно семидесятые-восемидесятые годы семнадцатого века. Кто-то из князей Борятинских погиб в Талице от руки недруга..." — Игорь Александрович поднял глаза от бумаги, высказал предположение: — Возможно, передрались пьяные братья или кумовья. Итак, значит.. "погиб от руки недруга, и на том месте поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник архитектуры ценности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых автор здесь не выказал. Более или менее точная копия владимирских храмов. Останавливают внимание размеры церкви, но и они продиктованы соображениями не архитектурными, а, очевидно, материальными возможностями заказчика. Перестала действовать в тысяча девятьсот двадцать пятом году".

— Вы ее видели? — спросил Семка.

— Видел. Это, — Игорь Александрович показал

страничку казенного письма в папке, — ответ на мой запрос. Я тоже, как вы, обманулся...

— А внутри были?

— Был, как же. Даже специалистов наших областных возил...

— Спокойно! — зловеще сказал Семка. — Что сказали специалисты? Про прикладок...

— Вдоль стен? Там, видите, какое дело: Борятинские увлекались захоронениями в своем храме и основательно раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их рода прекратил это. Сделали вот такой прикладок... Там, если обратили внимание, — надписи на прикладке — в тех местах, где внизу захоронения.

Семка чувствовал себя обескураженным.

— Но красота-то какая! — попытался он упорствовать.

— Красивая, да — Игорь Александрович легко поднялся, взял с полки книгу, показал фотографию храма. — Похоже?

— Похоже...

— Это владимирский храм Покрова. Двенадцатый век. Не бывали во Владимире?

— Я что-то не верю... — Семка кивнул на казенную бумагу. — По-моему, они вам втерли очки, эти ваши специалисты. Я буду писать в Москву.

— Так это и есть ответ из Москвы. Я почему обманулся: думал, что она тоже двенадцатого века... Я думал, кто-то самостоятельно — сам по себе, может быть, понаслышке — повторил владимирцев. Но чудес не бывает. Вас что, сельсовет послал?

— Да нет, я сам...

Домой Семен выехал в тот же день. В райгородок прибыл еще засветло и пошел к отцу Герасиму.

Отец Герасим был в церкви на службе. Семка отдал его домашним деньги, какие еще оставались, оставил

себе на билет и на бутылку красного, сказал, что долг выплет по почте... И поехал домой.

С тех пор про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, курил и молчал. Люди заметили это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И зачем он ездил в область, и куда там ходил, тоже не спрашивали. Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом, значит — зачем спрашивать?

1969 — 1971

В. Т. ШАЛАМОВ

Прокуратор Иудеи

Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход "Ким" с человеческим грузом. Рейс был последний, навигация кончилась. Сорокаградусными морозами встречал гостей Магадан. Впрочем, на пароходе были привезены не гости, а истинные хозяева этой земли — заключенные.

Все начальство города, военное и штатское, было в порту, все бывшие в городе грузовики встречали в Нагаевском порту пришедший пароход "Ким". Солдаты, кадровые войска окружили мол, и выгрузка началась.

За пятьсот километров от бухты все свободные приисковые машины двинулись к Магадану порожняком, подчиняясь зову селектора.

Мертвых бросали на берегу и возили на кладбище, складывали в братские могилы, не привязывая бирок, а составив только акт о необходимости эксгумации в

будущем.

Наиболее тяжелых, но еще живых — развозили по больницам для заключенных в Магадане, Оле, Армани, Дукче.

Больных в состоянии средней тяжести везли в центральную больницу для заключенных — на левый берег Колымы. Больница туда только что переехала с двадцать третьего километра. Приди пароход "Ким" годом раньше — ехать за пятьсот километров не пришлось бы.

Заведующий хирургическим отделением Кубанцев, только что из армии, с фронта, был потрясен зрелищем этих людей, этих страшных ран, которые Кубанцеву в жизни не были ведомы и не снились никогда. В каждой приехавшей из Магадана машине были трупы умерших в пути. Хирург понимал, что "легкие", транспортальные, те, что полегче, а самых тяжелых оставляют на месте.

Хирург повторял слова генерала Риджуэя, которые где-то сразу после войны удалось ему прочитать: "Фронтной опыт солдата не может подготовить человека к зрелищу смерти в лагерях".

Кубанцев терял хладнокровие. Не знал, что приказать, с чего начать. Колыма обрушила на фронтового хирурга слишком большой груз. Но надо было что-то делать. Санитары снимали больных с машин, несли на носилках в хирургическое отделение. В хирургическом отделении носилки стояли по всем коридорам тесно. Запахи мы запоминаем, как стихи, как человеческие лица. Запах этого первого лагерного гноя навсегда остался во вкусовой памяти Кубанцева. Всю жизнь он вспоминал потом этот запах. Казалось бы, гной пахнет везде одинаково и смерть везде одинакова. Так нет. Всю жизнь Кубанцеву казалось, что это пахнут раны тех первых его больных на Колыме.

Кубанцев курил, курил и чувствовал, что теряет

выдержку, не знает, что приказать санитарам, фельдшерам, врачам.

— Алексей Алексеевич, — услышал Кубанцев голос рядом. Это был Браудэ, хирург из заключенных, бывший заведующий этим же самым отделением, только что смещенный с должности приказом высшего начальства только потому, что Браудэ был бывшим заключенным, а еще с немецкой фамилией. — Разрешите мне командовать. Я все это знаю. Я здесь десять лет.

Взволнованный Кубанцев уступил место командиру, и работа завертелась. Три хирурга начали операции одновременно — фельдшера вымыли руки, как ассистенты. Другие фельдшера делали уколы, наливали сердечные лекарства.

— Ампутации, только ампутации, — бормотал Браудэ. Он любил хирургию, страдал, по его собственным словам, если в его жизни выдавался день без единой операции, без единого разреза. — Сейчас скучать не придется, — радовался Браудэ. — А Кубанцев хоть и парень неплохой, а растерялся. Фронтowej хирург! У них там все инструкции, схемы, приказы, а вот вам живая жизнь, Колыма!

Но Браудэ был незлой человек. Снятый без всякого повода со своей должности, он не возненавидел своего преемника, не делал ему гадости. Напротив, Браудэ видел растерянность Кубанцева, чувствовал его глубокую благодарность. Как-никак у человека семья, жена, сын-школьник. Офицерский полярный паек, высокая ставка, длинный рубль. А что у Браудэ? Десять лет срока за плечами, очень сомнительное будущее. Браудэ был из Саратова, ученик знаменитого Краузе и сам обещал очень много. Но тридцать седьмой год вдребезги разбил всю судьбу Браудэ. Так Кубанцеву ли он будет мстить за свои неудачи...

И Браудэ командовал, резал, ругался. Браудэ жил, забывая себя, и хоть в минуты раздумья часто ругал

себя за эту презренную забывчивость — переделать себя он не мог.

А про себя решил: "Уйду из больницы. Уеду на материк".

...Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход "Ким" с человеческим грузом — тремя тысячами заключенных. В пути заключенные подняли бунт, и начальство приняло решение залить все трюмы водой. Все это было сделано при сорокаградусном морозе. Что такое отморожение третьей — четвертой степени, как говорил Браудэ, — или обморожение, как выражался Кубанцев, — Кубанцеву дано было знать в первый день его колымской службы ради выслуги лет.

Все это надо было забыть, и Кубанцев, дисциплинированный и волевой человек, так и сделал. Заставил себя забыть.

Через семнадцать лет Кубанцев вспоминал имя, отчество каждого фельдшера из заключенных, каждую медсестру, вспоминал, кто с кем из заключенных "жил", имея в виду лагерные романы. Вспомнил подробный чин каждого начальника из тех, что поподалее. Одного только не вспомнил Кубанцев — парохода "Ким" с тремя тысячами обмороженных заключенных.

У Анатоля Франса есть рассказ "Прокуратор Иудей". Там Понтий Пилат не может через семнадцать лет вспомнить Христа.

И. А. БРОДСКИЙ

Остановка в пустыне

Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное. А впрочем, концертный зал на тыщу с лишним мест не так уж безнадежен: это — храм, и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. Но что до безобразия пропорций, то человек зависит не от них, а чаще от пропорций безобразья.

Прекрасно помню, как ее ломали. Была весна, и я как раз тогда ходил в одно татарское семейство неподалеку жившее. Смотрел в окно и видел Греческую церковь. Все началось с татарских разговоров; а после в разговор вмешались звуки, сливавшиеся с речью поначалу, но вскоре — заглушившие ее. В церковный садик въехал экскаватор с подвешенной к стреле чугунной гирей. И стены стали тихо поддаваться. Смешно не поддаваться, если ты стена, а пред тобою — разрушитель.

К тому же экскаватор мог считать
ее предметом неодушевленным
и, до известной степени, подобным
себе. А в неодушевленном мире
не принято давать друг другу сдачи.
Потом туда согнали самосвалы,
бульдозеры... И как-то в поздний час
сидел я на развалинах абсиды.
В провалах алтаря зияла ночь.
И я — сквозь эти дыры в алтаре —
смотрел на убегавшие трамваи,
на вереницу тусклых фонарей.
И то, чего вообще не встретишь в церкви,
теперь я видел через призму церкви.

Когда-нибудь, когда не станет нас,
точнее — после нас, на нашем месте
возникнет тоже что-нибудь такое,
чему любой, кто знал нас, ужаснется.
Но знавших нас не будет слишком много.
Вот так, по старой памяти, собаки
на прежнем месте задирают лапу.
Ограда снесена давным-давно,
но им, должно быть, грезится ограда.
Их грезы перечеркивают явь.
А может быть, земля хранит тот запах:
асфальту не осилить запах псины.
И что им этот безобразный дом!
Для них тут садик, говорят вам — садик.
А то, что очевидно для людей,
собакам совершенно безразлично.
Вот это и зовут: "собачья верность".
И если довелось мне говорить
всерьез об эстафете поколений,
то верю только в эту эстафету.
Вернее, в тех, кто ощущает запах.

Так мало нынче в Ленинграде греков,
да и вообще — вне Греции — их мало.
По крайней мере мало для того,
чтоб сохранить сооруженья веры.
А верить в то, что мы сооружаем,
от них никто не требует. Одно,
должно быть, дело нацию крестить,
а крест нести — уже совсем другое.
У них одна обязанность была.
они ее исполнить не сумели.
Непаханное поле заросло.
"Ты, сеятель, храни свою соху,
а мы решим, когда нам колоситься".
Они свою соху не сохранили.

Сегодня ночью я смотрю в окно
и думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там, впереди?
Не ждет ли нас теперь другая эра?
И если так, то в чем наш общий долг?
И что должны мы принести ей в жертву?

1 полугодие 1966

* * *

В деревне Бог живет не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам.
В деревне Он — в избытке. В чугуне
Он варит по субботам чечевицу,
приплясывает сонно на огне,

подмигивает мне, как очевидцу.
Он изгороди ставит. Выдает
девицу за лесничего. И, в шутку,
устраивает вечный недолет
объездчику, стреляющему в утку.
Возможность же все это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту.

6 июня 1965

Сретенье

Анне Ахматовой

Когда она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чем

не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
дитя: Он — Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в Нем". — Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. "Слова-то какие..."
И старец сказал, повернувшись к Марии:

"В лежащем сейчас на раменах твоих
падение одних, возвышение других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружием, Мария, которым

терзаема плоть Его будет, Твоя
душа будет ранена. Рана сия

даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око".

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значенье и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шагал по застывшему храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропею
душа Симеона несла пред собою

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому

дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

март 1972

КОММЕНТАРИИ

А. А. Блок. Стихотворения

Четыре стихотворения Александра Александровича Блока (1880 — 1921), вошедшие в данную антологию, представляют собою очень малую часть тех его стихотворных произведений, которые отчетливо связаны с образами и мотивами Библии (в сущности, эта связь присутствует всегда — если не прямо в тексте, то в подтексте блоковской поэзии). Но и эта малая часть может дать представление о направленности исканий и ожиданий поэта, свойственных ему с первых шагов на его пути:

Я жду — и трепет объемлет новый,
Все ярче небо, молчанье глуше...
Ночную тайну разрушит слово...
Помилуй, Боже, ночные души!

("Я жду призыва, ищу ответа...", 1901)

Кажется знаменательным то, что первому из публикуемых стихотворений — "Верю в Солнце Завета..." (1902) предпослан эпиграф из Апокалипсиса: "И дух и Невеста говорят: прииди." Это текст из заключительной XXII-ой главы Откровения Иоанна Богослова, стих 17-ый: "И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждающий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром". Множественные смыслы этого стиха — стиха свершения, освобождения, счастья — постепенно проступают в Откровении и особо поясняются главой XXI-ой:

"И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.

И я — Иоанн — увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего (...).

И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец.

Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою."

Образы и настроения Апокалипсиса в высшей степени характерны для поэзии Блока. Только в отличие от распространенного до нынешнего дня понимания

этой Книги как повествования о конце света, Блок читает ее так, как она создана Иоанном: это повествование о тяжком, мучительном пути к Солнцу Завета, к освобождению мира от скверны: "И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни". (XXI, 27).

Те же мотивы слышны и в стихотворении "Я, отрок, зажигаю свечи.." (1902; оба стихотворения входят в цикл "Стихов о Прекрасной Даме"). Ему предпослан эпиграф из Евангелия от Иоанна (III, 29): "Имеющий невесту есть жених; а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость моя исполнилась." Это Иоанн Богослов передает, сказанное другим Иоанном — Крестителем, Предтечей Спасителя. И в этих словах — зерно того грандиозного, трагического и светлого повествования, которое разворачивается в Апокалипсисе.

Стихотворение "В ночь, когда Мамай залег с ордою..." (1908) входит в цикл "На поле Куликовом", который при публикации 1912 г. Блок сопроводил примечанием: "Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди." Публикуемое стихотворение связано с решающим моментом битвы. В нем ощутима связь и с размышлениями о судьбе России, пронизывающими весь цикл:

Я не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!

("Река раскинулась. Течет, грустит лениво...").

Поэт предчувствует страшные, воистину апокалипсические испытания, которые ждут Россию: это ясно ощутимо и в последнем стихотворении — "Рожденные в года глухие..." (1914). Но вера в Солнце Завета не оставляет его:

И пусть над нашим смертным ложем
Взвьется с криком воронье, —
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят Царствие Твое!

Печ. по кн.: А. А. Блок. Собр. соч. в 8-ми тт. М.-Л., 1960-1963. Тт. 1,3.

"Верю в Солнце Завета..."

Стр. 401

Завет — в христианском понимании союз, договор Бога с человеком об искуплении грехов, о создании Царства Божия на земле.

"Я, отрок, зажигаю свечи..."

Стр. 402

"Огонь кадилый..." Кадило — металлическая чаша, подвешенная на нескольких цепочках, заполненная тлеющим углем и ароматическими вещества-

ми; применяется при богослужении.

Алтарь — возвышенная восточная часть христианского храма, где священники совершают богослужение.

"В ночь, когда Мамай залег с ордою..."

Стр. 403

Мамай (? — 1380) — татарский полководец (темник), фактический правитель Золотой Орды.

Непрядва — правый приток Дона; в междуречье Непрядвы и Дона развернулась Куликовская битва.

"Рожденные в года глухие..."

Стр. 404

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869 — 1945) — поэт, прозаик, мемуарист.

М. Горький. Мать

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков, 1868 — 1936) написал повесть "Мать" (фрагмент которой напечатан в этой антологии) в 1906 — 1907 гг., тогда же она впервые была напечатана в переводе на английский язык; на русском языке появилась с большими цензурными изъятиями в 1907 — 1908 гг., а полностью в 1917 г. Картины духовного пробуждения героини повести Пелагеи Ниловны Власовой, ее сына Павла, участия рабочих, крестьян, интеллигенции в борьбе против бесправия трудящихся, проникнуты мотивами христианской нравственности, библейскими идеями равенства и справедливости, праведной жизни и подвижничества во имя любви к ближнему.

Потому-то и душевный рост Павла Власова отмечен запоминающейся деталью: он принес и повесил на стену картину: "трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро. — Это воскресший Христос идет в Эммаус! — объяснил Павел." Имеется в виду известный сюжет из Евангелия от Луки (XXIV, 13 — 53): в день Воскресения Иисуса двое из учеников его, еще не веря воскресению, отправились в Эммаус — селение, лежавшее в 10 — 12 верстах от Иерусалима. К ним по пути присоединился Учитель, он рассказывал им Священное Писание, сердце у них горело, но "глаза их были удержаны, так что они не узнали Его". И только войдя в Эммаус и "преломив хлеб" с незнакомцем, они и глазами, и сердцем узнали Его. От этого эпизода идут основные линии повествования о духовном становлении Павла и Пелагеи Ниловны.

Как бы ни подчеркивал автор различия в позициях и характерах героев повести, которые участвуют в освободительном движении — Ниловны, Павла, Андрея Находки, Рыбина — каждый из них по-своему определяет свое отношение к Богу, и все они, по слову Матери, идут "ради всех и Христовой правды ради..." Без учета этой особенности повествования, свойственной и другим горьковским произведениям предреволюционного времени, нельзя прочесть "Мать" иначе, как однобоко и поверхностно, что и происходило на протяжении долгих десятилетий.

Печ. по кн.: А. М. Горький. Собр. соч. в 30-ти тт. М., 1949-1956. Т. 7.

Стр. 414

"*Душу воскресшую — не убьют!*" Эти слова Матери выражают важнейшую идею Евангелия, целиком посвященного воскресению человеческих душ; они близки словам апостола Павла из послания к Римлянам (VI, 9): "...Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти."

А. И. Куприн. Суламифь. Анафема

Произведения Александра Ивановича Куприна (1870 — 1938), вошедшие в эту книгу, резко различны по материалу и стилю. Повесть "Суламифь" (написана в 1907, опубликована в 1908 г.) легендарна: она представляет собою развитие мотивов ветхозаветной Книги — Песни Песней Соломона, маленького сборника прекрасной любовной лирики. Содержание повести — плод свободной фантазии, которую питает вся Книга Соломона и особенно ее 7 глава, начинающаяся стихом: "Оглянись, оглянись, Суламита, — и мы посмотрим на тебя." Плавная, ритмичная проза Куприна здесь тяготеет к библейскому стиху, тот же ритм передают песни девушки, которую царь Соломон полюбил так, как не любил ни одну из множества своих жен и возлюбленных.

Рассказ "Анафема", написанный и напечатанный в 1913 г., остро злободневен: это венок на могилу недавно умершего (1910) Л. Н. Толстого, полное любви, восторга, благодарности воспоминание о его "Казаках" и обо всем его творчестве. Сам стиль рассказа напоминает "Казаков", и купринский герой — протоиерей отец Олимпий "стихийной душой", широтой и мощью натуры похож на толстовского дядю Ерощку, как, впрочем, и на самого Куприна. "Анафема" — отважное, гневное и насмешливое выступление против преследований Толстого светской и церковной властью. Номер журнала "Аргус", где появился рассказ, был сожжен по приговору Петербургского окружного суда. Куприн напечатал "Анафему" в 10-м томе собрания сочинений, выходившего в Москве, но московская жандармерия по приказу градоначальника конфисковала этот том. При очевидном различии по материалу и стилю, легендарная повесть и злободневный рассказ прочно связаны неиссякаемым авторским жизнелюбием, его верой в Библию как источник добра и света, радости и правды. Протоиерей, который в церкви, при всем честном народе, вместо проклятия возгласил славу "земной нашей радости, украшению и цвету жизни, воистину Христа соратнику и слуге, боярину Льву", выглядит в рассказе величественным, подобным подвижникам Евангелия, и не богохульствующим, но защищающим дух Священного писания от злобного начетничества и буквоедства. "Верую истинно, по символу веры, во Христа и апостольскую церковь. Но злобы не приемлю. "Все Бог сделал на радость человеку", — вдруг произнес он знакомые прекрасные слова."

Печ. по кн.: А. И. Куприн. Сочинения в 3-х тт. М., 1954. Т. 3.

Суламифь.

Стр. 415

Суламита или *Суламифь* (разные варианты русского произношения имени) по древнееврейски означает "мирная". По предположению исследователей Библии, это имя могло произойти от названия родного города девушки Сонам,

лежавшего некогда к югу от горы Фавор (гора находилась поблизости от Назарета, где Иисус провел годы детства и юности).

Ваал-Гамон, судя по Библии, место, где был расположен виноградник царя Соломона (на склоне горного хребта Ватн-эль-Хав), к западу от капища (языческого храма) Молоха — языческого бога-идола, в жертву которому приносили малолетних детей. По библейскому преданию, Соломон отвергал этот культ и стремился его уничтожить.

Стр. 416

Тиглат-Пилеазар (совр. написание Тиглатпаласар) — царь Ассирии, вероятно, Тиглатпаласар II.

Соломон — царь Израильско-Иудейского царства в 965 — 928 гг. до н.э. Согласно Библии, автор трех ветхозаветных Книг: притчей Соломоновых, Екклесиаста, или Проповедника и Песни Песней.

Хирам Тирский — царь Тира, города-государства в Финикии (современ. Сур в Ливане), основанного в 4-м тысячелетии до н. э., достигшего расцвета в начале 1-го тысячелетия до н. э.

Себах (Сабазий) — фригийско-фракийский бог-целитель, покровитель земледелия; отождествлялся с библейским Яхве и римским Юпитером.

Стр. 420

"Глаза твои глубоки, как два озера Есевонских..." — здесь и далее речи Соломона, обращенные к Суламифи, близки стихам из главы VII "Песни Песней".

"...два озера Есевонских..." — близ Есевона, столицы Амморейского царства, созданного семитическими племенами, выходцами из Аравии; располагалось в междуречье Иордана, Арнона и Явока, близ Мертвого моря. Кедрон — ручей, протекающий между Иерусалимом и Елеонской горой, впадающий в Мертвое море, наполняется водой только в сезон дождей.

Стр. 423

Силоам — источник и водоем на окраине Иерусалима; вода его считалась священной, имеющей целебную силу.

Анафема.

Стр. 424

Анафема (греч. anathema) — в христианстве церковное проклятие, отлучение от церкви.

Епархиалка — выпускница епархиального училища (женского), куда принимались дочери священнослужителей (программа близка к гимназической).

Стр. 425

Протодьякон — старший дьякон в соборе, помощник священника, участвующий в богослужении.

Стр. 427

Архиепископ — священнослужитель высшей степени в христианской церковной иерархии.

Регент — музыкант, управляющий церковным хором.

Гомилетика — раздел богословия, изучающий проповедническую деятельность.

Стр. 428

"Распев был крюковой..." — древнейшей манерой русского православного пения является распев знаменный или крюковой (от "знамен" или "крюков" — знаков, применявшихся для записи пения): унисонное мужское пение.

Стр. 430

Псаломщик — священнослужитель, в обязанности которого входит чтение Священного Писания и пение молитв.

Требник — богослужебная книга, содержащая молитвы, которые совершаются по просьбе одного или нескольких верующих.

Стр. 433

Орарь — украшенная шитьем лента, которую священник носит на левом плече: она символизирует жар его служения.

И. А. Бунин. Лирник Родион. Роза Иерихона

Публикуемые рассказы Ивана Алексеевича Бунина (1870 — 1953) хронологически относятся к одному десятилетию. "Лирник Родион" написан и опубликован в 1913 г. Время написания "Розы Иерихона" не установлено. Он опубликован в 1924 г. и, судя по некоторым деталям содержания, написан в начале 20-х гг. Но читатель может почувствовать, что эти рассказы разделены пропастью, через которую искусство Бунина перебрасывает зыбкий и неразрушимый мост памяти.

Рассказ 1913 г. — о народной душе, выражающей себя в песне, о малороссийских лирниках — певцах, аккомпанирующих себе на лире — ручном клавишном струнном инструменте. Лирники, как и бандуристы, часто были слепыми, странствующими по городам и селам. "Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней...", — говорит автор рассказа. "Роза Иерихона" написана по воспоминаниям о путешествии на Восток — в Египет, Сирию, Палестину, в которое Бунин отправился весной 1907 г. вместе с молодой женой Верой Николаевной Муромцевой-Буниной: "...рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю Господа нашего Иисуса Христа."

Между двумя рассказами пролегли события 1917 и последующих лет, которые представлялись Бунину чудовищной и необратимой катастрофой. "Зияет перед моими глазами этот ров, вернее, бездонная могила, где лежат десятки тысяч тех, с кем я был и есмь и памяти которых я, конечно, никогда не изменю, через трупы которых никогда не полезу брататься, — писал Бунин в 1925 г. — Но могила эта отделяет и вечно будет отделять меня не от России." Именно об этом и говорят рассказы, написанные песенной прозой поэта и создающие удивительное ощущение прикосновения к нетленному и прекрасному. Читателю кажется, что и у него в руках Роза Иерихона — жесткий, колючий цветок синайских предгорий, подобный нашему перекаати-поле, способный и через годы ожить, если положить его в воду. "И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то. Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, Любовь, Память!"

Печ. по кн.: И. А. Бунин. Собр. соч. в 9-ти тт. М., 1965-1967. Тт. 4, 5.

Лирник Родион.

Стр.434

Гирло (украинск.) — разветвление речного русла.

Стр.435

Очерет — камыш.

"...много скигло рыбалок..." — много плакало (пронзительно кричало) чаек.

Затон — залив, глубоко врезавшийся в берег.

Стр.436

"дни Богдана и дни Сечи..." Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (1595 — 1657) — гетман Украины, руководитель освободительной борьбы украинского народа против гнета польской шляхты в 1648 — 1654 гг., провозгласивший воссоединение Украины с Россией (1654). Сечь Запорожская — организация украинских казаков за Днепровскими порогами, своего рода республика под управлением кошевых атаманов, существовавшая в XVI — XVIII вв.

Почаевская Божия Матерь — икона из храма в городе Почаеве на Украине.**Роза Иерихона.**

Стр.442

Иерихон — город в Палестине, существовавший в 7 — 2 тысячелетиях до н.э. По имени города назван цветок, о котором идет речь в рассказе. Мертвое море — бессточное соленое озеро на территории Израиля и Иордании, в которое впадает река Иордан. Из-за высокой солености органической жизни в озере нет (за исключением некоторых видов бактерий). Жупел — по библейским представлениям, горящая сера в аду. Иудейская пустыня — примыкает к южной оконечности Мертвого моря.

Волчец — колючие травы.

Стр.443

"...лежали перед нами ее палестины..." — слово "палестины" здесь употреблено в разговорном значении: край, местность (обычно во множественном числе — "родные палестины"); это значение взято из Библии, из Второй Книги Моисеевой, где рассказано о возвращении евреев из плена египетского в родные палестинские края.

Галилея — северная часть древней Палестины.

Рахиль — в Первой Книге Моисеевой (XXIX, XXX, XXXI) вторая жена патриарха Иакова, мать Иосифа; история любви Иакова к Рахили много раз служила материалом для произведений словесного искусства.

"...красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча..." — имеется в виду притча Иисуса о богатом, который собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет (Евангелие от Луки, XII, 16 — 27).

Н. С. Гумилев. Андрей Рублев. Слово

Публикуемые стихотворения Николая Степановича Гумилева (1886 — 1921) относятся к последнему этапу его творческого пути, когда обращение к

Библии становится для него, как и для других русских писателей "серебряного века", символом верности культуре христианского мира. Весь сборник "Костер" (1918), откуда взято стихотворение "Андрей Рублев" (1916), в сущности, об этом. Первое же его стихотворение — "Деревья" (1916) ведет читателя к свободным, совершенным "зеленым народам" земли, где "Моисеи посреди дубов, Марии между пальм...", и души их "Друг другу посылают тихий зов". Стихотворение, написанное в пору, когда приближение катастрофы слышали все, "имеющие уши" (воспользуемся библейским выражением), отличается столь свойственным Гумилеву духом решимости:

О, если бы и мне найти страну,
В которой мог не плакать и не петь я,
Безмолвно поднимаясь в вышину,
Неисчислимые тысячелетья!

По-видимому, возможность "найти страну" (в смысле узко-биографическом) у Гумилева была: в 1917 — 1918 гг. он жил в Париже и Лондоне. Но весной 1918 г. вернулся в Петроград, в страну, где было ему предназначено "Плакать и петь", и с огромной энергией взялся за литературную и культурную работу (см. об этом в первой части книги). Побуждения, питавшие его поэтическую, переводческую, просветительскую деятельность в оставшиеся поэту три года жизни, можно угадать во многих стихотворениях сборника, например, в "Канцоне второй" (1918):

...Если, Господи, это так,
Если праведно я пою,
Дай мне, Господи, дай мне знак,
Что я волю понял Твою.

По свидетельству А. А. Блока, Гумилев сказал ему об этом стихотворении: "Тут вся моя политика". Эти слова можно понять широко: вся жизненная и поэтическая позиция, а не только отношение к проблемам власти, государства и т.д. Тем более и канцона — в исконном значении — песня о рыцарской любви. Несомненно, рыцарственность — в нравственном смысле — высший идеал для Гумилева.

Печ. по кн.: Н. С. Гумилев. Стихотворения и поэмы. Л., Сов. писатель, 1988.

Андрей Рублев.

Стихотворение написано и впервые опубликовано в 1916 г.

Стр. 443

Андрей Рублев (около 1370 — около 1430) — живописец, создатель иконы "Троица", икон и фресок московских и владимирского соборов, родоначальник московской школы иконописцев. Автор стихотворения, можно полагать, имеет в виду не какие-либо определенные работы художника, где создан "лик жены", например, его "Благовещение", "Рождество Христово", "Крещение", написанные для Благовещенского собора в Москве, или его икону "Владимирская Богоматерь". Поэт передает свое представление о стиле живописи великого мастера,

о его труде, который "благословеньем Божиим стал". Стихотворение полно воспоминаний о Книге бытия, о Песне Песней Соломона.

Стр. 444

"*Два вещей сирина, два глаза...*" Сирин в русской мифологии — фантастическое существо — райская женщина-птица, обладающая даром предвидения.

Серафим — согласно Библии, ангел из ближайшего окружения Бога, наделенный шестью крылами (об этом образе см. также в первой части книги — в размышлениях о пушкинском стихотворении "Пророк").

Слово.

Стихотворение написано и опубликовано в 1921 г. (В сборнике "Огненный столп", о котором см. в первой части книги).

"*Солнце останавливали словом...*" Имеется в виду рассказанное в Книге Иисуса Навина событие, когда Навин, сподвижник Моисея, полководец, вождь израильского народа, в битве против войска пяти царей Ханаанских словом остановил солнце над полем сражения: "И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим." (X, 10 — 14).

Стр. 445

"*Словом разрушали города*". — Напоминание о еще одном событии из той же Книги (VI), когда стены города Иерихона пали от народного клика и звуков труб.

"*И в Евангелии от Иоанна Сказано, что слово — это Бог.*" — Евангелие от Иоанна (I, 1).

С. А. Есенин. Стихотворения

Характернейшая особенность поэзии Сергея Александровича Есенина (1895 — 1925), которая проявилась в ранних творениях поэта и сохранялась до конца его пути, — неразложимое единство природных, фольклорных (по истокам — языческих) и христианских начал. Это особенность традиционная, идущая, по крайней мере, от "Слова о полку Игореве" через всю русскую поэзию (см. об этом в первой части книги), и приобретающая у Есенина особую, сразу узнаваемую тональность сельской — лесной, полевой, земледельческой, пастушеской — жизни. В его стихах рано возникает и входит в читательское сердце видение русского мира, русского дома-храма.

Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

(*"Гой ты, Русь моя родная..."*, 1914).

И в приметах родного быта, в обычаях, в самом привычном течении народной жизни поэт всегда ощущает это естественное "обрусение" тысячелетних традиций:

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогами
На лугах веселый пляс.

Спас — название трех праздников, связанных со Спасителем: первый, отмечаемый 14 августа на Руси так и называется — "медовым", т.к. в это время обычно вырезают соты из ульев и освящают мед; второй празднуют 19 августа, в пору уборки яблок в садах, и до наступления этого праздника есть яблоки считается грехом; третий Спас приходит 29 августа, это "Спас на полотне" (память о плащанице, на которой, по христианской легенде, нерукотворно запечатлелся лик Христа); еще этот Спас именуют хлебным: он приходится на период жатвы.

С годами в стихах Есенина реже встречаются прямые сочетания библейских и фольклорно-природных мотивов, как это было, скажем, в стихотворении 1917 г. "О пашни, пашни, пашни..."

И мыслил и читал я
По Библии ветров,
И пас со мной Исая
Моих златых коров.

Но в "подтексте" его произведений трудно не ощутить ту живую память о святой пашне, о доме — храме, о причащении у ручья, без которой не было бы поэта Есенина:

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

Печ. по кн.: С. А. Есенин. Сочинения в 2-х тт. М., 1989.

"Пойду в скуфье смиренным иноком..." Стихотворение написано и впервые опубликовано в 1915 г. Переработано автором для четырехтомного Собрания стихотворений, вышедшего посмертно в 1926 — 1927 гг. Скуфья — головной убор священнослужителя, надеваемый вне храма. Инок — обобщенное наименование монашествующих в православной церкви.

Стр. 446

Прясло — звено изгороди от столба до столба.

"Проплясал, проплакал дождь весенний...". Написано и впервые опубликовано в 1918 г.

Стр. 447

Пилат — Понтий Пилат, римский наместник (правитель, прокуратор) Иудеи в 26 — 36 гг., приговоривший Иисуса Христа к распятию, несмотря на убеждение в Его невиновности; отличался жестокостью и лихоимством в течение всего правления; по имеющимся историческим сведениям, был судим римскими властями про делу об убийстве жителей Галилеи в храме, во время молитвы, отправлен в ссылку, где наложил на себя руки.

"Или, Или, Лима Савахвани..." (Или, Или! лама савахфани?) — слова распятого Иисуса Христа перед кончиной: "Отец, Отец! зачем Ты меня оставил?" (Евангелие от Марка, XV, 34; Евангелие от Матфея, XXVII, 46).

Иорданская голубица. Поэма написана и впервые опубликована в 1918 г. Согласно Евангелию (от Марка, I, 10; от Матфея, III, 16), когда Иоанн Предтеча крестил Иисуса в Иордане, отверзлось Небо и снизошел Дух Божий в виде голубя.

Стр. 450

"*Бродит апостол Андрей.*" — Андрей, брат Петра, называемый Первозванным, потому что первым пошел за Учителем (Евангелие от Марка, I, 29), по преданию, изложенному в "Повести временных лет" (см. первую часть книги и комментарий к "Повести") странствовал по славянской земле, пройдя путь от Черного до Балтийского моря.

Стр. 451

Авраам — согласно Библии (Первая книга Моисеева (XVII, 5) патриарх, родоначальник евреев.

Пантократор. Поэма написана и опубликована в 1920 г.

Стр. 452

Пантократор (греч. pantokrator — всевластитель) — в христианском храме (на своде купола) поясное изображение Христа, благословляющего правой рукой и держащего Евангелие в левой.

Стр. 453

"*Предстать у ворот золотых*". — Имеются в виду райские ворота.

В. Ф. Ходасевич. Путем зерна. Слезы Рахили

Этими стихотворениями Владислава Фелициановича Ходасевича (1886 — 1939) начинался сборник, который явился свидетельством творческой зрелости автора. Первое из стихотворений, написанное в 1917 г., дало название и сборнику — "Путем зерна" (1920). Можно полагать, что библейские образы, которые лежат в основе стихотворений, особо значительны для поэта, открывают глубины его мирозерцания. Притча о сеятеле, рассказанная Иисусом (Евангелие от Матфея, XIII, 3 — 8), Его же притча о пшеничном зерне, которое должно умереть в земле, чтобы воскреснуть во многих зернах (Евангелие от Иоанна, XII, 24) — все это для поэта выражение вечных начал жизни, поэзии, человеческого бытия:

...Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.
И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год...

История Рахили, праматери израильтян, рассказанная в Первой Книге Моисеевой (XXIX, XXX, XXXI, XXXV), образ ее, плачущей о детях своих — о народе, изгнанном с родной земли, страдающем в плену (Книга пророка Иеремии, XXXI, 15 — 17), о младенцах, погубленных царем Иродом (Евангелие от Матфея, II,

18) — все это вспоминает поэт в 1916 г., в обстановке мучительной войны и приближающейся смуты, чтобы понять себя и время, не впадая в отчаяние, но и не обольщаясь иллюзиями:

Горе нам, что по воле Божьей
В страшный час сей мир посетили!
На щеках у старухи прохожей
Горячие слезы Рахили.

Начатая первыми стихотворениями сборника "Путем зерна" дорога самопознания в свете Библии пройдет до конца этой и последующих стихотворных книг Ходасевича. Будут чередоваться свет и тьма, отчаяние и надежда. Полно нежности и радости стихотворение "Хлебы" (1918), где изображается любимая женщина, пекущая хлебы, в окружении помощников — Божьих ангелов, где славятся "Земля, любовь и труд." Но часто, слишком часто, чуткая отзывчивость побуждает поэта ждать неотвратимых бедствий:

Все жду: кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бедный окровавит
Торцовую сухую пыль.

И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется,
И станет горькою вода.

(Из окна. 1921)

Это, конечно, напоминание о звезде Полюнь, которая должна пасть на реки и источники вод, чтобы сделать их смертельно горькими (Откровение Иоанна Богослова, VIII, 10, 11).

Печ. по кн.: В. Ф. Ходасевич. Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991.

О. Э. Мандельштам. Стихотворения

Четыре стихотворения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891 — 1938), помещенные в этой книге, составляют малую часть его произведений, связанных с библейской проблематикой, но они могут дать читателю представление о том, как и ради чего поэт связывает или соотносит создаваемые им образы с образами Библии. Стихотворения обозначают вехи творческого пути Мандельштама — от первого сборника "Камень" (1913), вышедшего в Петербурге, до рукописных "Воронежских тетрадей" (1934 — 1937), публикация которых началась лишь через три десятилетия после гибели поэта в пересыльном лагере под Владивостоком.

Важнейшие черты "библейстики" Мандельштама, как и его творческой

манеры вообще, можно уловить уже в самом раннем из четырех стихотворений — "Отравлен хлеб и воздух выпит" (1913). Оно начинается мощной метафорой первого стиха, который стал и названием. Метафора воспринимается читателем так остро, непосредственно, как будто это ему самому, перенесенному в атмосферу кануна первой мировой войны, перехватило горло. Но уже третий стих — "Иосиф, проданный в Египет..." безмерно расширяет пространство и время, выводя читателя в мир Ветхого Завета. И далее появление бедуинов под звездным небом пустыни кажется неизбежным, тем более, что их песни, пробужденные простыми событиями кочевой жизни, раскрывают суть всех поэтических "наитий", и самой поэзии как взлета от повседневности к небу:

И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает — остается
Пространство, звезды и певец!

Печ. по кн.: О. Э. Мандельштам. Избранное. М., 1991. Т. 2.

"Среди священников левитом молодым..." Написано в 1917 г., опубликовано в 1922 г.

Стр. 457

Левит — исконно потомок Левия, согласно Ветхому Завету, — третьего сына патриарха Иакова; одно из колен левитов в период исхода евреев из Египта получило право совершать богослужение во храмах, быть младшими священнослужителями (Вторая Книга Моисеева, XXXII, 25 — 29).

"На страже утренней..." — судя по Книге Неемии (VII, 1-5, XI, 1, 2), стража была учреждена им для охраны Иерусалима, разрушенного и опустошенного войсками Вавилонского царя Навуходоносора II (588 г. до н. э.).

"И храм разрушенный угрюмо созидался..." — судя опять-таки по Книге Неемии (II, III, IV, VI), можно полагать, что подразумевается восстановление Иерусалимского храма, которое осуществлялось под руководством Неемии.

Стр. 458

Евфрат — река, берущая начало в Армянском нагорье, течет через земли Турции, Сирии, Ирака, в нижнем течении сливается с рекой Тигр и впадает в Персидский залив.

Иудея — часть Израильско-Иудейского царства (XIII — X вв. до н.э.), самостоятельное царство в X — VI вв. до н.э., завоеванное Вавилонскими войсками в VI в. до н.э.

Суббота — праздник, по представлениям иудейской веры, установленный самим Богом во времена сотворения мира.

Семисвечник (семисвечник) — светильник из семи ветвей, принадлежность иудейского и христианского богослужения.

"В хрустальном омуте какая крутизна!". Написано в 1919, впервые опубликовано в 1922 г.; судя по биографическим обстоятельствам, навеяно впечатлениями путешествия по Армении, но, как и вся лирика поэта не может быть истолковано в узкобиографическом или страноведческом духе. "За нас сиенские предстательствуют горы..." Сиена — провинция в Италии (центр — город с тем же названием, сохранивший многие средневековые памятники —

соборы, церкви и дворцы); горы Сиены славятся красотой и сиенитом — горной породой, с древних времен применяемой в строительстве для декоративных целей.

"*Овчины пастухов и посохи судей*". — Здесь и далее возникают образы, в которых неразделимо соединяются впечатления горного путешествия (см. книгу Мандельштама "Путешествие в Армению", 1933) и память о горах Палестины, о краях, где рождалось христианство.

Палестрина (Джованни Пьерлуиджи да Палестрина, около 1525 — 1594) — итальянский композитор, глава римской полифонической школы, автор многих произведений на духовные темы.

Тайная вечеря. Написано в 1937 г., в Воронеже, впервые опубликовано за рубежом в 1964 г. В стихотворении соединились, как можно полагать, впечатления весенней ночи, воспоминания о евангельском повествовании, предощущение собственной судьбы и многое другое; все это не может быть переведено на язык логики.

Стр. 459

Вечеря — на древнерусском языке означает ужин (форма сохранилась в украинском языке и диалектах русского языка). Тайная вечеря — пасхальный ужин Спасителя с учениками накануне ареста, суда и казни (см. Евангелие от Иоанна, XIII).

А. А. Ахматова. Стихотворения. Реквием

О произведениях Анны Андреевны Ахматовой (1889 — 1966), связанных с Библией, шла речь в первой части книги. Не повторяя сказанного, добавим одну мысль, которая представляется важной для раздумий над публикуемыми здесь ахматовскими произведениями, разумеется, далеко не охватывающими всего, что относится к теме нашей антологии. Ахматовой, как никому из поэтов XX века, удалось почувствовать и передать трагедийность, свойственную Библии, — от Книги Бытия до Откровения Иоанна Богослова.

Наверное, для этого надо было родиться на рубеже XIX — XX веков и именно в России, испытавшей в конце второго тысячелетия едва ли не все, предначертанное Апокалипсисом, кроме прекрасного его финала. Но надо было еще понять свой дар, свое призвание так, как это произошло с Ахматовой в начале поэтического пути:

Не тот ли голос: "Дева! встань..."
Удары сердца чаще, чаще.
Прикосновение сквозь ткань
Руки, рассеянно крестящей.

(*Исповедь*, 1911)

Читатель, накопивший опыт размышлений над этой антологией, конечно, узнал текст из Евангелия от Марка (V, 41), рассказывающий о воскрешении

дочери Иаира.

Печ. по кн.: А. А. Ахматова. Стихотворения. Поэмы. Проза. Томск, 1989.

Рахиль. Из цикла "Библейские стихи". Написано в 1921 г., впервые опубликовано в составе сборника "ANNO DOMINI MCMXXI" ("Лета Господня 1921 -го"). История Рахили рассказана в Первой Книге Моисеевой (XXIX), откуда взят эпиграф к стихотворению. (См. также комментарий к стихотворению Ходасевича "Слезы Рахили".)

Стр. 460

Лаван — отец Лии и Рахили, которому Иаков отслужил за Рахиль семь лет. Обманутый Лаваном, он согласился служить за свою любимую еще семь лет.

Лотова жена. Написано в 1924 г. Опубликовано в составе цикла в последней прижизненной книге Ахматовой — "Бег времени" (1965). История Лота и его жены, которые были выведены ангелом из обреченного на гибель Содома, с запрещением оглядываться, рассказана в Первой Книге Моисеевой (XIX). (См. также размышления об этом стихотворении в первой части.)

Мелхола. Написано в 1922 г., подготовлено для публикации в сборнике "Бег времени" в 1961 г. История Саула, первого царя Израильского, его преемника Давида, его дочери Мелхолы, ставшей женою Давида, рассказана в Первой Книге Царств (IX — XXI).

Стр. 462

Лилит — в апокрифических ветхозаветных книгах (не признанных церковью священными) и в фольклорных преданиях Лилит — первая жена Адама.

Реквием. Поэма, как свидетельствует датировка ее частей, складывалась в 1935 — 1940 гг. Отдельные стихотворения, вошедшие в нее, появлялись в печати с 1940 г. В 60-е гг. поэма получила широкое распространение в списках и была опубликована за рубежом. Первая публикация в России — 1987 г. Реквиемом называется заупокойная служба, начинающаяся словами: "Requiem aeternam..." — "Вечный покой..." В сознании российских читателей слово "реквием" прочно связано с трагедией Пушкина "Моцарт и Сальери". В поэме нашли отражение события личной судьбы автора, в частности, неоднократные аресты и заключение сына Ахматовой Льва Николаевича Гумилева, мужа Николая Николаевича Пунина, стояние в тюремных очередях с передачами и для выяснения судьбы заключенных; в сознании автора и восприятии читателей эта поэма посвящена трагедии России.

Стр. 463

Эпиграф — последняя строка стихотворения Ахматовой "Так не зря мы вместе бедовали..." (1961), которое тематически продолжает поэму.

Ежовщина — годы с 1936 по 1938, когда наркомом внутренних дел СССР был Н. И. Ежов; он стал послушным орудием в руках И. В. Сталина для развязывания самых кровавых репрессий, разгула доносов и пыток; в 1940 г. был превращен в жертву лицемерной политики Сталина и казнен по приговору Верховного суда "за необоснованные репрессии против советского народа". Репрессии продолжались...

Стр. 464

"Каторжные норы" — цитата из пушкинского послания "В Сибирь" (1827).

"Подымались, как к обедне ранней..." — к утренней церковной службе.

"Двух моих осатанелых лет?" (Далее см.: "Семнадцать месяцев кри-

чу..." — 1938 — 1939 гг., когда сын Ахматовой был вторично арестован, находился в тюрьме и лагере (в первый раз он был арестован в 1935 г., в третий — в 1949 г.) Аресты сына были, несомненно, не только расправой с ним самим за "вольномыслие", но и средством преследования матери — поэта, "неудобного" тиранической власти.

Стр. 465

"Черные маруси" — так называли ленинградцы автомашины, в которых возили арестованных.

"...стрелецкие женки..." — имеются в виду жены стрелцов, подвергнутых Петром жестоким массовым казням (1698).

"Муж в могиле, сын в тюрьме..." — Н. С. Гумилев был расстрелян в 1921 г. Стихи "Вступления" — не только о личной судьбе: сотни тысяч, если не миллионы, матерей и жен оставались одинокими, потому что их мужья и сыновья были брошены в сталинские застенки.

Стр. 466

Кресты — тюрьма в Ленинграде.

Стр. 467

"И скорой гибелью грозит огромная звезда." — Напоминание о звезде Полюнь (Откровение Иоанна Богослова, VIII, 10, 11); см. также комментарий к стихотворению Ходасевича "Слезы Рахили".

"О твоём кресте высоко..." — напоминание о Христовом распятии, ставшем символом страдания за людей.

Стр. 468

"...верх шапки голубой" — военнослужащие НКВД носили фуражки с голубым околышем и голубые петлицы.

Стр. 469

"Не рыдай Мене, Мати, во гробе зряще." — Эпиграф к "Распятию" из канона (песнопения) Страстной пятницы Великого поста перед Пасхой. В тексте "Распятия" слова Иисуса перед кончиной приводятся по Евангелию от Иоанна (XIX, 25).

Стр. 471

"Для них соткала я широкий покров..." — Напоминание о христианском предании, которое рассказывает, как Богородица в Константинопольском храме простерла над верующими белый покров и вознесла молитву о спасении мира от страданий. В честь этого установлен праздник Покрова Богородицы (отмечается 14 октября).

Б. Л. Пастернак. Стихотворения

Стихотворения Бориса Леонидовича Пастернака (1890 — 1960), напечатанные в нашей антологии, взяты из его романа "Доктор Живаго" (1957). Читая и обдумывая их, необходимо учитывать как бы "двойное авторство": стихи принадлежат герою романа, но герой, как и весь роман, представляют собою творение писателя. У доктора Юрия Андреевича Живаго, духовно близкого его творцу, есть свой собственный облик, своя биография, свои взгляды на разные явления мира, в том числе — на библейские истины и заветы. Для него Библия,

прежде всего, Откровение в самом высоком смысле этого слова, свод открытий, выявляющих основные законы человеческого бытия. Вот одна из его немногих дневниковых записей — размышление о жене, которой предстоит рождение ребенка: "Мне всегда казалось, что каждое зачатие непорочно, что в этом догмате, касающемся Богоматери, выражена общая идея материнства."

На всякой рожавшей лежит тот же отблеск одиночества, оставленности, предоставленности себе самой. Мужчина до такой степени не у дел сейчас, в это существеннейшее из мгновений, точно его и в заводе не было и все как с неба свалилось. Женщина сама производит на свет свое потомство, сама забирается с ним на второй план существования, где тише, и куда без страха можно поставить люльку. Она сама в молчаливом смирении вскармливает и вырашивает его.

Богоматерь просят: "Молися прилежно Сыну и Богу Твоему"... Так может сказать каждая женщина. Ее бог в ребенке."

Нечто сходное по сути можно видеть и в стихотворении "Гамлет" (1946). Мучительные раздумья Иисуса в Гефсиманском саду, в ночь перед судом и казнью, выступают здесь как выражение всеобщего закона духовной жизни: актер, поэт, человек вообще неизбежно встанет перед трудным выбором, который в конечном счете сделает он сам, на себя беря всю ответственность.

Отношение Пастернака-Живаго к Библии может быть отчасти прояснено и суждениями героя романа об искусстве. Его дневниковые записи, его стихи свидетельствуют, что библейский образный мир для него столь же реален, как всякое подлинное, "в единственном числе остающееся искусство", когда бы и где бы оно ни создавалось. Но что такое это искусство? По мнению Живаго, это отнюдь не предмет формы, это скорее таинственная и скрытая часть содержания: "Это какая-то мысль, какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте на отдельные слова не разложимое, и когда крупница этой силы входит в состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь искусства перевешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой изображенного."

Печ. по кн.: Б. Л. Пастернак. Избранное в 2-х тт. М., 1985. Т. 1.

Гамлет. Написано в 1946, впервые опубликовано в 1957 г. (в составе опубликованного за рубежом романа "Доктор Живаго"). Стихотворение относится ко времени, когда Пастернак писал "Заметки к переводам шекспировских драм". По поводу переведенной им в 1941 г. трагедии "Гамлет" поэт говорит, что это — "драма высокого жребия, заповедованного подвига, вверенного предназначения".

Стр. 472

"*Авва Отче*" — приблизительно "Любимый и высокочтимый Отец": "Авва" — обращение к отцу, к главе семьи, выражающее высшую степень любви, доверия, покорности. Это обращение Иисуса к Отцу Небесному приведено только в одном Евангелии — от Марка (XIV, 36).

"...*Все тонет в фарисействе.*" — Фарисеи — представители общественно-религиозного течения в Иудее II в. до н. э. — II в. н. э. В Евангелии часто именуются лицемерами. Фарисейство в переносном значении — лицемерие, ханжество.

На Страстной. Написано в 1946 — 1947 гг., впервые опубликовано в

1957 г. Страстная неделя — последняя неделя Великого поста перед Пасхой.

Стр. 473

Псалтырь (Псалтирь) — Книга Ветхого Завета, содержащая псалмы.

Царские врата — в православном храме двустворчатая резная дверь в центральной части иконостаса.

Стр. 474

Крестный ход — шествие духовенства и верующих с иконами и другими священными предметами, с пением молитв; проводится по церковным праздникам и в чрезвычайных обстоятельствах, в связи с общественными потрясениями, бедствиями, чтобы умиловать Бога.

Плащаница — полотнище с изображением тела Иисуса после снятия Его с креста. В великую пятницу торжественно выносятся из алтаря на середину храма.

Просфора — особая булочка круглой формы, в христианском обряде причащения (евхаристии) служащая символом тела Христова.

Паперть — площадка перед входом в христианский храм, к которой обычно ведут несколько ступеней.

Ковчег — в христианстве общее название предметов церковного обихода, служащих вместилищем культовых реликвий.

Апостол — здесь название древней богослужебной книги, содержащей тексты Нового Завета (кроме четырех Евангелий), которые читаются во время богослужения.

Рождественская звезда. Написано около 1953 г., впервые опубликовано в 1957 г. Имеется в виду звезда, которая привела восточных мудрецов — звездочетов в Вифлеем — к месту рождения Спасителя (Евангелие от Луки, II; Евангелие от Иоанна, I).

Стр. 475

Вертеп — здесь пещерный хлев, в котором, по библейскому преданию, находились Богоматерь с новорожденным Младенцем из-за отсутствия мест на постоянных дворах.

Магдалина (I и II). Оба стихотворения написаны около 1953 г., впервые опубликованы в 1957 г. Их источник евангельские рассказы о Марии из галилейского города Магдалы (Евангелия от Матфея, XXVII, от Марка, XV, от Луки, VIII, от Иоанна, XIX), которая была исцелена Спасителем, стала верной Его ученицей и помощницей, присутствовала при казни и погребении Иисуса и первой увидела Его воскресшим.

Стр. 478

Алавастровый сосуд — алебастровый.

Стр. 479

Бурнус — плащ с капюшоном из белой шерстяной материи.

Стр. 480

Сивиллы — легендарные предсказательницы, о которых рассказывают античные авторы.

Гефсиманский сад. Даты написания и публикации те же, что у предыдущих стихотворений. История ночи, проведенной Иисусом перед арестом, судом и казнью, рассказана во всех четырех Евангелиях, упоминалась многократно в первой части книги и в комментариях. События, о которых говорится в стихотворении, изложены ближе всего к Евангелию от Луки (XX).

М. И. Цветаева. Стихотворения

О Марине Ивановне Цветаевой (1892 — 1941) невозможно сказать, как говорилось о других поэтах, что она в своих стихах обращается к Библии, к тем или иным сюжетам, образам, мотивам. Здесь происходит нечто иное: библейское, преображенное в художественном мире поэта, входит или, скорее, врывается в цветаевскую поэзию и живет в ее глубине, в стихии подтекста, обозначенное скупым и мгновенным словом-сигналом. Посмотрите стихи знаменитого цикла "Ученик" (1921); в нашей антологии печатаются стихотворения первое и второе, (всего их семь). Перед нами явления вечные, как человечество, которое изначально и по сей день живет дотоле, доколе сохраняется передача культуры от поколения к поколению, от учителей — к ученикам. Цветаева пишет о высоком, апостольском по духу ученическом служении, которому она, поэт резко своеобразный, воинственно независимый, не однажды посвящала себя. Но то, что ученик — в идеале — видится ей библейским апостолом, готовым платить жизнью за верность своему Учителю, за распространение Его учения среди людей, — об этом читатель способен лишь догадаться, если воображение его разбужено. Вот первое четверостишие:

Быть мальчиком твоим светлоголовым, —
О, через все века! —
За пыльным пурпуром твоим брести в суровом
Плаще ученика.

Мысль о вечности, цвет плаща учителя (не багряница ли, в которую римские солдаты облили Учителя перед распятием и которая покрылась пылью в пути до Голгофы?), суровость ученического плаща (простого плаща из неотбеленной верблюжьей шерсти, в котором ходил обычно христианский апостол, помнящий заповеди Учителя) — вот, пожалуй, детали, которые погружат читателя в библейский мир. Далее мелькнет упоминание о царе Давиде, к роду которого принадлежал Иисус как Сын Человеческий, потом о спящих учениках: уж наверное о ночи в Гефсиманском саду, когда глаза молодых учеников Иисуса "отяжелели", когда Учитель просил их бодрствовать вместе с Ним, а их валил на траву необоримый сон. Но о стихотворениях цикла известно и другое: они обращены к Сергею Михайловичу Волконскому (1860 — 1937), внуку декабриста, писателю и театральному деятелю, которого Цветаева безмерно уважала, с которым дружила долгие годы. И биографическое истолкование стихотворений цикла вполне уместно — разумеется, во взаимодействии с иными трактовками. Даже стихотворения, самым названием соотнесенные с Евангелием, — цикл "Магдалина" (1923; в книге печатается последнее стихотворение цикла) невозможно истолковать, опираясь лишь на библейский сюжет; здесь все преобразовано собственным переживанием. В черновой тетради сохранилась запись, сделанная Цветаевой в период работы над циклом: "Когда мы говорим: Магдалина, мы видим ее рыжие волосы над молодыми слезами. Старость и плачет скупое. Мария Магдалина принесла Христу в дар свою молодость, — женскую молодость, со всем, что в ней бьющегося, льющего, рвущегося." В таком видении ощутимы черты, свойственные автору, лирической героине многих ее

произведений. Сопоставив стихотворение Цветаевой с одноименным циклом Пастернака (см. предыдущий раздел), читатель заметит и родство поэтов, и различие в их подходах к одному сюжету. Оба поэта перевоплощаются в своих героев. Стихотворение Пастернака — внутренний монолог Магдалины, создающий близкий автору, но отделившийся от него поразительно живой образ; стихотворение Цветаевой — внутренний монолог Иисуса, рисующий образ Магдалины — и этот образ всей кровью связан с авторским.

Ученик (стихотворения первое и второе). Написаны в 1921, впервые опубликованы в 1923 г. Эпиграф к циклу принадлежит Цветаевой, обращен к адресату цикла — С. М. Волконскому. Эпиграф ко второму стихотворению — из стихотворения Ф. И. Тютчева "Видение" (1829). Вот его начало:

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.

Печ. по кн.: М. И. Цветаева. Сочинения в 2-х тт. М., Худ. лит., 1984.

Стр. 483

Пурпур (от лат. *purpura* — пурпурная улитка) — ярко-красная краска с фиолетовым оттенком, которую добывали из улиток и широко употребляли на Востоке для окраски тканей; из пурпурной ткани изготовляли одежды царствующих лиц, священнослужителей, воинов; перед казнью Спасителя пурпурная одежда — багряница — была надета на Него в насмешку.

Давид — царь Израильско-Иудейского государства в конце XI — начале X в. до н. э., один из авторов и героев ветхого Завета (см. Первую книгу Царств, XVIII, XXIV, XXVI; Вторую книгу Царств, II, V, XII, XI — II; Псалтирь).

Первое солнце. Написано в 1921, впервые опубликовано в 1923 г.; название дано в 1940 г.

Стр. 485

Адам и Ева — прародители человечества (см. Первую книгу Моисееву, I — V).

"...*Муж: Крылатое солнце древних!*" — видимо, Гелиос, в греческой мифологии могучий бог солнца, который ежедневно на колеснице, влекомой огненными конями, объезжает небо, начиная свой путь с Океана.

Магдалина. Цикл создан в 1923 г.; впервые опубликован в 1928 г. См. выше комментарий к одноименному циклу стихотворений Пастернака.

Стр. 486

Миро (мирра) — ароматическое вещество, добываемое из смолы деревьев рода коммифора; употребляется при религиозных обрядах и в медицине; под тем же названием известен ароматический состав, приготавливаемый на основе оливкового масла и применяемый для совершения миропомазания — одного из семи христианских таинств.

Молвь. Стихотворение написано в 1924 г., впервые опубликовано в 1928 г.

Эмпирей (от греч. *empyros* — огненный) — в греческой мифологии верхняя часть неба, наполненная огнем. В переносн. смысле "в эмпиреях" — в заоблачных высях.

Суламифь, Соломон — см. выше комментарий к рассказу А. И. Куприна "Суламифь".

Стр. 487

"*Песнь заказал Олег — Пушкину.*" — Имеется в виду "Песнь о вещем Олеге" (1822), написанная Пушкиным по мотивам "Повести временных лет", где рассказана легенда о смерти Киевского князя Олега (912 г.).

В. В. Набоков. Стихотворения

Стихотворения Владимира Владимировича Набокова (1899 — 1977), напечатанные в нашей антологии, относятся ко времени его молодости. Все они, сколько бы ни различались ритмами, образами, соотношением лирического и эпического начал, сходны в одном: автор их идет от библейских сюжетов к новым, возникающим в его воображении с поразительной отчетливостью, со множеством точных деталей, словно он сам живет и странствует в этом мире, словно беседовал со старушкой — соседкой Марии и Иосифа в Назарете, слышал разговор Учителя с учениками о мертвом псе, лежащем на дороге, стоял в онемевшей толпе перед Голгофой...

Разумеется, домысел всегда присутствует в творении любого художника; и развитие библейских мотивов — одна из особенностей многих произведений, содержащихся в этой книге. Но стихотворения Набокова кажутся словесным аналогом театрализации или экранизации — разумеется, талантливой настолько, они создают впечатление сиюминутного присутствия и достоверности. Оставаясь верным источнику, автор каждый раз поражает читателя неожиданным поворотом знакомого образа. Вот ученики отворачиваются от смердящей падали, а Учитель говорит о мертвом псе: "Зубы у него — как жемчуга..." У старенького Петра, стоящего перед райскими воротами, ладони все еще пахнут "гефсиманской росой и чешуей иорданских рыб". Навсегда входят в память два облика Богоматери: юной Жены плотника, легкой, лучистой, хоть "и была, голубка, на сносях", и Матери, "седой страшной Марии", которую уводит с места казни Иоанн, а она видит своего смуглого Первенца, играющего у родного порога... И не уходит из сознания читателя вопрос, который задает себе Иоанн, слыша "ее рыдания и томленье":

Что, если у Нее остался бы Христос
и плотничал, и пел? Что, если этих слез
не стоит наше искупленье?

Печ. по кн.: В. В. Набоков. Стихотворения и поэмы. М., 1991.

"*Садом шел Христос с учениками...*" Впервые опубликовано в 1921 г. под названием "Сказание (из апокрифа)".

Стихотворение посвящено годовщине смерти Достоевского. Возможно соотнести его с образом князя Мышкина из "Идиота" (1868): герою романа свойственно замечать и ценить красоту среди житейской грязи.

Стр. 488

Иоанн, Матфей — апостолы Иисуса Христа.

Мать. Впервые опубликовано в 1925 г.

"...и плотничал, и пел? " — Согласно Евангелию, Иисус унаследовал профессию своего земного отца Иосифа, который был плотником. (Евангелие от Матфея, XIII, 55; Евангелие от Марка, VI, 3).

Фома — один из двенадцати апостолов Иисуса Христа; он отсутствовал, когда воскресший Учитель приходил к ученикам и отказался поверить в Воскресение, пока сам не увидит раны от гвоздей и не коснется их. Через восемь дней Иисус вновь явился к ученикам и предложил Фоме коснуться его ран. "Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня: блаженны не видевшие и уверовавшие." (Евангелие от Иоанна, XX, 24 — 29). Отсюда известная поговорка — "Фома неверный".

Стр. 490

"Лепивший воробьев на солнцепеке..." Имеется в виду эпизод из апокрифического Евангелия от Фомы: пятилетний Иисус в субботу, когда всякая работа по иудейскому обычаю запрещена, вылепил из глины двенадцать воробьев и на упрёки Иосифа "ударил в ладоши и закричал воробьям: летите! И воробьи взлетели, щебеча." (См.: Апокрифы древних христиан. М., 1989. С. 142).

Назарет — городок в Галилее, где Иисус провел детство.

Легенда о старухе, искавшей плотника. Впервые опубликовано в 1922 г.

Стр. 492

Вифлеем — город в Палестине, где родился Иисус.

"Когда я по лестнице алмазной..." Впервые опубликовано в 1923 г.

Стр. 493

"...пахнет еще гефсиманской росой и чешуей иорданских рыб." — Имеется в виду Гефсиманский сад на окраине Иерусалима, где Иисус провел с учениками последнюю ночь перед казнью (упоминается во всех четырех Евангелиях; см., например, Евангелие от Матфея, XXVI). Иордан — река, вытекавшая из Геннисаретского озера. Петр, как и брат его Андрей, был в молодости рыбаком.

М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита

Из романа Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 — 1940) здесь публикуется только вторая глава (судя по композиции произведения — как бы первая глава из романа Мастера). Автор не следует строго ни за одним из источников, которые освещают жизнь Иисуса Христа: ни за каноническими, ни за апокрифическими Евангелиями, ни за историческими исследованиями. Великий фантазер, он творит свою землю и свое небо. "Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман", — говорит Воланд Мастеру — и читатель улавливает, что выдуманный герой — Пилат, а невыдуманные, очевидно, все остальные — Воланд, его свита, Мастер, Маргарита и, разумеется, Тот, чье имя здесь, в финале романа, не произносится, но чьей волей все совершается.

Но почему же Пилат — выдуманный? Вот он сидит на безрадостной

каменистой площадке и спит или разговаривает сам с собою, жалуясь на свою плохую должность, на лунный свет, на проклятое бессмертие и вечно сокрушаясь, что давным-давно, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана не договорил о чем-то очень важном с арестантом Га-Ноцри. Нет, Воланд, как всегда, лукавит. Или подшучивает над читателем автор. Одно несомненно для читателя: все сотворенное автором живет такой очевидной, полнокровной, захватывающей жизнью, что не требуется никаких доказательств достоверности. Именно таков булгаковский Иешуа: писатель применяет древнееврейскую форму имени, которое по-гречески звучит Иисус, а означает исконно "помощь Иеговы" или "Спаситель". (См. Библейскую энциклопедию архимандрита Никифора, М., 1891 — 1991, с. 338). Не только звучание имени, но многие детали отличают булгаковского Иешуа от евангельского Иисуса. Но есть глубочайшее сходство, которое, наверное, возникло именно потому, что автор ничего не копировал, а творил: булгаковский Иешуа бесконечно прост и величав, наивен, как дитя и мудрее всех мудрых, доступен и непостижим, а главное — пробуждает в читателе такое сердечное чувство, как будто не роман был прочитан, а состоялась счастливейшая встреча, осветившая всю жизнь.

Печ. по кн.: М. А. Булгаков. Собр. соч. в 5-ти тт. М., Худ. лит., 1992. Т. 5.

Стр. 493

"...четырнадцатого числа весеннего месяца нисана..." — месяц цветов (а ранее — авив, месяц колосьев) по иудейскому календарю, соответствует нашему марту и апрелю; согласно Ветхому Завету, Бог в этом месяце вывел евреев из Египта; согласно новому Завету, в этом месяце свершились смерть и воскресение Спасителя. Ирод Великий (около 73 — 4 до н. э.) — царь Иудеи с 40 г., овладевший тронном с помощью римских войск.

Прокуратор Иудеи — наместник, управляющий римской провинцией Иудеей.

Понтий Пилат — наместник Иудеи в 26 — 36 гг., римский всадник, т.е. принадлежавший ко второму по значению правящему классу Римской империи.

Ершалаим — древнееврейская форма названия Иерусалим (в исконном значении — "основание мира").

"...первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона..." — Легион был основным подразделением римской армии, состоял в эту пору из 6 тысяч пеших и 726 конных воинов; когорта — пехотный полк, ала — кавалерийский полк.

Стр. 494

Тетрарх — правитель четвертой части области или страны; в данном случае имеется в виду Ирод Антипа, четверовластник Галилеи и Перееи.

Синедрион — верховное судилище в Иудее, состоявшее из 72 членом под председательством первосвященника.

Хитон — мужская и женская нижняя одежда из льна или шерсти.

Стр. 495

Кентурион (центурион) — начальник сотни (армейского подразделения).

Стр. 496

Арамейский язык — один из языков Палестины и Сирии, принадлежавший к семито-хамитской семье языков.

Игемон — господин.

Иешуа Га-Ноцри — так звучало на древнееврейском Иисус из Назарета (или Иисус Назарянин).

Стр. 498

Левий Матвей — Матфей из рода Левиев, согласно Новому Завету, апостол Христа и евангелист.

Стр. 501

Елеонская гора (гора маслин) — гора к востоку от Иерусалима, от которого отделена долиной реки Кедрон.

Стр. 504

Идиставизо — долина к Востоку от реки Везер.

Стр. 507

Иуда из Кириафа — апостол Христа, предавший его (у Булгакова евангельская история предательства изложена существенно по-иному: Иешуа познакомился с Иудой за три дня до ареста).

Стр. 508

Тиберий (Тиберий) *Клавдий Нерон* (42 до н. э. — 37 н.э.) — с 14 г. н.э. римский император.

Стр. 510

Легат — в эпоху империи назначаемый императором командир легиона.

Лысая гора (или Голгофа, что означает череп) — место распятия Иисуса Христа.

Стр. 515

Антиохия — в ту пору резиденция сирийских наместников римского императора.

Кипрея (Капри) — остров в Тирренском море, где Тиберий провел последние 10 лет жизни.

А. И. Солженицын. Пасхальный крестный ход

В творчестве Александра Исаевича Солженицына (род. в 1918 г.) часто встречается обращение к христианской морали, к библейским мотивам. В одном из наиболее известных и талантливых его произведений, рассказе "Матренин двор" (написан в 1959 г., впервые опубликован в 1963, переиздавался десятки раз миллионными тиражами), в художественной форме интерпретируется библейская мысль о праведнике. Эта мысль, одухотворяющая весь рассказ, присуща всему его творчеству, начиная с "Одного дня Ивана Денисовича" (1962), она проходит и через всю историю русской литературы, в чем мог убедиться читатель этой антологии. Истоком представлений о праведности в русской народной культуре, без сомнения, послужила Библия, первый учебник нравственности по крайней мере с X века.

Финал этот вовсе не благоден, как может показаться. Весь рассказ трагичен: лагерная "печать" на жизни автора (он не отделяет себя от повествователя, напротив — подчеркнуто отождествляет), горькая обездоленность и страшная смерть Матрены Васильевны — за всем этим видится судьба миллионов. Но, может быть, самое горестное в том, что "нутряная Россия", где так хотелось затеряться автору, деревня Тальново, которая за пугающим Торфопродуктом

встретила речкой, ивами и певучим говором — этот тихий, милый край не узнал, не принял свою праведницу, непритязательное подвижничество ее посчитал за глупость... Так что же: не устоять селу, городу и всей земле нашей? Бог весть! Праведников, как и пророков, редко понимали в отчестве и в семье... Но в памяти читателя все-таки остается Матрена Васильевна с ее лучезарной улыбкой и сердечно-совестливым: "Не уемши, не варемши — как утрафишь?"

В настоящую антологию включен другой рассказ писателя "Пасхальный крестный ход" (1966).

Этот рассказ Александра Исаевича Солженицына (род. в 1918 г.) может показаться устаревшим. Рассказ датирован десятым апреля 1966 г., первым днем Пасхи в том году, и речь в нем идет о событии, характерном именно для того периода нашей истории, когда церковь вела существование вроде бы и легальное, но унизительно-поднадзорное, когда люди, воспитанные в духе мнимого атеизма (на самом деле — дикарского идолопоклонства или суетной бездуховности) могли смотреть на христианские обряды с праздным любопытством, а то и глумливо. Писатель рисует жутковатый Крестный ход: немногочисленные ряды священнослужителей и верующих в окружении "ревущей молодости" — бесцеремонной, самодовольной, полупьяной, но почему-то присоединяющейся к шествию — ради куража, раз лечения или еще по какой-то причине (возможно, посланы были специально для посрамления религии).

Ныне-то сами эти посолонившиеся парни и девки или их дети кошунствовать не станут, многие из них крестились, церковные службы и праздники собирают множество народу, основы религиозной нравственности, история христианства изучаются во многих школах... уместны ли теперь вопросы, которые вонзаются в сознание читателя: "Что же будет из этих рожденных и выращенных главных наших миллионов? К чему просвещенные усилия и обнадежные предвидения раздумчивых голов? Чего доброго мы ждем от нашего будущего?"

Воистину: обернутся когда-нибудь и растопчут нас всех!

И тех, кто направил их сюда, — тоже растопчут".

Вряд ли нужно доказывать, что боль, гнев и тревога этого рассказа нимало не устарели. Достаточно поглядеть на толпу, которая носит кресты "навывпуск", вроде модного украшения. Мнимая религиозность ничуть не лучше мнимого атеизма — и таит в себе не меньшие беды.

Рассказ оставлял бы гнетущее впечатление, если бы не лица десяти поющих женщин с горящими свечами в руках, готовых "и на смерть, если спустят на них тигров. А две из десяти — девушки, того самого возраста девушки, что столпились вокруг с парнями, однолетки — но как очищены их лица, сколько светлости в них".

Идея праведности свойственна всему творчеству писателя, начиная с рассказа "Матренин двор" (1959), она проходит и через всю историю русской литературы, в чем мог убедиться читатель этой антологии.

Сами слова "праведник", "праведность" в Священном Писании необычайно богаты оттенками значений и вариантами применений; это превосходно видно в — "Симфонии на Ветхий и Новый завет" — капитальном словаре-путеводителе (впервые издан в 1900, переиздан репринтным способом в 1995 г.). "Много скорбей у праведного", "Уста праведника — источник жизни", "Праведник будет крепко держаться пути своего", "Семь раз упадет праведник — и встанет", "Когда умножаются праведники — веселится народ" и множество иных афористических

речений встречаются в библейских книгах. В этом многообразии язык выбрал наиважнейшее и утвердил пословицей: "Не стоит город без святого, селение без праведника" (см. словарь В. И. Даля).

Текст печ. по кн.: Солженицын А. И. Избранные произведения. — Пермь: Кн. изд-во, 1991.

Стр. 522

Пасхальный крестный ход — шествие духовенства и верующих во время праздника Пасхи, главного христианского праздника, посвященного Воскресению Спасителя.

Патриаршая церковь — относящаяся к церковной области, управляемой патриархом. Переделкинская церковь Преображения Господня, о которой идет речь в рассказе (в подмосковном поселке Переделкино), относится к ведению Патриарха Московского и всея Руси — лавы Русской православной церкви. Преображение Господне — православный праздник, установленный в честь Преображения Иисуса Христа: в Евангелии от Луки (IX, 35) рассказывается, что однажды, когда Учитель молился на горе со своими учениками, лицо его преобразилось, одежда сделалась белою и из облака раздался глас Божий: "Се есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте".

Стр. 523

Архиерей, протопресвитер — звания священнослужителей высшей степени в православной церкви.

Стр. 524

Светлая Заутреня — первое из православных богослужений суточного круга; заутрени бывают вседневные и праздничные; в данном случае имеется в виду пасхальная заутреня.

Стр. 525

Ктитор — в России церковный староста, избираемый прихожанами и утверждаемый архиереем.

Дьякон (диако́н) — священнослужитель низшей степени в православной церкви, помогающий в богослужении, исполняющий

В. М. Шукшин. Мастер

Этот рассказ Василия Макаровича Шукшина (1929 — 1974), как многие его рассказы, вошедшие в фонд классической новеллистики, бесконечно емок. О чем он? О работяге нашего времени, столяре — золотые руки по имени Семка Рысь, мастере, что называется, от Бога, но озорнике, выпивохе, зубоскале, которому "остолбенело все на свете"... О безымянном мастере XVII века, оставившем людям "светлую каменную сказку" — маленькую, упрятанную за береговым косогором Талицкую церковь. Об искусстве, о создаваемой им бескорыстной, долговечной, но часто гибнущей красоте. О тщеславной моде "на старину" и торопливых подделках под нее. О слепоте ученых людей, способных принять за ремесленную копию создание высокого искусства, не понимающих, что если Талицкий храм и напоминает владимирский храм Покрова на Нерли, то это — как еще один портрет прекрасного лица, но сделанный в ином месте, в иное время — оригинальное творение.

В общем, сколько не перечислять, конца не будет: верный признак художественной цельности и совершенства. А рассказ-то маленький, как Талицкая церковь. Но, думается, главное в рассказе то, что он исторически точно и сильно обозначил некий сдвиг в народном сознании — поворот поколения, воспитанного в примитивном идолопоклонстве под именем научного атеизма, к осознанию традиций народной культуры и своей причастности к ним. У Семки, как и других шукшинских героев, заболела душа. Он и мог бы "как сыр в масле кататься", да не желает — "склизко"... Ему захотелось протянуть через века руку своему древнему собрату, восстановить гибнущую сказку. Правда, не удалось. Не поддержали его ни в облизполкоме, ни в епархии. И он отворачивается от церкви, если приходится ехать талицкой дорогой. Но заноза-то в сердце, видать, осталась...

Печ по кн.: Шукшин В. М. Рассказы. М.: Худ. лит., 1979.

Рассказ написан в 1969 — 1971 гг., опубликован в 1973 г.

Стр. 530

Алексей Михайлович (1629 — 1676) — русский царь с 1645 г.

Стр. 537

Церковь Покрова на Нерли, построена в 1165 г. при впадении Нерли в Клязьму, близ Владимира.

В. Т. Шаламов. Прокуратор Иудеи

Название этого рассказа Варлама Тихоновича Шаламова (1907 — 1982) может вызвать недоумение: при чем тут прокуратор Иудеи Понтий Пилат? Фронт-овой врач Кубанцев, заведующий хирургическим отделением Колымской больницы для заключенных никого на казнь не посылал. Можно полагать, что он достойно вел себя во время войны, на службу в "столицу ГУЛАГа" приехал ради выслуги лет, проявлял человечность и по отношению к "энкам". Он всего лишь растерялся в первый день своей колымской службы, был "потрясен зрелищем этих людей, этих страшных ран, которые Кубанцеву в жизни не были ведомы и не снились никогда." В его отделение стали поступать пациенты "средней тяжести" с парохода "Ким", на котором в пути произошел бунт заключенных: их смиряли, заливая в трюмах водой при сорокаградусном морозе. Мудрено ли тут было потерять хладнокровие даже и хирургу-фронтовику? Руководство лихорадочной врачебной работой взял на себя врач из заключенных Браудэ, оказавшийся на Колыме только из-за немецкой фамилии. Вот и все. Правда, в конце рассказа дается пояснение, что Кубанцев заставил себя забыть эту историю, все детали службы помнил, а это событие через семнадцать лет вспомнить не мог. И автор заключает: "У Анатоля Франса есть рассказ "Прокуратор Иудеи". Там Понтий Пилат через семнадцать лет не может вспомнить Христа." И все-таки сопоставление может показаться натяжкой. Но не должно показаться, если рассказ прочитан отзывчиво, если читаны и другие шаламовские рассказы. Ведь речь, по сути дела, о "пилатовском синдроме", о тягчайшей болезни, которая поразила наше общество, да мучит и все человечество. Слишком легко мы все забываем, что должно бы неотступно терзать нашу совесть, требовать, по меньшей мере, покаяния. А лучше бы — поступка, продиктованного безжалостной совестью.

что должно бы неотступно терзать нашу совесть, требовать, по меньшей мере, покаяния. А лучше бы — поступка, продиктованного безжалостной совестью. Безжалостной, как хирург Браудэ, который "командовал, резал, ругался... жил, забывая себя". Или как Шаламов, похожий на своего Браудэ: его рассказы — хирургия беспощадная, но спасительная.

Печ. по кн.: В. Т. Шаламов. Воскрешение лиственницы. Рассказы в 2-х книгах. М., 1990.

Стр. 540

Нагаево — бухта и порт у г. Магадана.

Стр. 543

Анатоль Франс (наст. имя Анатоль Франсуа Тибо, 1844 — 1924) — французский писатель.

И. А. Бродский. Стихотворения

Из стихотворений Иосифа Александровича Бродского (род.в 1940 г.), связанных так или иначе с библейским миром, выбраны три — по той причине, что они представляются вехами не только на пути поэта, но и на пути народа или, во всяком случае, его читающей и думающей части, к преодолению "синдрома Понтия Пилата" — исторического беспамятства.

Первое из них — "В деревне Бог живет не по углам..." (1965) — далеко не первое обращение поэта к образам Библии. Ему предшествуют большое стихотворение "Исаак и Авраам" (1963), два стихотворения, названные одинаково и, возможно, составляющие цикл: "Рождество 1963" ("Спаситель родился..." и "Волхвы пришли. Младенец крепко спал."), да и другие, свидетельствующие о том, что в сознании молодого поэта возникает взаимодействие культур, соотношенное с христианской идеей. Но "деревенское" стихотворение кажется особо значительным событием.

Эти шестнадцать свободных, улыбчивых и мудрых строк написаны в реальной деревне — Норенской Коношского района Архангельской области, куда поэт, арестованный 12 февраля 1964, был сослан по приговору Ленинградского суда "за тунеядство" (наши власти умели расписывать в собственном невежестве!). Истинные причины были достаточно очевидны: Бродский, начавший писать с 17 лет и работавший с поразительной энергией, быстро стал известен среди ценителей поэзии, к нему заинтересованно и дружелюбно относилась Ахматова, его стихи широко ходили в списках. По испытанной методике был организован донос, а затем издевательское судилище. Под давлением протестов деятелей отечественной культуры и мировой общественности срок ссылки был сокращен до полутора лет, но приговор был отменен Верховным судом России лишь через два года после того, как Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе (1987).

В стихотворении запечатлено явление обыденное и прекрасное: Бог, так старательно и свирепо изгонявшийся из народной жизни более полувека, прошел через гонения, словно и не заметив их; в деревне Он "живет не по углам, как думают насмешники, а всюду.." Стихотворение заканчивается в духе философской самоиронии:

Возможность же все это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту.

Второе стихотворение — "Остановка в пустыне" (1966) вызвано к жизни случаем привычным, знакомым каждому: в Ленинграде, при подготовке строительной площадки для Октябрьского концертного зала, разрушили еще одну церковь, на сей раз Греческую... Стихотворение насыщено ассоциациями, которые немислимо полностью прокомментировать. Уже название пробуждает у читателя мысль о Второй книге Моисеевой — Исход, где содержится рассказ о сорокалетних странствиях сынов Израилевых по пустыне из Египетского плена в Землю обетованную; там говорится о многих остановках: у моря пред Ваал-Цефоном, в Рефидиме, где не было воды, у горы Синай, где получил народ от Господа Десять заповедей и где вопреки заповедям, сотворил золотого тельца... Так от названия идет расширение пространственных и временных масштабов стихотворения, хотя сохраняется и конкретность свежих воспомина-ния о том, как экскаватор с чугунной гирей на стреле разбивал стены, превращая в развалины абсиду — полукруглый выступ, где в христианском храме находится алтарь.

В стихотворении ощутим, если воспользоваться словом поэта, "запах" культур, вошедших навечно в русскую культуру: античности, родиной которой явилась Древняя Греция, православия, которое пришло на Русь вместе с Библией, переведенной с греческого, вместе с обрядами Константинопольских храмов. Здесь возникает связь и с Христовой притчей о сеятеле (Евангелие от Матфея, XIII, 1 — 9), побуждающей поэта к раздумьям

...о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там, впереди?

Третье стихотворение — "Сретенье" (1974) написано в эмиграции: поэту, получившему к тому времени широкое признание в России и за рубежом, власти не давали печататься; над ним витала угроза новой расправы, его, по сути дела, изгнали за рубеж в 1972 г. В Ленинграде он оставил отца и мать, которым до самой их смерти не разрешили повидаться с сыном.

В стихотворении перед нами проникновенное изображение известного евангельского сюжета (Евангелие от Луки, II, 25 — 34): праведный Старец Симеон (по преданию — один из семидесяти переводчиков Ветхого Завета на греческий язык — так называемой Септуагинты) усумнился в пророчестве о рождении Мессии от Пресвятой Девы. Тогда явился к Симеону ангел — посланец Бога и предсказал, что ему не суждена смерть, пока он не увидит своими глазами исполнившегося пророчества. И на сороковой день после рождения Иисуса, когда Младенец был принесен в храм, Симеону довелось взять его на руки, благословить Марию и Иосифа. Это стихотворение уже цитировалось в конце первой части нашей книги. Может быть, в нем заключено некое благое предвстие: само название "Сретенье" (встреча) звучит обнадеживающе.

ПАЛЕСТИНА

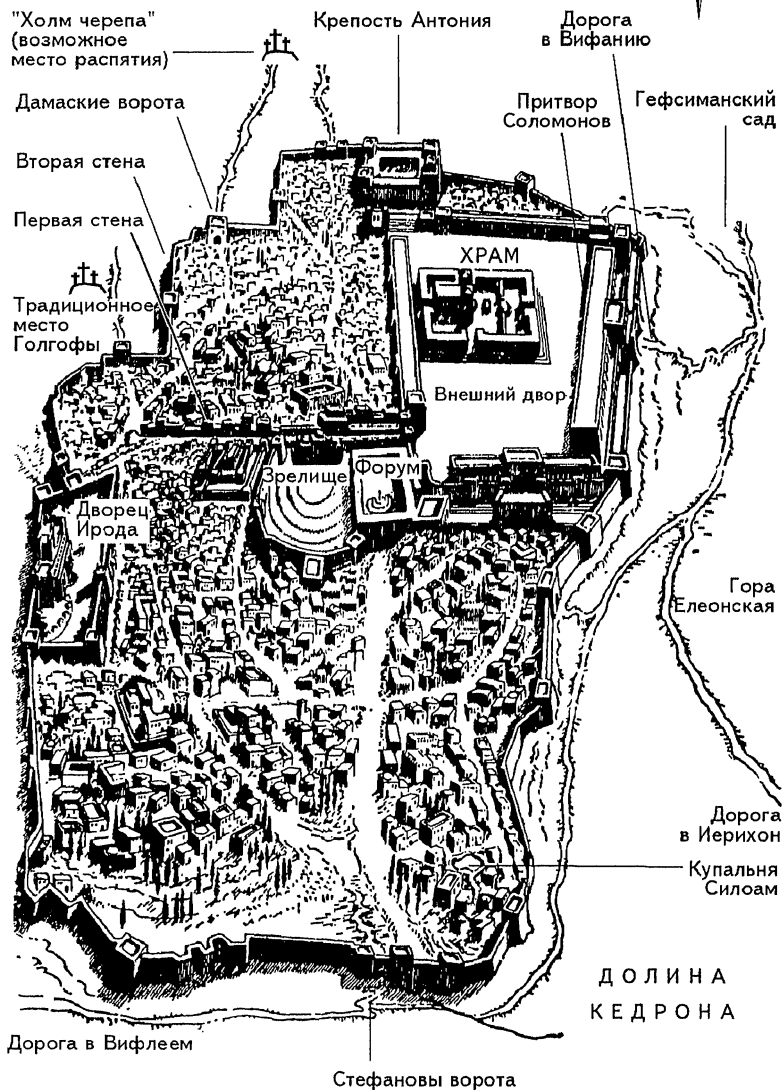
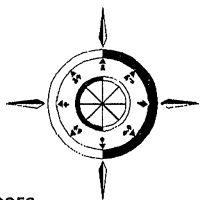
времен Иисуса Христа

Великое море
(Средиземное)



ИЕРУСАЛИМ

во время Иисуса Христа



ДОЛИНА ЕННОМОВА

Б 59 Библия и русская литература: хрестоматия/ Автор-составитель М. Г. Качурин; оформление художника И. Г. Архипова. — СПб.: «Каравелла», 1995. — 584 с., илл. (Серия «Школьная библиотека»)

ISBN 5—87 194—045—5

ISBN 5—87 194—039—0

В книге освещается воздействие Библии на русскую литературу в ее историческом движении — с XI по XX век. В обширном введении исследуется роль Библии — ее истин и заветов, мотивов и образов — в литературном процессе и в творчестве отдельных писателей; основная часть представляет собой антологию, выбранную из произведений русской классики, в которых выражена приобщенность литературы к миру Библии, и снабженную комментариями, поясняющими связи этих произведений с Библией, уточняющими значение слов и выражений, которые могут быть неясны читателю.

Хрестоматия «Библия и русская литература» рекомендуется школьникам, абитуриентам, студентам и всем интересующимся русской литературой.

Б 4704010000-006
044(03)-95

ББК 86.3

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Библия и русская литература Хрестоматия

Автор-составитель М. Г. Качурин

Редактор А. Н. Серов

Художник И. Г. Архипов

Художественно-технический редактор Е. А. Ступненкова

Корректор Т. В. Алексеева

Оригинал-макет изготовлен на компьютерном

редакционно-издательском комплексе

Оператор М. В. Холодилин

Лицензия № 100015 от 25.07.91

Подписано в печать 04.07.95. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Печ. л. 36,5. Уч.-изд. л. 37,8. Зак. № 1683.

Тираж 20 000 экз.

Издательство «Каравелла». 193312, Санкт-Петербург, пр. Солидарности, 11.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От редакции 5

КНИГА КНИГ М. Г. Качурин 7

XI - XVII ВЕКА

Повесть временных лет 95. Поучение Владимира Мономаха 102.

Послание Владимира Мономаха Олегу Святославичу 110.

Слово о полку Игореве 112. Житие Александра Невского 117.

Повесть о Петре и Февронии Муромских 123. Житие протопопа Аввакума 135.

Комментарии 149

XVIII ВЕК

М. В. Ломоносов 161. Г. Р. Державин 168. И. А. Крылов 172.

Комментарии 176

XIX ВЕК

Н. М. Карамзин 181. И. А. Крылов 195. В. А. Жуковский 197.

П. А. Вяземский 203. А. С. Пушкин 207. Н. В. Гоголь 215.

М. Ю. Лермонтов 222. Ф. И. Тютчев 226. А. Н. Островский 229.

Н. А. Некрасов 235. И. С. Тургенев 245. Ф. М. Достоевский 262.

Н. С. Лесков 290. Л. Н. Толстой 328. А. П. Чехов 371.

Комментарии 376

XX век

А. Блок 401. М. Горький 405. А. И. Куприн 415. И. А. Бунин 434.

Н. С. Гумилев 443. С. А. Есенин 445. В. Ф. Ходасевич 454.

О. Э. Мандельштам 457. А. А. Ахматова 459. Б. Л. Пастернак 472.

М. И. Цветаева 483. В. В. Набоков 487. М. А. Булгаков 493.

А. И. Солженицын 522. В. М. Шукшин 527. В. Т. Шаламов 540.

И. А. Бродский 544.

Комментарии 550

Карты, схемы 579

Дорогой читатель!

**Издательство «КАРАВЕЛЛА» предлагает
Вашему вниманию серию «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»:**

Серия состоит из справочников по литературе, истории, географии, искусству, школьных словарей; популярных книг и пособий по различным предметам, которые проходят в средней школе; сборников и отдельных произведений классической русской и зарубежной литературы из школьной программы.

Все книги серии написаны или составлены известными учеными и педагогами, содержат ценные справочные сведения, просты и доступны по форме подачи материала.

*Рекомендованы Министерством Образования РФ
как учебные пособия и книги для чтения.*

В 1995 году

в серии «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» выйдут следующие книги:

МИФЫ ДРЕВНЕГО МИРА. Сборник. Составитель *М.Б. Бурдыкина*. 496 стр. Иллюстрации.

БИБЛИЯ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Сборник. Автор предисловий и составитель *М.Г. Качурин*. 584 стр. Иллюстрации. Схемы.

В этой книге автор многочисленных учебников по русской литературе рассказывает о великом и разнообразном влиянии, которое оказала Библия на русскую поэзию и прозу с X века до наших дней, объясняет смысл использования библейских сюжетов в наиболее известных произведениях русской литературы. Книга состоит из введения и хрестоматии, тщательно отрецензированной автором. Рекомендуется по теме: «Библия».

Книга публикуется впервые. Рекомендуется для 8—11 кл.

РОССИЙСКАЯ И МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В ТАБЛИЦАХ. Справочник. Автор-составитель *Ф.М. Лурье*. 256 стр. Иллюстрации.

Книга содержит синхронистические таблицы хронологий 29 государств, оказавших наибольшее влияние на историю России. Таблицы дополняют пояснения к ним, родословия династий, правивших в 41 государстве, понтификаты всех римских пап, включая антипап, годы избрания афинских архонтов, наиболее полные генеалогические таблицы русских князей, великих князей, царей и императоров, словарь (пояснения к синхронистическим таблицам). Может служить самостоятельным справочником, призванным обогатить знакомство с исторической литературой.

Книга адресована самому широкому кругу читателей — от школьников и абитуриентов до студентов и научных работников.

ШКОЛЬНЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА. 500 стр. Переработанное и дополненное издание.

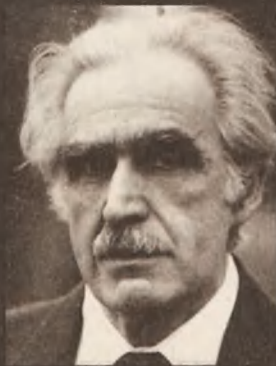
ИЛИАДА. ОДИССЕЯ. ЭНЕИДА. В пересказах для школьников. Сборник. 450 стр. Иллюстрации. Карты.

Классические произведения европейской литературы Гомера и Вергилия в прозаическом пересказе — это одновременно и увлекательное чтение, и полезное пособие по античной культуре. Рекомендуется для изучения по теме: «Античная литература». В XX веке пересказ ЭПЕЙДЫ на русском языке осуществлен впервые (3—4 кл.)

А.С. ПУШКИН. ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН. С комментариями *Ю. Лотмана, В. Набокова, В. Бродского*. (9 кл.)

А. МЕНЬ, К. ЧУКОВСКИЙ. «БИБЛИЯ В ПЕРЕСКАЗЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» (3—6 кл.). Иллюстрации.

**Марк
Григорьевич
Качурин**



(род. в 1923 г.) — учитель русской словесности, почти полвека преподающий в средней и высшей школе, доктор педагогических наук, профессор Российского педагогического университета им. А.И.Герцена; автор книг для школьников, студентов, учителей-словесников.

Вышедшие труды: учебник по русской литературе второй половины XIX в. для 9-х классов средней школы, написанный в содружестве с М.А.Шнеерсон и Д.К.Мотольской, вышел 20 изданиями (1964–1990 гг.); книги о выразительном чтении (1960), об исследовательской деятельности школьников на уроках литературы (1988), учебник-хрестоматия «Санкт-Петербург в русской литературе» (1993; написана в содружестве с Д.Н.Муриным и Г.А.Кудырской); многочисленные книги и пособия для учителей и учащихся: об изучении языка писателей, о методике преподавания, о факультативах по литературе.

Книги М.Г.Качурина адресованы как школьникам, так и взрослым читателям, они содержат не только полезные сведения и научный анализ, но и возвышенный заряд духовности, без которой немыслима жизнь Человека.

Библия и русская литература

XI-XVII вв.

Повесть временных лет
Поучение Владимира Мономаха
Слово о полку Игореве
Житие Александра Невского
Повесть о Петре и Февронии
Житие протопопа Аввакума

XVIII в.

М.В.Ломоносов
Г.Р.Державин
И.А.Крылов

XIX в.

Н.М.Карамзин
В.А.Жуковский
П.А.Вяземский
А.С.Пушкин
Н.В.Гоголь
М.Ю.Лермонтов
А.Н.Островский
Н.А.Некрасов
И.С.Тургенев
Ф.М.Достоевский
Н.А.Лесков
Л.Н.Толстой
А.П.Чехов

XX в.

А.А.Блок
М.Горький
А.И.Куприн
И.А.Бунин
Н.С.Гумилев
С.А.Есенин
В.Ф.Ходасевич
О.Э.Мандельштам
А.А.Ахматова
Б.Л.Пастернак
М.И.Цветаева
В.В.Набоков
М.А.Булгаков
А.И.Солженицын
В.М.Шукшин
В.Т.Шаламов
И.А.Бродский